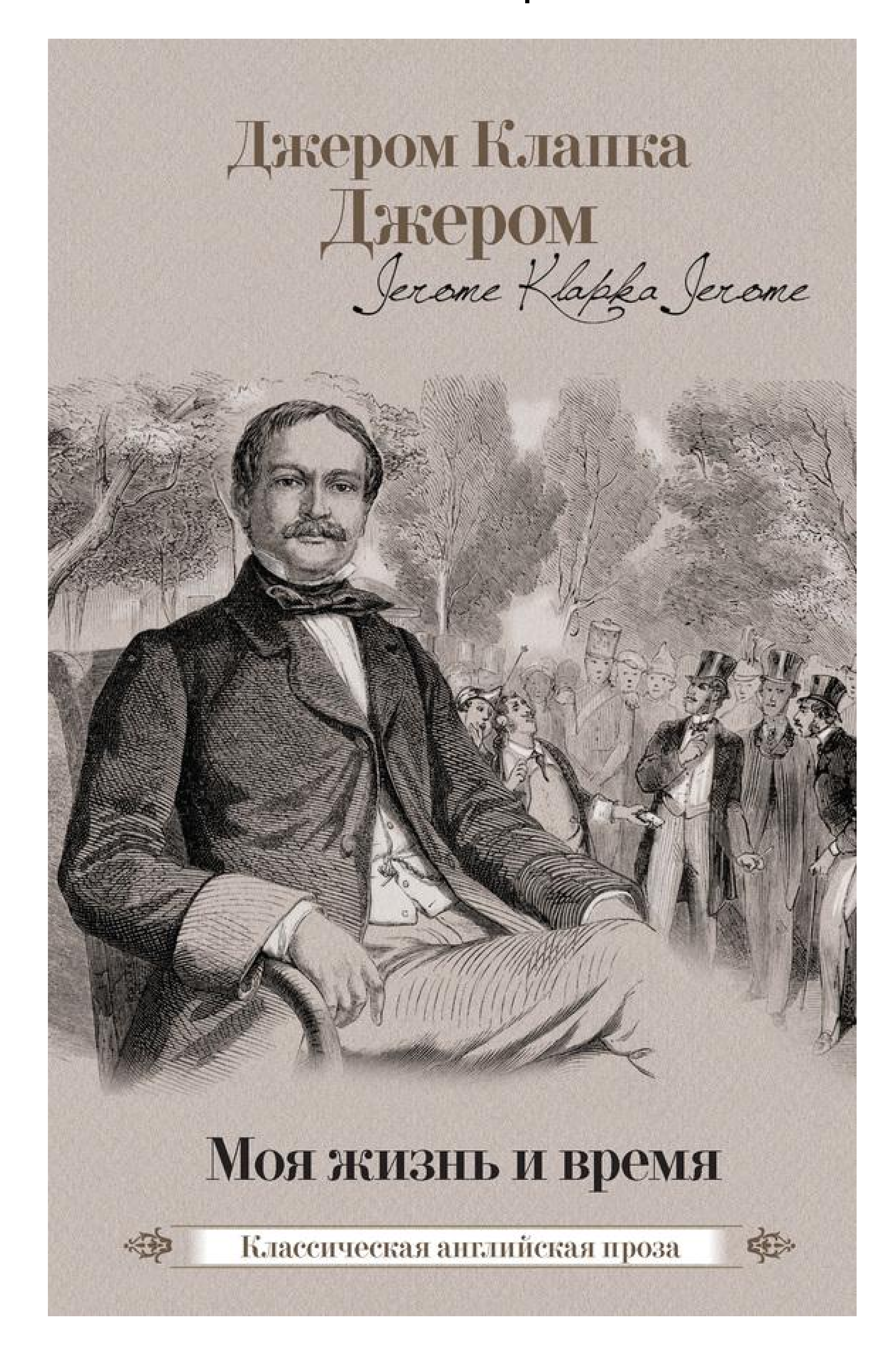
Джером Клапка Джером
Моя жизнь и время



«Моя жизнь и время»: АСТ; М.; 2014
ISBN 978-5-17-079387-7

Аннотация

Имя блестящего английского юмориста Джерома К. Джерома (1859–1927) известно всем и каждому в нашей стране, даже тем, кто ни разу не листал его книг, но смотрел культовую комедию «Трое в лодке, не считая собаки».

Создать столь остроумные, полные доброго юмора произведения мог только наблюдательный, неравнодушный человек с огромным литературным талантом, и подтверждение тому его мемуары «Моя жизнь и время».

Эту книгу, как и другие творения автора, невозможно читать без улыбки, но порой знаменитый джеромовский юмор приобретает оттенок грусти. Вспоминая прошлое, писатель приходит к мысли, что главная «битва жизни» – с самим собой, а не за себя…

Джером Клапка Джером
Моя жизнь и время

Вступление

Однажды вечером мы собрались у Филиппа Бурка Марстона – он был слеп, сочинял стихи и жил на Юстон-роуд со своим отцом, драматургом Уэстлендом Марстоном. Дело было около полуночи, и нас уже выгнали от «Пагани».

«Пагани», в то время скромный итальянский ресторанчик на Грейт-Портленд-стрит, посещали в основном иностранцы. В нашей разношерстной компании я был самым младшим, пока к нам не присоединились Джеймс Мэтью Барри и Кулсон Кернахан. Раз в две недели мы, человек десять, ужинали все вместе у «Пагани», по твердой цене в два шиллинга с носа, причем большинство пили кьянти по шиллингу и четыре пенса за полбутылки. После смерти Филиппа Марстона оставшиеся основали клуб «Бродяги». Мы росли и добивались успеха, впоследствии случалось нам угощать и министров с фельдмаршалами… Но душа компании ушла с беднягой Филиппом.

В тот день у «Пагани» разговор шел главным образом о Боге. Кажется, первым эту тему затронул Суинберн, и вскоре разгорелся бурный спор. Одни поддерживали Суинберна, другие взяли сторону Бога. Потом Рудольф Блинд – сын Карла Блинда, социалиста – заспорил с приятелем, чье имя я забыл, по поводу детской коляски. Блинд и его приятель – назову его мистер Икс – купили в складчину коляску. Миссис Блинд и жена приятеля произвели на свет потомство на одной и той же неделе. И все бы хорошо, но миссис Икс подарила своему мужу двойню. Блинд порекомендовал укладывать лишнего младенца поперек коляски, в ногах у двойняшек. Миссис Икс такое решение отвергла, объявив, что не позволит делать из своего ребенка подставку для ног. Тогда мистер Икс предложил выкупить свою долю у мистера Блинда, однако тот возразил, что ему хватит и половины коляски, на большее он не претендует, а иначе ему придется покупать целую коляску – тогда и сумма выкупа должна быть соответствующей. Блинд и мистер Икс все еще препирались, когда в ресторане разом погасли газовые рожки. Таким способом старик Пагани давал знать посетителям, что собирается отойти ко сну.

Для Филиппа любое время дня было темным; он помог нам добраться до двери и

пригласил продолжить вечер у него. Он хотел представить меня своему старику отцу – тот болел и, как правило, не участвовал в наших сборищах. К Марстону нас отправилось человек шесть, в том числе доктор Эвелинг (он печатался под псевдонимом Алек Нельсон и был женат на дочери Карла Маркса) и Фредерик Уильям Робинсон, романист, издававший в то время ежемесячный журнал под названием «Родные пенаты». Для этого журнала Барри писал статьи, а я вел ежемесячную колонку под названием «Уголок сплетника». Сопровождала его постоянная картинка с изображением серьезного ослика, заглядывающего через изгородь. Я поначалу возражал против ослика, но Барри его отстоял. Ослик ему очень нравился. Многие авторы, печатавшиеся в «Пенатах», стали впоследствии знаменитыми.

На Фицрой-сквер мы остановились обсудить, уместно ли будет постучаться к Бернарду Шоу и прихватить его с собой. Шоу с некоторых пор привлек внимание полиции как один из самых заметных ораторов Гайд-парка, а затем его имя стало известно широкой общественности в связи с вероломными нападениями, замаскированными под интервью. Представитель очередной вечерней газеты вламывался в скромную квартирку Шоу без всякой иной цели, кроме как запугивать и оскорблять писателя. Многие считали, что Шоу – вымышленный персонаж. Почему он терпит все эти издевательства? Почему не спустит наглого журналиста с лестницы? Почему не позовет полицию, в конце концов? Трудно поверить, что на свете бывают настолько христиански кроткие личности, как этот бедный, затравленный Шоу. На самом деле истории с интервью сочинял он сам. И безусловно, цель была достигнута – о Шоу заговорили. В тот вечер, о котором идет речь, мы все же решили его не будить, по трем причинам. Во-первых, никто не помнил точно номер дома. Во-вторых, никому не хотелось карабкаться на седьмой этаж. В-третьих, и в-последних, шансы были сто к одному, что если даже мы до него доберемся, Шоу к нам не выйдет, а запустит башмаком в первого, кто сунется в дверь.

В те дни Юстон-роуд пользовалась не лучшей репутацией. Я думаю, Марстоны поселились там из-за дешевизны. Филипп своими писаниями зарабатывал очень мало, а у его отца вряд ли могли быть сколько-нибудь существенные сбережения. В те времена считалось, что драматургу очень повезло, если он получает пятьсот фунтов за пьесу. Когда мы пришли, пожилой джентльмен уже лежал в постели, но он поднялся и вышел к нам в халате, знавашем лучшие дни. Незадолго до этого какой-то почитатель прислал Филиппу в подарок отменные сигары, а бутылку хорошего виски можно было купить за три шиллинга шесть пенсов. Итак, мы веселились, как на свадьбе. Отец Филиппа разговорился и много рассказывал об актерах Сэмюэле Фелпсе, Уильяме Макреди и семействе Терри. Вслед за ним Робинсон пустился в воспоминания о Диккенсе и Теккерее, которому он помогал с изданием журнала «Корнхилл», а также о Льюисе и Джордж Элиот. Помню, я громогласно заявил, что намерен написать автобиографию, когда придет время; тогда мне казалось, что это случится еще очень нескоро. Я считал – и до сих пор убежден, – что может получиться замечательная книга, если автору хватит мужества честно и без утайки изложить на бумаге все, что он на самом деле делал, думал и чувствовал в своей жизни. Такую книгу я и собираюсь написать, объяснил я, под названием «Исповедь дурака».

После моих слов наступило внезапное молчание, а до того мы шумели вовсю. Первым заговорил Эвелинг. Он согласился, что подобная книга была бы интересна и поучительна, и название отличное – жаль только, оно уже занято, причем писателем более значительным, чем я, молодым шведом по имени Август Стриндберг. Эвелинг был знаком со Стриндбергом и пророчил ему великое будущее. Книга как раз недавно вышла в немецком переводе. Речь в ней идет всего лишь об одной разновидности человеческой глупости, зато весьма распространенной и многообразной. Героиню этой книги я встретил много лет спустя в Америке. Она все еще была замечательно красива, хотя несколько располнела. Но мне так и не удалось поговорить с

ней о Стриндберге. От всех вопросов она отмахивалась легким движением руки, сопровождая этот жест загадочной улыбкой. Любопытно было бы узнать, как выглядела вся история с ее точки зрения.

Большинство нашей компании склонялось к мнению, что книга, о которой я говорил, никогда не будет написана. Жизнеописание Бенвенуто Челлини – чистая мелодрама, даже если там не только вымысел. Сэмюэль Пипс загромоздил свой дневник пустячными подробностями. Руссо, признавшись во вполне безобидной слабости, куда более распространенной, чем он думал, испугался и всю оставшуюся часть книги всячески оправдывал свои пороки и выпячивал добродетели. Ни один человек не напишет о себе всей правды, а если вдруг и напишет, возмущенные читатели, возводя очи горе, станут спрашивать друг друга, неужели действительно бывают такие непонятные люди. Фруд отважился намекнуть, что супружеская жизнь мистера и миссис Карлейль не была вполне безоблачной. Средние классы Англии и Америки, ужаснувшись, пали на колени и возблагодарили Господа за то, что подобные безобразия творятся исключительно в литературных и артистических кругах. Как верно отмечает Джордж Элиот, люди не решаются до конца раскрыться из страха задеть родных и близких. Чтобы наш любимый муж, наша бесценная жена, наша почитаемая матушка в самом деле думали такое, чувствовали этакое, едва не совершили совсем уж неведомо что! Это слишком мучительно. Общество держится на допущении, что все мы именно такие хорошие, какими нам следует быть. Признаться в своем несовершенстве – значит противопоставить себя всему роду людскому.

А потому любые «Мемуары» и «Мои жизни» неукоснительно следуют условностям. Если мы, разнообразия ради, упоминаем о своих недостатках, то, как в случае с «Векфилдским священником», в этих недостатках – Бог свидетель! – свои черты являет добродетель[1].

Американский издатель, которого мы в шутку прозвали Вараввой, рассказывал, как Марк Твен ему говорил, что работает над книгой воспоминаний, в которой откровенно повествует обо всех, с кем был знаком. Во избежание лишних неприятностей Твен запретил своим душеприказчикам издавать книгу, пока не пройдет по крайней мере двадцать лет после его смерти. Позже, сам познакомившись с Марком Твеном, я спросил, правда ли это. «Чистая правда, – ответил он. – Я расскажу обо всех, с кем встречался, ничего не смягчая». Он прибавил, что перед отъездом из Лондона, возможно, попросит у меня денег в долг и надеется, что я не окажусь гнусным скупердяем. Я до сих пор уверен, что эту мифическую книгу Твен придумал, чтобы его друзья не слишком благодушествовали. По правде говоря, уже после того, как я написал эту главу, книга воспоминаний Твена вышла в свет, но она оказалась далеко не такой злопыхательской, как он грозился. Да и в долг он у меня так и не попросил.

Компания мало-помалу разошлась. Пожилой джентльмен снова лег спать. Филипп попросил меня посидеть еще. Я жил неподалеку, на Тэвисток-плейс. На месте моего бывшего дома сейчас находится институт Пассмора Эдвардса, в то время владельца и главного редактора «Эхо», первой лондонской газеты стоимостью в полпенни. В молодости он был очень дружен с моим отцом. Отец утверждал, что они с Пассмором Эдвардсом ввели в моду гольф на Юге Англии. Не знаю, как эту версию оценят на Страшном суде – возможно, отец просто хвастался. Они играли в гольф на песчаных пляжах Уэстуорд-Хо. Отец тогда держал ферму по ту сторону реки, севернее Инстоу, а окрестности Уэстуорд-Хо представляли собой пустынный кусок побережья, ограниченный с севера высокой грядой гальки. Во время отлива она служила

---

[1] Цитата из стихотворения О. Голдсмита «Покинутая деревня» (пер. А. Парина), а не из его популярного романа «Векфилдский священник». – *Здесь и далее примеч. пер.*

игрокам бункером. Представляю, каково было проходить его во время игры!

Квартиру на первом этаже дома номер девятнадцать на Тэвисток-плейс я делил с приятелем по имени Джордж Уингрейв. Комнаты этажом выше занимали две сестры. Старшая была любовницей некоего джентльмена – весьма известного ныне члена парламента и к тому же мирового судьи, крайне строгого к человеческим слабостям. На следующий день после его женитьбы старшая из сестер покончила с собой. Помню, как хозяйка дома, очаровательная старушка миссис Пиддлс – мы с Джорджем звали ее сокращенно «миссис П.», – ворвалась ко мне с белым перепуганным лицом. Мы нашли девушку без сознания; младшая сестра обнимала ее, стоя на коленях возле дивана. Бедняжка умерла, прежде чем мы успели вызвать врача. На счастье нашего будущего законодателя, отец у него был человек богатый и влиятельный. Кажется, вынесли заключение: «передозировка морфина». Оказывается, наша соседка страдала бессонницей. Она была тихая, замкнутая. А младшая сестра отличалась набожностью.

Когда остальные ушли, Филипп вновь заговорил о воспоминаниях и признался под большим секретом, что когда-то сделал именно то, что мы считали невозможным, – завел дневник, где записывал все мысли, приходившие в голову, все свои мечты и желания. Точнее сказать, не записывал, а печатал. Ослепнув, он достиг виртуозного мастерства в работе с пишущей машинкой. По его словам, дневник представлял собой весьма любопытную мешанину. Один Филипп был страшно порочен, преисполнен похоти и разных ужасов, ниже самой последней ползучей твари. А другой был прекрасен и наверняка любим Христом. Вдобавок имелся еще и третий, державшийся особняком. Его Филипп никак не мог разгадать. Он как будто постоянно стоял за спинами первых двух, отстраненно и бесстрастно за ними наблюдая.

«Иногда, – объяснял Филипп, – он смотрит мне в самую душу, и я сжимаюсь от стыда. А бывают редкие минуты, когда он будто сливается со мной и мы становимся единым целым».

От другого я воспринял бы такое как праздную болтовню, но Филипп был человек необычный. Должно быть, трагические события его жизни во многом повлияли на склад его характера. В нем сильно были развиты и животная, и духовная стороны. Должно быть, там, за пологом тьмы, между ними шла жестокая борьба. Я всегда верил, что книга, о которой он говорил тем вечером, существовала на самом деле. Когда он умер, я был за границей. Вернувшись, рассказал о дневнике его отцу, и тот обещал поискать.

Но дневника мы так и не нашли.

Глава I
Ранние годы

Я родился 2 мая 1859 года в Стаффордшире, в городе Уолсолл. Мой отец в то время владел угольными шахтами в Каннок-Чейз, одними из первых в округе, здесь их до сих пор зовут «Джеромовы шахты». Моя мать звалась Маргаритой и была родом из Уэльса – старшая дочь некоего мистера Джонса, поверенного из Суонси. В те непритязательные времена она считалась богатой наследницей. Главным образом на ее деньги и были заложены шахты. В родне матери все были нонконформистами, а отец происходил из пуританской семьи. Мама рассказывала, как они с сестрой еще девчонками частенько шли воскресным утром в церковь под градом камней и комьев земли. В провинции преследование нонконформистов прекратилось только к середине столетия. Отец окончил школу Мерчант-Тейлорс, а затем выучился на архитектора, хотя с самой ранней молодости ощущал, как принято выражаться, «призвание» к профессии священника. До женитьбы он строил в основном молельни, и по

крайней мере в двух читал проповеди. Кажется, впервые он поднялся на кафедру проповедника в Мальборо. У меня до сих пор хранится серебряный поднос с надписью: «Преподобному Клэппу Джерому от прихожан Независимой молельни. Мальборо, июнь 1828». В то время отцу не могло быть намного больше двадцати одного. Из Мальборо он переехал в Серенстер и там построил Независимую молельню. Надпись на огромной Библии, преподнесенной ему прихожанками, свидетельствует, что храм открылся 6 июня 1833 года и отец сам вел службу. Сейчас эта церковь на пути к железнодорожной станции перестроена до неузнаваемости, и в ней размещается городская больница. У меня есть фотография этого здания времен отцовской молодости. Не могу сказать, чтобы мир изменился к лучшему с художественной точки зрения.

После свадьбы отец поселился в Девоншире, занялся сельским хозяйством в Эпплдоре, к северу от Бидефорда, и вдобавок заложил каменоломню. Однако страсть к проповедничеству так его и не оставила. Он объехал весь Девоншир, пользуясь всякой возможностью прочесть проповедь. В конце концов отец решился оставить фермерство и переехать в Уолсолл – отчасти надеясь на доход от добычи угля, а отчасти потому, что ему предложили постоянное место проповедника.

Сэр Эдвард Холден из Уолсолла, бодрый джентльмен за девяносто, – мы с ним недавно вместе ужинали, – рассказывал, что проповедовал мой отец замечательно. Послушать его сходились со всего города и окрестностей. Вначале он вел службу в небольшой Независимой молельне, а позже самые зажиточные нонконформисты города объединились и построили конгрегационалистскую церковь на Брэдфорд-стрит. Отец предложил свои услуги в качестве архитектора. Церковь и до сих пор остается городской достопримечательностью. С вершины холма, где она стоит, открывается вид на поля и Каннок-Чейз. Отсюда нетрудно вывести мораль, что лучше было бы отцу следовать заветам Библии, держаться проповедничества, раз уж Господь наделил его таким даром, а заботы о делах земных оставить приверженцам мамоны. Впрочем, добейся он успеха, все наверняка превозносили бы его как заботливого отца, пекущегося о будущем своих детей. В Стаффордшире как раз начался угольный бум, и даже вполне порядочные люди сколачивали состояния буквально на глазах. У отца же вышла классическая история, когда человек с деньгами обращается за помощью к человеку с опытом. К тому времени как отец истратил свое последнее пенни, он уже знал все, что можно узнать полезного о добыче угля, но было поздно. Кажется, затопление ускорило окончательный крах. Однажды, вернувшись поздно вечером – все домашние уже спали, – отец присел на край кровати и насколько мог бережно сообщил маме не такую уж неожиданную новость о своем разорении. Сверяясь с датой в мамином дневнике, я вижу, что мне в тот день исполнился год.

В катастрофе уцелело несколько сотен фунтов. Мы переехали в небольшой домик неподалеку, в Стоурбридже, а как только устроились, отец, полный решимости до конца надеяться на лучшее, уехал в Лондон, поправить семейное состояние посредством оптовой торговли скобяным товаром. Он арендовал помещение на верфи в бухте Лаймхаус, на Нэрроу-стрит, а для себя снял небольшой дом на Суссекс-стрит, в районе Поплар. В письмах отец называет это жилище «угловой домик с садиком», и мама, видимо, по такому описанию вообразила нечто в сельском духе. Бедняжка! Представляю, какое потрясение она испытала, когда его увидела. Иногда, оказавшись в районе Сити, я сажусь в омнибус, идущий до Ист-Хема, выхожу на Стейнсби-роуд и тихонько заглядываю за угол. Можно понять, почему отец находил тысячу предлогов не вызывать нас к себе. Конечно, его выбор ограничивали недостаток средств и необходимость жить поблизости от конторы. К тому же отец наверняка убеждал себя, что это лишь временное жилище, до тех пор, пока он не сможет позволить себе один из прекрасных особняков в георгианском стиле на Ист-Индия-Док-роуд, где обитали преуспевающие купцы и судовладельцы. Два года отец жил один, отводя на домашние расходы

не более пяти шиллингов в неделю. Ибо скобяная торговля отнюдь не процветала, а нас в Стоурбридже было семеро, и всех требовалось прокормить. Мама ничего не знала, пока однажды отца не выдал знакомый, и тогда она взяла дело в свои руки: начала собирать вещи.

Еще раньше на нее обрушилась беда, намного серьезнее любых денежных затруднений. После короткой болезни умер мой младший брат, шестилетний Мильтон. Судя по рассказам, он был необычным ребенком, хотя материнская любовь, быть может, преувеличила его детскую мудрость и набожность. В годовщину его смерти мама неизменно записывала в дневнике – вот, мол, встреча стала еще на год ближе. Последняя запись сделана шестнадцать лет спустя, всего за десять дней до маминой смерти: «Сегодня день рождения милого Мильтона. Уже недолго осталось. Гадаю, изменился ли он».

Смерть брата оставила в семье невосполнимую пустоту. Сестра Бландина, которую мы звали Бланш, была на одиннадцать лет старше меня, а самая старшая, Полина, уже совсем взрослая девушка, вела занятия в воскресной школе и собиралась замуж. Ухаживал за ней механик по имени Гарри Бекет. Мама сперва лелеяла надежду обратить его в свою веру, но отказалась от подобных мыслей, узнав о его победе на открытом чемпионате Стаффордшира по боксу в среднем весе. Она в огорчении сочла, что он «не более чем простой кулачный боец». Догадываюсь, что родители и по другим причинам его не одобряли. Насколько я знаю, закончилось все слезами, и Гарри уехал в Канаду. В восьмидесятых появился снова, неожиданно навестил сестру. Я в то время как раз гостил у нее – к тому времени матери семерых здоровеньких мальчишек и девчонок. Гарри все еще оставался рослым красавцем, добродушным, со смешливым взглядом, а меня как начинающего писателя интересовала вся эта история. Он преуспел в жизни, но так и не женился. Мы провели вечер втроем – муж сестры уехал по делам на север. Гарри, пожалуй, добавлял в свой виски чуть меньше воды, чем следовало бы, но глядя на них, я невольно думал, что жизнь все-таки – азартная игра, в который выигрыш часто достается беспечным, а не благоразумным.

Мои первые воспоминания связаны с путешествием в Лондон. Я помню поезд, убегающие прочь поля и дома, и в конце – громадную гулкую пещеру: Пэддингтонский вокзал, судя по всему. Мама пишет в дневнике, что когда мы приехали, дом был пуст – мебель доставили только через четыре дня.

«Мы с папой и Малышом спали в доме». Должно быть, какая-то мебель все-таки была, ведь отец там жил. Помню, мне устроили постель на полу. Сквозь сон я слышал, как мама с папой разговаривают, сидя у камина.

«Девочек взяла к себе миссис Ричардс, а Фэн и Элиза ночевали у Лэшфордов». Элиза – видимо, служанка. Тетя Фэн – сестра моей матери – жила вместе с нами, чудаковатая старушка с кудельками и бело-розовым личиком. Портреты королевы Виктории в молодости всегда мне ее напоминают.

Первые дни в Попларе запомнились путано и смутно. Когда я подрос, мне разрешили гулять одному, и я подолгу бродил по улицам. Мама была против, но отец считал, что мне полезно – приучает к самостоятельности.

Во время этих одиноких прогулок я хорошо узнал Лондон. Беспросветная нищета ютится совсем рядом с нарядными проспектами, и в самых богатых кварталах найдутся унылые жалкие улочки. Страшнее же всего лондонский Ист-Энд. Нигде больше я не видел такого кромешного ужаса. Жуткое безмолвие измученных улиц. Безжизненные пепельные лица с потухшими глазами проступают из мрака и тут же вновь пропадают. В такой обстановке прошло мое детство – я думаю, от этого у меня склонность к мрачности и меланхолии. Я способен разглядеть смешную сторону вещей, могу повеселиться при случае, но куда ни посмотри, в жизни мне видится больше печали, а не радости. Разумеется, в детстве я ничего этого не

осознавал. Главной моей бедой были уличные мальчишки. Заметив меня, они мгновенно поднимали крик. Я удирал в страхе, боясь не столько тумаков, как насмешек и издевок. Мама объясняла – меня дразнят потому, что я джентльмен. Отчасти ее слова меня утешали, а со временем я научился уходить от погони, петляя извилистыми переулками. А пока преследователей не было видно, я мог со спокойной душой о них забыть. Должно быть, примерно так живет заяц. Но как-то же он привыкает к такой жизни. Бывают и у него счастливые минуты, когда, обхитрив своих врагов, он восседает на пригорке и гордо озирает окрестности.

У отца было два племянника, оба врачи. Один жил в Боу, другой в Плейстоу – в то время обыкновенной деревушке. В пригородный район Боу можно было добраться по Бердетт-роуд. Вдоль дороги велось строительство, но кое-где еще тянулись неухоженные поля и пастбища. Дальше располагались парк Виктория и симпатичный старосветский городок Хэкни, а еще дальше к северу – Стоук-Ньюингтон, где обитали важные господа, разъезжающие в собственных экипажах. Помню, одного такого мы часто навещали с сестрой Бландиной. В мамином дневнике говорится, что в то время отец затеял новый грандиозный проект: ни больше ни меньше как строительство железной дороги. Куда и откуда, не знаю. В дневнике она названа просто «папина железная дорога». Для нас то был путь из страны Бедности в царство Заветной мечты. Видимо, визиты в Стоук-Ньюингтон были связаны с этим проектом. У кованых чугунных ворот нас встречал очень старый джентльмен – по крайней мере мне он казался ужасно старым – с блестящей лысиной и толстыми пальцами. Сестра передавала ему какие-то бумаги, перевязанные красной ленточкой. Старый джентльмен разворачивал бумаги, раскладывал их на столе, что-то писал, все это сопровождалось долгими разговорами, за которыми следовало роскошное угощение. После чая он брал сестру за руку своими жирными пальцами, и они шли гулять в сад, а я оставался в обществе большого количества конфет и книжек с картинками. Сестра возвращалась, нагруженная гостинцами для мамы – виноградом и персиками. При малейшем намеке на дождь нас отправляли домой в карете с мягкими сиденьями и резвыми лошадьми. Чтобы не слишком травмировать соседей, экипаж останавливался в конце Бердетт-роуд, немного не доезжая до Суссекс-стрит, и остаток пути мы с сестрой шли пешком.

Визиты наши становились все чаще, и все росли мамины надежды на «папину железную дорогу», пока однажды сестра не прибежала из сада с пустыми руками и со страхом в глазах. На этот раз мы не поехали в экипаже, а быстрым шагом добрались до станции Далстон и там сели в поезд. Я видел, что сестра плачет под вуалью. Было, кажется, начало ноября. Помню, я спросил сестру, не хочет ли она посмотреть процессию лорд-мэра. Запись в мамином дневнике от шестнадцатого ноября: «С папиной железной дорогой все кончено. Какое горе. Что ни предпримет мой муж, ничего не удается. Словно Господь оставил нас своей милостью».

Кажется, даже отец на какое-то время потерял надежду. Через пару страниц я читаю: «Милый Джером поступил на службу к мистеру Рамблсу. Сто фунтов в год, с девяти до восьми. Очень тяжело на душе».

Тринадцатого ноября мама сообщила Элизе, что мы больше не можем платить ей жалованье. «Она плакала, не хотела уходить».

«Второе декабря. У Джерома украли часы. Золотые, с выгравированным гербом, мой подарок на свадьбу. Неисповедимы пути Господни!»

Четвертого декабря, кажется, проглянуло солнышко. «День рождения милой Бландины. Подарила ей свои золотые часы и медальон. Девочка так радовалась. Приходила милая Полина. День прошел радостно, несмотря на наши тяжелые испытания». Однако в начале следующего года тучи вновь сгустились.

«Двенадцатое января. Наступили страшные морозы. В парке Виктория катание на коньках при свете факелов. Уголь подорожал на восемь шиллингов за тонну. Ужасно. Молю Господа избавить нас от такого несчастья».

«Восемнадцатое января. Неожиданно для всех началась оттепель. Катание на коньках при свете факелов отменяется. Уголь снова подешевел, как раз когда наши запасы подходили к концу. “Вы лучше многих малых птиц”»[2].

Сестры, насколько я понял, время от времени поступали на службу. Вероятно, гувернантками – единственный вид заработка, доступный девушкам благородного происхождения. Читаю в дневнике: «Полина уехала в Рамсгейт. Ах, если бы можно было жить всем вместе, как раньше!» И чуть ниже, на той же странице: «Бланш переехала к миссис Тернер. Страдаю от одиночества. Слишком темна и терниста дорога».

Спустя неделю или две я тоже уехал – к счастью, ненадолго, всего лишь погостить к друзьям на севере Лондона. Проводив меня до станции, мама вернулась в пустой дом и записала: «Милый Лютер уехал такой счастливый. Милосердный Отче, защити и сохрани моего ягненка, пусть он благополучно вернется домой!»

Слово «Лютер» напомнило мне один любопытный случай. В детстве меня называли Лютером, чтобы отличить от отца, – его крещеное имя тоже было Джером. Года два назад на Пэддингтонском вокзале ко мне вдруг подошла какая-то дама и спросила, не зовут ли меня Лютер Джером. Я почти полвека не слышал этого имени и вдруг словно перенесся в прошлое на машине времени, придуманной мистером Уэллсом: вокзал с оглушительным грохотом исчез (возможно, то гремел подъезжающий поезд шесть пятнадцать), и умершие ожили вновь.

Оказалось, мы с этой дамой в детстве играли вместе – там, в Попларе. С тех пор ни разу не виделись. Присмотревшись, она согласилась, что я немного изменился. Сказала, что «узнала по глазам». Очень необычно.

Примерно в то время мама отчего-то начала надеяться, что мы сможем вернуть себе ферму в Девоншире, куда отец привез ее после медового месяца, и что она сможет там остаться до старости. На этой ферме, к северу от Бидефорда, на левой стороне реки, имелась полуразрушенная башня. Результаты давних раскопок убедительно доказывали, что основателем нашего дома был некий Клапа, датчанин, купивший эту землю около тысячного года от Рождества Христова. Видимо, этот Клапа и придумал наш семейный герб: рука, сжимающая боевой топор, с надписью по кругу: «Deo omnia data»[3]. Впрочем, история умалчивает, какой частью своего достояния Клапа был обязан Богу и какой – своему боевому топору, что был найден, покрытый ржавчиной, рядом с его захороненными костями. Как бы то ни было, в маминой голове накрепко засела мысль, будто ферма по какому-то неотъемлемому праву все еще принадлежит нам. На каждой странице дневника мама говорит о ней: «наша ферма». Видение фермы просвечивает сквозь смыкающиеся вокруг нас убогие улицы, среди которых закончилась мамина жизнь. Вот одна из записей: «Милый Джером рассказывал о Нортоне и о нашей ферме. Почему бы и нет? Все возможно, будь на то Божья воля». Примерно тогда же нам доставили большую корзину с гостинцами от Бетси, фермерши. До маминого замужества она была молочницей и вышла замуж за возчика. С корзиной прибыло и письмо от Бетси, с новостями по поводу Нортона – не знаю, что за «Нортон». Мама пишет:

«Что ж, и это может нам возвратить Господь. Ах, если бы мне побольше веры!»

---

[2] Ср. Мф. 10:29–10:31 «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц».

[3] Все от Бога (*лат.*).

Среди всех бедствий у отца с мамой оставалось одно утешение: любовь друг к другу. Она прочитывается на каждой странице дневника. Вот запись о печальном событии – серьезно заболела Полина. Мама навещала ее.

«Милосердный Отче, дай мне силы не потерять веру в Тебя, хотя беды обрушиваются на нас одна за другой, не успеваем опомниться. Вернулась домой вместе с папой. Его любовь так крепка и неизменна. Миссис Картрайт прислала яблоки и банку сливок, а миссис Э. – пару ботинок для Лютера. Вовек милость Его».

«2 мая 1865 г. Маленькому Лютеру шесть лет. Подарила ему голубя. Папа подарил “Робинзона Крузо”».

Приблизительно в это время, к великой радости мамы, я, как принято говорить, «приобщился к религии». Стал пить чай без сахара и раз в неделю жертвовал двухпенсовик на школу для бедных на Триколт-стрит, а по воскресеньям рассматривал картинки в Библии и в «Книге мучеников» Фокса. Эта книга была в большом почете среди благочестивых людей, и малышей всячески поощряли наслаждаться изображениями чудовищных пыток. Быть может, намерения у старины Фокса были благие, но его книга потворствует жестокости и любострастию.

Еще меня сильно тревожили мысли об аде. Я посоветовал бы нашим церковным иерархам прийти наконец к единому мнению по этому вопросу и объявить результат во всеуслышание. Когда я был маленьким, большинство людей благочестивых принимали как непреложный факт существование материального ада. Ребенку с воображением такая идея способна причинить нешуточные страдания. Из-за нее я возненавидел Бога, а позднее, когда развивающийся интеллект отверг представление о материальном аде как абсурд, я начал презирать религию, которая навязывает нам подобное учение. Считается, что спастись от вечных мук очень просто: нужно верить. А как узнать, достаточно ли сильна твоя вера? В то время на пустыре на берегу Лаймхаус-канала высилась громадная куча мусора. Местные жители называли ее горой. В виде эксперимента я помолился, чтобы гора исчезла. Это было бы несомненным благом для всего района, а гора была совсем небольшая по сравнению с картинками в книгах. Я думал, на нее моей веры хватит, но сколько ни простаивал по вечерам на коленях, утром гора неизменно оказывалась на месте. Я не сомневался, что это из-за моего маловерия, и приходил в отчаяние.

Еще один страх преследовал меня в детстве – страх смертного греха. Если бы только знать, в чем он состоит! Тогда его можно было бы избежать. Я жил в постоянном ужасе, как бы не совершить смертного греха по ошибке. Однажды, не помню уже по какому случаю, я назвал тетю Фэн чертовой дурой. Она была глухая и не расслышала, а я всю ночь метался в кровати, глаз не мог сомкнуть. Мне вдруг представилось, что это и есть смертный грех. Правда, уже и в столь юном возрасте я не мог не задуматься о том, что тогда в нашем приходе найдется немало закоренелых грешников. Мама утром сняла тяжесть с моей души, хоть и отнеслась к происшествию очень серьезно, и мы с ней вместе, стоя на коленях в предрассветных сумерках, молились о прощении.

Возвращаюсь к дневнику.

«1 января 1866 г. Как бежит время, со всеми горестями, метаниями, со всеми неосуществленными надеждами. Но все проходит, и в конце ждет вечное, неизмеримое блаженство. Доктор Камминг предсказывает, что этот год будет последним. Похоже, он упускает из виду Второе пришествие Христа и великую радость, когда праведники объединятся с язычниками. Провела вечер у наших друзей на Бедфорд-сквер. Было очень хорошо».

«31 января. Старый Вуд снова сделал предложение. (Моей сестре Бландине, как я понимаю. Несомненно, Вуд – тот самый лысый пожилой джентльмен из Стоук-Ньюингтона.) Господь в своей милости не дал ей прельститься богатством. Однако путь наш темен и полон печали».

«22 мая. Молитвенное собрание на Кэннон-стрит. Папа произнес прекрасную речь. По дороге домой простыла».

«7 июня 1867 г. Годовщина свадьбы. Двадцать пять лет мы вместе переносим радости и горести, благодать и испытания нашего трудного пути. Несмотря ни на что, мы можем сказать: "До сего места помог нам Господь". Ах, но когда же настанет вечер? "Лишь в вечернее время явится свет"».

«30 июня. В 3.45 утра услышала странный шум. Спустилась посмотреть, в чем дело. Из комнаты выскочила черно-белая пятнистая кошка. Клетка малютки Феи стояла открытая, перышки рассыпались по полу. Я громко вскрикнула, все сбежались и вместе оплакивали потерю, но что толку? Уже собирались вновь ложиться спать, как вдруг из комнаты Лютера послышался крик. Я бросилась назад и увидела в гостиной нашу испуганную птичку – она цеплялась коготками за муслиновые занавески и охотно пошла опять в клетку. Мы были сами не свои от радости. Как птичка спаслась – загадка. Должно быть, Господь знал, как мы будем горевать о ней».

«18 июля. С утра поехали в Эпплдор. Хотя об этой поездке мы говорили давно и заранее радовались, все же я и представить не могла, как нас с детьми замечательно встретят. Оказывается, они помнят все хорошее, что я им когда-то сделала, даже то, о чем сама уже забыла. Нас окружили самой трогательной заботой, и мы чудесно провели время. Эта поездка – словно живительный дождь после долгой тоскливой засухи».

Для меня та поездка тоже была словно взгляд в другой, непривычный мир. Совсем маленьким, в Стоурбридже, я, вероятно, видел деревню, но совершенно ее забыл. Всю дорогу я не отлипал от окна. В Инстоу приехали под вечер. Старый паромщик вышел навстречу, улыбаясь во весь рот. Мама сердечно с ним поздоровалась, и во все время переправы они разговаривали, упоминая незнакомые мне имена и названия. Мама то смеялась, то вздыхала. Я впервые оказался на лодке и очень старался скрыть свой страх. Вдруг я споткнулся обо что-то мягкое, оно поднялось и уставилось на меня – мы оказались почти одного роста. Наверняка в Попларе тоже были собаки, но я их никогда не встречал, а уж такую громадину и подавно. Я зажмурился в уверенности, что меня сейчас разорвут на куски, но пес только облизал мне все лицо, так что шапка слетела с головы. Старик паромщик прикрикнул на него, и тот с плеском бросился в воду. Я думал, он утонет, и громко закричал, но все только смеялись. На другой день я встретил этого пса, живого и здорового.

На берегу столпилась кучка детей. Они не дразнили меня и не гримасничали, а рассматривали с застенчивым любопытством. Мама с сестрами их расцеловали, и вскоре вокруг собралась толпа взрослых. Они нескоро нас отпустили. Помню, как мы взбирались по крутому склону. Уличных фонарей я там не видел, но нас постоянно окружал какой-то причудливый свет, словно мы попали в волшебную страну. Я впервые поднимался на холм. Приходилось высоко поднимать ноги и наклоняться вперед. Ощущение такое, будто тебя тянут назад. Все это было очень странно.

Дни слились в один, я не могу их разделить. Помню длинный ряд низко согнувшихся жнецов на желтом поле – мне было жаль колосья, падающие под серпом. Однажды вечером я убежал потихоньку из дома и впервые увидел луну. Сперва заметил свет между деревьями и хотел удрать, но что-то меня удержало. Луна поднималась все выше, и наконец я смог ее рассмотреть. Я безотчетно опустился на колени, протягивая к ней руки. Когда я слышу

шуточное выражение «захотеть луну с неба», всегда вспоминаю тот вечер. Помню, по вечерам солнце опускалось в море за островом Ланди, и окна фермы, где мы жили, становились красными, как кровь. Конечно, солнце иногда заглядывало и на Суссекс-стрит, но там оно было чахлое, тусклое и скоро пряталось. Я никогда раньше не видел его таким ярким и радостным. Мы устраивали пикники наверху старой серой полуразрушенной башни, что все еще стоит на берегу. Ходили в гости к соседям-фермерам и к старым друзьям в Бидефорде, где нас угощали вареньем из яблок нового урожая и густыми девонширскими сливками, которые можно мазать на хлеб. Мы ели пироги с бараниной и яблоками, сладкий творог с мускатным орехом и пили сидр из больших чаш, словно боги.

Однажды по дороге домой я потерялся – кажется, это было в Тонтоне. Мы вышли из поезда перекусить. Мама думала, что сестры приглядывают за мной, а они решили, что я с мамой. Я думал, что мы никогда больше не встретимся, невзирая на все уверения полного джентльмена с золотыми пуговицами и в фуражке с галуном. Помню, меня утешила мысль, что по крайней мере такое приключение достойно записи в дневнике. Никто, кроме тети Фэн, не знал, что я втайне собираю материал для книги, героем которой буду я сам. Должно быть, эту затею с писательством я сам и придумал. Хотя отец и мог претендовать на родство с Ли Хантом, не припомню, чтобы он когда-нибудь говорил о литературе. Спустя немного времени джентльмен с золотыми пуговицами вернулся и привел с собой леди. Она села рядом со мной и пообещала отвести меня к маме. Ее спокойная доброжелательность вызывала доверие. Я рассказал ей о книге и о том, что хочу включить в нее это странное и волнующее происшествие. Леди одобрила и сказала, что у меня непременно все получится, потому что подход правильный. «В мире есть всего один человек, которого знаешь по-настоящему. Вот о нем и пиши. Конечно, можно его называть разными именами».

Словно по волшебству, мы с доброй леди добрались до Пэддингтонского вокзала первыми, и мама, выйдя из поезда, сразу нас увидела. Сама не своя от радости, она тревожилась только, не слишком ли много беспокойства я причинил, но добрая леди уверяла, что ей со мной было очень интересно. «Люблю слушать, когда люди говорят о себе», – объяснила она со смехом и сразу куда-то пропала.

Возвращаясь к нашей жизни в Попларе: как видно, дела наши чуть-чуть поправились – мы снова наняли служанку. Далее в мамином дневнике они то появляются, то исчезают.

«11 ноября. Джейн очень груба. Я почувствовала, что она вот-вот предупредит об уходе, и уволила ее первой. В наше время прислуга была совершенно другой!»

«2 декабря. Джейн ушла. Появилась Сара. В любом случае будет не хуже той».

Запись от 16 декабря 1868 года сообщает, что я поступил в школу – главным образом благодаря помощи некоего мистера Хэлфорда. Школа на углу Лиссон-Гроув сейчас называется Мэрилебон, а тогда звалась Филологической школой. Я читаю: «Мы все очень волновались, но Господь благословил папины труды. Школьный комитет сегодня экзаменовал Лютера. Милый мальчик сдал блестяще! Учеба начнется в январе. Пора прекращать звать его Малышом».

Так закончилось детство. Мне оно запомнилось как счастливое время. Лишь годы спустя я узнал, как бедны мы были, какую долгую и трудную борьбу с судьбой пришлось вести отцу и маме. Мне в то время казалось, что нам очень неплохо живется. Мы занимали самый большой дом на Суссекс-стрит. С трех сторон его окружал сад, где росли резеда и настурции, – мама их поливала по вечерам. Обставлен дом был, по моему мнению, лучше всех домов на свете: фарфор, красивые картины и фортепьяно, а на окнах шторы, вытканные камчатным узором. В гостиной висели мамин и папин портреты кисти Мьюрхеда. Когда приходили гости, мама ставила на стол серебряный чайник и старинный суонсийский сервиз – она всегда мыла его сама, никому другому не позволяла. Спали мы на кроватях красного дерева, а в папиной

комнате стоял Большой комод. Верхний ящик всегда был заперт, но когда-нибудь настанет время и папа его откроет, вот тогда мы и увидим… Даже мама признавалась, что не знает наверняка, что именно там хранится. Папа раньше был большим человеком, и непременно снова будет. Он носил цилиндр и трость с золотым набалдашником. А мама была очень красивая, и когда не хлопотала по хозяйству, надевала шелка и настоящее кружево. Еще у нее была индийская шаль такой тонкой работы, что ее можно было протащить через обручальное кольцо. Мои сестры умели петь и музицировать, а выходя из дома, всегда надевали перчатки. У меня был выходной костюмчик на воскресные дни и для походов в гости, и еды всегда вдоволь. Мама в дневнике постоянно тревожится, что я недостаточно хорошо питаюсь для растущего мальчика, но я ничего такого не замечал. Бывало у нас такое блюдо, под названием «хлеб в молоке» – сладкое и питательное, я его очень любил. К чаю иногда подавали патоку, а к ужину – хлеб, густо намазанный смальцем. По воскресеньям обед непременно включал мясное блюдо и десерт. Если мир устроен так, как верила мама, то она давно уже знает, что страхи ее были напрасны, – я вырос на редкость здоровым и крепким. Но лучше бы ей знать об этом заранее – тогда при жизни хоть одной из многих забот было бы меньше.

Глава II
Я становлюсь бедным школяром

Одно из преимуществ бедности – необходимость воспитывать в себе различные добродетели. Меня приучили рано вставать по утрам, а это залог многих прекрасных качеств. От Суссекс-стрит до железнодорожной станции Поплар четверть часа быстрой ходьбы. Позавтракав в половине седьмого, я успевал на поезд в семь пятнадцать. Сгодился бы и поезд в семь тридцать, но отец всегда говорил: «Лучше поезжай в семь пятнадцать. Если вдруг опоздаешь, в запасе еще останется семь тридцать. А если на него опоздаешь, то уж всё».

Поезд петлял по окрестностям Боу и Хомертона – в то время царству деревянных домиков, окруженных садами и огородами. В Хомертоне еще сохранялся дом знаменитого разбойника Дика Терпина, основательный, вполне уютный на вид, с садом, который славился чудесными годециями, – говорят, это был любимый цветок Дика. В Далстоне нужно было сделать пересадку и дальше ехать через Хайбери и старый Кэнонбери до станции Чолк-Фарм. Дальше путь лежал мимо Примроуз-Хилла и через Риджентс-парк. Примроуз-Хилл тогда находился на окраине Лондона, дальше начинались поля и коттеджи. Помню дорожный указатель возле тропинки, ведущей к Чайлдс-Хиллу и деревушке Финчли. Иногда, если повезет, на дороге возле парка попадался экипаж – можно было побежать за ним и прицепиться сзади. Правда, удержаться – задача непростая, тем более когда нагружен школьной сумкой и зонтиком. Да еще, того гляди, какой-нибудь вредный тип на обочине ткнет в тебя пальцем и крикнет кучеру: «Стегай его!» Тогда приходилось быстро соскакивать, приземляясь, как повезет, – на ноги или на седалище. Занятия в школе продолжались с девяти до трех, и если успеть на поезд, отправляющийся от Чолк-Фарм без четверти четыре, я оказывался дома к пяти. После ужина – основной еды за весь день – я закрывался в своей комнате (в зимнее время закутавшись в одеяло) и садился за уроки. Заканчивал к десяти, а то и к одиннадцати, клюя носом.

Чрезвычайно глупая система, и она до сих пор существует во многих школах. Впрочем, я не собираюсь уделять много внимания своим школьным годам. Одно только воспоминание вызывает злость. Что может быть важнее образования? И до чего нелепо оно поставлено! Вот потому так низок уровень интеллекта у человечества в целом. Карлейль определяет школу как

место мучений, где детей держат в душных закрытых помещениях и задавливают книжной премудростью. И хоть бы это были правильные книги! Все, что ребенок усваивает в школе, он вполне мог бы узнать и сам – за полгода, при помощи разумного книготорговца. Свои знания, какие уж у меня есть, я набрал после окончания школы, за что глубоко благодарен читальне Британского музея и ее неизменно вежливым сотрудникам. Правда, того, кто проводил в ней отопление, следовало бы удушить исходя из принципа, что наказание должно соответствовать преступлению. Также я благодарен Христианской ассоциации юношества – в то время ею еще не заправляли финансовые воротилы из «Стандард ойл». Но больше всего я благодарен усталым, скверно одетым леди и джентльменам, чьи имена я позабыл, которые за совершенно недостаточную плату от шести до девяти пенсов в час делились со мной своими знаниями.

Свою школу я не виню. У французов есть поговорка: «Выбирать наименьшее зло». Думаю, в свое время выбор отца оказался наименьшим злом – не важно, был ли он определен случайностью или необходимостью. В одном отношении нашу школу можно даже назвать образцовой: там не применяли телесных наказаний. И вполне удавалось поддерживать дисциплину среди трехсот школьников разного возраста. Тут действовали традиции. Филологические мальчики и без битья способны хорошо себя вести. Тех, кто не поддавался такой методике, попросту исключали. За пять лет моей учебы исключить пришлось всего троих.

Человек греховен от рождения. Чтобы убедиться в этом, не нужно принимать буквально Книгу Бытия. Манихеи утверждают, что весь мир и в том числе человек созданы дьяволом, и приводят различные доводы в пользу своей теории. Нет более яростного противника палочной дисциплины, чем Бернард Шоу. Однажды они с Израэлем Зангвиллом отправились на прогулку и заметили на выгоне кучку склонившихся над чем-то мальчишек. Если двое-трое деревенских мальчишек собрались вместе да еще и чем-то заинтересовались, невольно закрадываются подозрения, что дело нечисто. Мысль подтвердилась при ближайшем рассмотрении – из центра группы раздался отчаянный визг какого-то зверька. Шоу, покрепче сжав в руке трость, перемахнул через калитку. Мальчишки выпустили свою жертву и бросились врассыпную. Шоу погнался за ними, но «бесенята», по выражению проходившего мимо работника, оказались проворнее. Шоу вернулся, запыхавшись, и с большим жаром изъяснил, что он собирался с ними сделать.

– А я думал, вы против телесных наказаний, – заметил Зангвилл.

– Я против, – прорычал Шоу. – Но я не обещал всегда быть последовательным!

Иногда из соображений правосудия приходится оправдать кнут, но длительное мучительство детей во имя Просвещения выказывает человеческую природу в довольно мерзком свете. Всякая жестокость коренится в похоти. Боюсь, школьников пороли не ради их собственного блага, а для удовольствия школьного начальства. Когда джентльмены, занимающие ответственные должности, произносят панегирики розге, а клубные старички публикуют трогательные воспоминания о школьной порке, меня одолевают сомнения. Им просто нравится эта тема.

Впервые мои религиозные убеждения поколебал некий Дэн из пятого класса. Он жил в Кэмден-Тауне. Обычно мы встречались возле станции и вместе шли через парк. Близился конец летнего семестра, уже начались экзамены. В порыве откровенности я рассказал Дэну, почему так уверен, что выиграю первый приз по арифметике. Каждый вечер и каждое утро я молился об этом, преклонив колена. Мама объяснила мне, отчего вышла неудача с мусорной горой. Я неверно понял Писание. Господь дает нам только то, что для нас полезно. Уж теперь-то я прошу о полезном, Господь не может этого не увидеть. Отец мечтал, что я получу награду по арифметике. На этот раз я верил твердо. Насчет мусорной кучи я еще сомневался, но награду по

арифметике заранее считал своей. Дэн заявил, что так нечестно. Если молитва решает, кому достанется награда, какой тогда смысл трудиться? Мальчишку, занимавшегося в поте лица весь учебный год, может на финише оттереть любой бездельник, проведя минут десять на коленках накануне экзамена. А если помолятся двое, оба истово верующие? Что тогда делать Господу?

– Если можно помолиться и получить все, что захочешь, то и работать незачем, – заключил Дэн.

Вопрос предстал предо мной в совершенно новом свете. Сперва я хотел спросить маму, но инстинктивно почувствовал, что она мне ответить не сможет. Тут нужно самому разобраться. Награду я в итоге не получил, да и не старался. Мне как-то расхотелось.

Вместе со мной учился Уильям Уиллет[4]. Я полагаю, он принес людям больше радости – как в физическом, так и в духовном смысле, – чем парламент, пресса и церковь за последние сто лет. Но силы зла уже стремятся разрушить все им достигнутое. Дьявол не успокоится, пока летнее время не отменят.

В каникулы я вновь пускался в странствия. Сезонный билет значительно расширял мои возможности. В те времена в окрестностях Хайгета охотились на оленей. Помню, сидел я однажды на перелазе поблизости от моста Арчуэй, и вдруг подъехал фургон и из него выпустили оленя. Хэмпстед был симпатичным городком, куда из Лондона ходил омнибус, запряженный тремя лошадьми. От Суисс-Коттедж через поля шла тропинка к Черч-роу, а вдоль берега реки живописная проселочная дорога вела к Хендону. Я всегда любил долгие пешие прогулки. Между Вуд-Грин и Энфилдом простиралась довольно пустынная местность. Однажды я увяз в снегу немного дальше Уинчмор-Хилла. К счастью, работники на ферме услышали мои крики и вытащили меня. Еще дальше, среди болот и пастбищ лежал Уолтемстоу. Недалеко от Эдмонтона я однажды забрался в красивую старинную усадьбу. Старинные дома всегда таили для меня какое-то очарование. Меня изловил сам владелец, но не прогнал, а повел в дом и устроил настоящую экскурсию. Он рассказал, что в детстве был подмастерьем плотника, ходил мимо этого дома на работу и мечтал, что когда-нибудь будет здесь жить. Я потом часто его навещал, до самой его смерти. Он пробился в жизни благодаря тяжелому труду и экономии. Не курил, не пил, изредка молился. За два года до нашей встречи он в шестьдесят лет впервые попробовал шампанское, спился и умер в шестьдесят пять. Добродушный был старик, отчасти поэтического склада. Страстно любил музыку. В доме в специальной комнате стоял орган. После его смерти остались молоденькая жена и двое детей. Сейчас там пансион. Хэкни был благопристойным пригородом, да и в Клэптоне жили вполне приличные люди. Под вечер они ездили кататься в объемистых экипажах, которые называли «ландо». Гладкие сытые лошади гарцевали, высоко задирая голову. В Хайбери устраивали ярмарки с танцами на открытом воздухе – говорят, случались там и петушиные бои.

Однажды я набрел на странный дом у реки. Казалось бы, обычный сельский дом, но я не помню, как туда добрался. Старинная таверна, увитая плющом, рядом омнибус, запряженный двойкой и выкрашенный в желтую краску. Лошади жевали овес у кормушки, а кучер с кондуктором пили чай – представьте себе, не что-нибудь! – сидя за длинным столом на лавке. Чудной это был дом. В полукруглом окошке над входной дверью виднелась карточка: «Сдаются комнаты». Из любопытства я наплел, будто бы мама поручила мне осмотреть комнаты. Дверь открыли две старушки. Они все время держались рядышком и говорили одновременно. Мы спустились в длинную комнату с низким потолком. Со стороны дороги она

[4] Уиллет, Уильям (1856–1915) – английский предприниматель, в 1905 г. выдвинул идею перехода на летнее время.

была ниже уровня земли, зато с другой стороны три окна выходили на реку, прямо над водой. Когда мы вошли, очень старый джентльмен с искусственной ногой и лицом цвета красного дерева встал навстречу и с жаром потряс мою руку. Старушки называли его капитаном. Я отчетливо помню всю обстановку, хоть и не слишком разбирался в таких вещах. Все было очень красиво. Мне показали две комнаты, сдающиеся внаем. В спальне девушка, стоя на коленях, чистила ковер. Мне тогда было всего десять, так что вряд ли мои впечатления имели сексуальный оттенок. Я подумал, что никогда в жизни не видел такого прелестного создания. Одна из старушек, удивительно похожих друг на друга, наклонилась и поцеловала ее, а вторая покачала головой и что-то прошептала. Девушка еще ниже склонила голову, так что кудри упали на лицо. Я поблагодарил старушек, пообещав, что расскажу все маме и дам им знать.

Занятый мыслями об увиденном, я не замечал, куда иду. Через несколько минут или через полчаса я вышел к воротам Ост-Индской верфи. Много раз после я пытался найти этот дом и не мог. Но что самое загадочное – всю жизнь я видел его во сне: тихая лужайка с высоким каштаном, желтый омнибус, поджидающий пассажиров, две старушки в дверях и девушка на коленях, чьи рассыпавшиеся кудри закрывают лицо.

Я до сих пор верю, что однажды вечером в парке Виктория встретил Чарлза Диккенса. В моей книге «Пол Келвер» этот случай описан очень близко к действительности. Диккенс был совершенно такой, как на фотографиях, и он в самом деле сказал: «К черту мистера Пиквика!»

В окрестностях Поплара город и деревня еще сражались за место под солнцем. Среди болот были разбросаны захудалые фермы. Каждое утро и каждый вечер мимо нашего дома старик в желтой куртке гнал трех-четырех коров с колокольцами на шее. Постоянные клиенты выходили с кувшинами, и он доил коров прямо посреди улицы. Как-то летом появились мальчик и девочка со стадом коз, но успеха не добились. Козы не желали стоять смирно, пока их доят, и вечно разбредались кто куда. Не все в мире было безоблачно даже и до лаймхаусской речи Ллойд Джорджа. Помню длинные вереницы безработных. Эти процессии обходились без оркестра, но все распевали на какой-то заунывный мотив:

– Нет у нас рабо-оты… Работы нет у на-а-ас… Голодно живется… Работы нет у на-а-ас…

Мамин дневник за эти годы читать по-прежнему грустно. Отец заболел от переутомления – слишком тяжело ему давался долгий путь пешком каждый день до города и обратно. Я часто ходил его встречать, и он всегда был рад опереться на мою руку.

Возле «Георга» на Коммершал-роуд чистенькая старушка продавала вареные свиные ножки по три с половиной пенса за штуку. Иногда мы покупали домой три штуки, мама их разогревала, а меня посылали к продавцу печеной картошки – он стоял на углу Пиготт-стрит и кричал прохожим: «Налетай-покупай! Руки согреешь и брюхо набьешь, всего за полпенни!» Так мы пировали. Размах в меру возможностей, а веселье то же самое.

Видимо, была у нас какая-то «собственность», скорее всего дом, в Ноттинг-Хилле. Второго февраля 1870 года мама пишет:

«Боремся из последних сил, чтобы спасти нашу собственность в Ноттинг-Хилле, что досталась нам ценой многолетней экономии и лишений».

«Десятое марта. Мой день рождения. Как темно! Лютер подарил пенал, а Бландина – носовой платок. Папа отдал мне все, что мог, – свою любовь. Ему пришлось отказаться от места».

«Двенадцатое марта. Обратилась в правление. Они согласны уступить собственность в Ноттинг-Хилле за 670 фунтов. Господи, научи, откуда взять деньги? Мистер Гриффитс прислал мясной пирог для папы. Такая доброта!»

«Двадцать первое марта. Была в городе, видела мистера Д. Устала очень, и на душе тяжело. Обедала с мистером Дж. в трактире Уилкинсона. Очень вкусно».

«Пятое апреля. Мистер Н. считает, что можно устроить закладную. Виделась с мистером Хобсоном и Пеликаном. Мистер Ч. не захотел назвать свои условия. Вернулась домой с головной болью».

«Двадцать пятое апреля. Ездила в город. Измучилась, дожидаясь в конторе. Мистер М. так и не появился. Видела мистера Х. Он советует отказаться от борьбы».

И наконец четвертого июня мама пишет:

«Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною»[5].

Можно предположить, что мама в тот день вернулась домой непривычно легкой походкой, чуточку важничая и ощущая себя истинно деловой женщиной, владелицей «собственности» в Ноттинг-Хилле.

В том же году разразилась Франко-прусская война. Мы, мальчишки, были сплошь на стороне Пруссии, а выражение «он за французов» воспринималось как ругательное. В то время и подумать никто не мог, что сорок с лишним лет спустя Англия будет в союзе с Францией воевать против Германии, так же как сегодня невозможно предположить, чтобы через полвека или раньше Германия стала нашим союзником против Франции, как при Ватерлоо.

Сестра Полина вышла замуж за некоего Роберта Шорленда, позднее известного в спортивных кругах как отец Фрэнка Шорленда, чемпиона велосипедных гонок на длинные дистанции. Осенью мы покинули Поплар и переехали поближе к ней, в Нью-Саутгейт. В то время это место называлось Коулни-Хетч, практически деревушка среди лесов и полей. До Лондона было четыре мили через Вуд-Грин и Хорнси, с его единственной старинной улочкой и церковью, увитой плющом, и дальше, через олений заповедник в Холлоуэе.

Помню, у моей жены был песик – он появился у нее еще щеночком и всю свою жизнь прожил в Лондоне. Он дружил с окрестными кошками и часто играл с соседским белым кроликом. Когда псу было девять лет, мы взяли его с собой в деревню. Не прошло и полугода, как он превратился в самую отъявленную собаку. Когда не был занят разбоем в курятниках и не гонял кошек, он дрался с другими псами. Так и погиб в драке из-за рыжей красотки. В Лондоне он на них даже не смотрел.

В Попларе я был образцовым мальчиком. Должно быть, в деревне обитает дьявол, сбивающий с пути собак и мальчишек. Я попал в дурную компанию – в нее входили двое сыновей уэслианского священника, а также единственный ребенок органиста местной церкви. Как замечает Гиббон, религия бессильна справиться с греховными инстинктами человека. Мы грабили фруктовые сады, ставили силки на кроликов в лесу Уокеров, что простирался от Коулни-Хетч до Олд-Саутгейта. В семье Уокер было одиннадцать братьев, все заядлые крикетисты. Они создали собственный клуб и прославились. Я научился ловить форель руками в ручье, протекавшем через парк по направлению к Палмерс-Грин. Подобно царю Давиду мы освоили искусство стрельбы из рогатки. Целились мы в птиц и кошек. Попадали, к счастью, редко, чаще в окна.

Один человек самовольно захватил участок земли – в то время такое случалось. Построил себе хибарку, вкопал колышки и огородил пару-тройку акров в местности, где сейчас весьма респектабельный район Холли-Парк. Много лет его никто не беспокоил, пока новый владелец земли не захотел выжить незаконного поселенца. Не владей тот правом проезда, можно было бы построить ограду вокруг его участка, так что нарушитель оказался бы словно в заточении. Тогда ему пришлось бы уехать. В разгар тяжбы старик умер, и события приняли новый оборот.

---

5 Пс., псалом 29.

Оказывается, там, где пронесли покойника, для живых навсегда проход свободен, по крайней мере так говорили. У старика осталось трое сыновей, все крепкие молодцы, да и две взрослые дочки тоже не намеревались сидеть сложа руки. Дело обещало быть захватывающим. Нанятые землевладельцем люди сторожили днем и ночью, полные решимости не пропустить труп, меж тем как семейство из хибарки, препоясав чресла, столь же решительно хранили день и час похорон в глубокой тайне. Как-то вечером сын мясника шепнул мне, что назавтра с утра те попытаются прорваться. Я встал до рассвета, вылез в окно и спустился по водопроводной трубе. Из коттеджа вышла небольшая группа родни в трауре. Двое старших сыновей с друзьями несли гроб. До проезжей дороги нужно было преодолеть всего несколько сотен ярдов, но кто-то успел предупредить людей землевладельца. Началась богомерзкая свалка. Увидев приближающихся врагов, те, кто нес гроб, свернули с тропинки и бросились к дыре в живой изгороди, чуть ниже по склону. Один поскользнулся и упал, гроб свалился на землю, и закипела грандиозная потасовка. Тем временем две девушки со своими женихами вынесли другой гроб и бегом достигли дороги. С первого гроба свалилась крышка – оказалось, он был полон камней. Чем все закончилось, я не знаю. Кажется, стороны пришли к компромиссу. Больше всего мне было жаль покойника. Это он меня научил ловить руками форель. С какой радостью он бы поучаствовал в той последней драке!

На следующий год умер отец. Третьего июня, как я узнал из маминого дневника.

«Милый папа так и не успел надеть халат. Нынче утром, в половине десятого, Господь призвал его к себе. В один миг он ушел получить награду за долгие труды и страдания».

У отца было больное сердце. Он умер, когда вставал с кровати. Не могу согласиться с молитвенником. Я тоже всегда буду молить Бога о внезапной смерти.

Отец не казался мне старым; возможно, из-за густых вьющихся волос цвета воронова крыла. Только после его смерти я узнал, что он носил парик. По обычаю того времени в постель отец ложился в ночном колпаке. В те дни лысых было не увидеть. Мужчины тогда больше заботились о своей внешности.

Мне хочется верить, что в последние годы своей жизни мама обрела душевный покой. Быть может, когда умирает надежда, уходят и страхи. Ее дневник попал мне в руки двадцать лет спустя и стал настоящим откровением. Мне она всегда казалась веселой. Я привык слышать, как мама напевает за работой, даже в мрачном доме на Суссекс-стрит. Помню, как мы с ней изредка выбирались в город – купить мне новый костюм или в гости. Мы шутили, смеялись и подолгу разглядывали витрины, выбирая, что мы купим, когда «приплывет наш корабль».

Приведу еще несколько отрывков из поздних записей.

«Семнадцатое сентября. Приходил мой кузен Генри Такер. Он совсем постарел. Ближе к вечеру нас навестила Бландина. Очень счастливый день».

«Девятнадцатое июля. Ездили с Бланш в Кройдон. Мистер и миссис Клаутер очень добры. Приятно провела время».

«Четвертое декабря. День рождения милой Бланш. Пришла дорогая Полина с малышами, и все мы были очень счастливы».

«Рождество. Бланш и Лютер ходили в гости к миссис Маррис. Мы с Фэн – к Полине. Приятный, тихий день. Господь милостив к моим любимым».

После смерти отца мы перебрались в Финчли. Полевая тропка вела в Тоттеридж, мимо домика с соломенной кровлей, где румяная старушка продавала фрукты и куриные яйца. Раньше она жила в Девоншире, была женой фермера. Они с мамой очень подружились и часто болтали, сидя на лавочке возле старушкиного дома.

В четырнадцать лет я оставил школу и с помощью папиного старого друга получил место

клерка в управлении Лондонской и Северо-Западной железной дороги, на Юстонском вокзале. Жалованье мое составляло двадцать шесть фунтов в год, с ежегодной прибавкой в десять фунтов. Но в первый год из-за общего пересмотра цен на билеты была масса возможностей работать сверхурочно. Для меня это означало два с половиной пенса в час до полуночи и потом еще четыре пенса в час. Так что по субботам я часто приносил домой лишних шесть-семь шиллингов. Тетя Фэн умерла. «Собственность» в Ноттинг-Хилле куда-то делась, зато сестра успешно сдала экзамены и нашла себе хорошее место. Настали дни мира, хоть и не изобилия.

Главную трудность для меня представлял обеденный перерыв. Были, конечно, кофейни, где можно напиться какао по пенни за полпинты, а к нему на полпенни взять «порожек» – толстый ломоть хлеба, щедро намазанный желтоватой субстанцией, которая считалась маслом. Но если позволить себе что-нибудь сверх того, выходило уже накладно. Окунь стоил пять пенсов, ирландское рагу или мясной пудинг – шесть. Меньше чем за девять пенсов не пообедаешь, и еще нужно пенни дать на чай официантке. В одном заведении на Хэмпстед-роуд продавали пирожки с мясом по два пенса и сладкие пирожки за пенни – за три пенса можно перекусить, хоть и не сытно, зато вкусно. Пирожки пекли в специальных неглубоких формочках. Продавщица ловким движением ножа извлекала пирог из формочки и перевернутым подавала покупателю на бумажке. Можно было его съесть на ходу, прямо на улице, или устроиться где-нибудь в тихом уголке. Главное – не заляпаться подливкой. Лучше всего заранее запастись старой газетой. Еще лучше, с точки зрения питательности, добавить полфунта печенья, а летом кулек вишен приятно разнообразил меню. Некоторые сотрудники приносили еду с собой и обедали прямо в конторе, но я любил побродить по улицам, рассматривая витрины и наблюдая за людьми.

В поколении моих родителей набожные люди считали, что театр – это врата ада. Помню разговор на эту тему, дрожащими голосами, как-то вечером в Финчли. Сестру знакомые пригласили в театр. Мама хоть и встревожилась, признала все же, что со времен ее молодости нравы могли измениться, и в конце концов дала разрешение. Когда сестра ушла, мама притворилась, будто читает, но то и дело стискивала руки, и я знал, что она молится, склонив голову над книгой. Сестра вернулась около полуночи, сияющая, словно ей явилось чудо. Кажется, пьеса называлась «Бабиль и Бижу», давали ее в театре «Ковент-Гарден». Сестра до двух ночи рассказывала нам о своих впечатлениях. Мама слушала, широко раскрыв глаза, а когда сестра сказала, что надо бы и ей как-нибудь пойти, мама ответила со смехом – а может, и правда рискнуть? Позже мы с сестрой ходили в «Глобус» – билеты в партер достались мне за шесть пенсов. Цирюльник на Драммонд-стрит получал их за то, что выставлял у себя афиши. Цена варьировалась в зависимости от успеха спектакля. Главные роли исполняли «звезды» – Роуз Мэсси и Генри Монтегю. Не помню, о чем была пьеса. Сестра плакала, а я в особо драматические моменты сжимал кулаки. Роуз Мэсси я запомнил как удивительную красавицу и на следующий же день купил за девять пенсов ее фотографию. Портрет много лет стоял у меня на каминной полке.

На следующий год мама умерла. Сестра гостила на севере Англии, и мы были дома одни. Случилось это вечером.

Глава III
Записки недовольного юнца

Два-три года после маминой смерти запомнились смутно и обрывочно. Днем я мог отвлечься, но как только смеркалось, одиночество подбиралось ко мне, дотрагиваясь ледяными

руками. Лондонские друзья и знакомые, несомненно, были бы рады мне помочь, но бедность усиливала мою застенчивость: вдруг покажется, что напрашиваюсь на жалость. Я постоянно переезжал, словно надеясь убежать от одиночества. Помню дом в Кэмден-Тауне – перейти через площадь и дальше по длинной тихой улице. Этажом ниже обитали другие жильцы – поднимаясь по лестнице, я слышал их голоса. В задней комнате один человек повесился. Тело нашли только в субботу утром, когда хозяйка пришла за квартплатой. Однажды, проходя мимо чьей-то двери, я услышал странный звук, словно кто-то колотит по стене кулаками – или, быть может, ногами в одних носках. Но лезть в чужую жизнь не позволял этикет.

Был еще забавный домик поблизости от Молден-роуд, под названием «Замок», с круглой башенкой, арочными окнами и зубчатым парапетом. Построивший его старик-немец, вдовец, жил здесь же, в цокольном этаже. В дни процветания семья занимала весь дом. Я снимал верхнюю комнату в башне. В некотором смысле там было очень удобно – можно дотянуться до любого предмета, не вставая с кровати.

Снимал я комнату и на Нельсон-сквер, по ту сторону моста Блэкфрайерс. Уилл Оуэн, художник, тоже одно время жил на Нельсон-сквер. Мы как-то с ним сравнили впечатления и пришли к выводу, что дом был тот же самый. Миниатюрная, вечно в хлопотах, хозяйка – бывшая актриса. В мансарде судебный писец с женой, он часто работал по ночам и беспрерывно кашлял. Постепенно я к этому привык. Неумолчное покашливание казалось частью ночи.

Одно время я снимал комнату на Танет-плейс – тупиковой улочке напротив старого Темпла. Сейчас там банк «Ллойдс». Хозяин дома раньше работал машинистом на паровозе. Они с женой занимали первый этаж. Хозяин отличался холерическим темпераментом и принадлежал к баптистам-кальвинистам. Их молитвенный дом располагался по ту сторону Стрэнда, в Клер-Маркете. Жилец со второго этажа был тихий, крепко сбитый молодой человек с вьющимися волосами. Мы иногда сталкивались на лестнице. Он говорил с немецким акцентом, всегда очень вежливо. Но однажды он явился вечером в приподнятом настроении и привел с собой друзей. Послышались хлопанье вылетающих пробок, хохот и пение. Вскоре на лестнице раздался гневный голос хозяина: если приятели Второго этажа не прекратят безобразничать и не разойдутся немедленно по домам, Второй этаж будет без промедления выброшен на улицу вместе со всем своим добром. Хозяин, мускулистый старик, в минуты волнения был в первую очередь отставным машинистом и только во вторую – баптистом. Он бы наверняка осуществил свою угрозу, если бы Второй этаж немедля не извинился и не пообещал выполнить все, что от него требовали. Засим последовало негромкое бормотание присмиревших приятелей, шарканье ног по ступенькам и еле слышный звук закрывающейся парадной двери. Наутро хозяин перехватил меня, когда я собирался выйти из дома, и знаками пригласил к себе в комнату.

– Слышали вчера шум? – спросил он.

Я сознался, что слушал с интересом, выйдя на площадку в ночной сорочке.

– Почитайте-ка, – сказал домохозяин, посмеиваясь, и ткнул пальцем в газетную заметку.

Оказывается, накануне в «Аквариуме» произошла сенсация. Некий джентльмен по имени Самсон, известный тяжеловес, разрыватель цепей и переламыватель железных прутьев, давно уже претендовал на звание «самого сильного человека в мире». Вдруг во время представления молодой человек из числа зрителей бросил вызов Самсону. Публика, почуяв развлечение, потребовала немедленно устроить состязание. Молодой человек поднялся на сцену и, сбросив излишек одежды, явил зрителям мускулатуру Геркулеса, после чего с легкостью победил бедолагу Самсона. Когда героя попросили назвать свое имя, он ответил, что его зовут мистер Юджин Сэндоу.

– В другой раз, если мистер Юджин Сэндоу приведет домой друзей, я, пожалуй, не стану выгонять его на улицу, – заметил домохозяин. – Если, конечно, они не будут слишком шуметь.

Одиночество неотступно следовало за мной по пятам. Помню одно Рождество… Я сам был виноват. Меня приглашали в гости разные люди, очень приветливо и доброжелательно. А мне в одном приглашении померещились покровительственные нотки, в другом – непрошеное сочувствие. Я ответил отказом, ссылаясь на то, что вечер у меня якобы уже занят. В день праздника, чтобы спастись от самого себя, я взял на службе билет до Ливерпуля – железнодорожным клеркам полагался четырежды в год бесплатный проезд. Я выехал рано утром с Юстонского вокзала и чуть позже двенадцати прибыл на Лайм-стрит. Шел снег пополам с дождем. Найдя в районе доков еще не закрывшуюся кофейню, я пообедал ростбифом и чем-то бело-коричневым, что называлось сливовым пудингом. Кроме моего, занят был только один столик, в самом дальнем углу. Мужчина и женщина разговаривали шепотом, близко склонившись друг к другу; в темноте лиц было не разглядеть. На другой день я прочитал в газете, что в Йоркшире убили старика в таверне на отшибе, а позже в Ливерпуле по этому делу арестовали мужчину и женщину. У меня прочно укоренилась ничем не подтвержденная мысль, что я в день Рождества обедал рядом с убийцами. Чтобы как-то занять время, я вернулся поездом, который шел очень медленно и в Лондон приходил уже после десяти вечера. Снег валил вовсю, и улицы были непривычно пустынны. Даже пабы смотрели безрадостно.

Примерно в то время я поставил себе задачу приобщиться к порокам. Из прочитанных книг следовало, что иначе ты всего лишь хлюпик и тебя будут презирать настоящие мужчины, а главное, прекрасные женщины. Курить я начал еще в школе, но из трусости бросил. Сейчас, кажется, курение воспринимается как часть культурного наследия человечества. Особо эмансипированные девушки с удовольствием закуривают. В моем детстве это не было настолько обычным делом. Первые несколько месяцев я из предосторожности курил на улице, выбирая отдаленные тихие закоулки, где поменьше свидетелей возможной неудачи. Но упорство и прилежание помогают освоить все, даже глупую и вредную привычку накачивать табачным дымом собственные сердце и печень.

С выпивкой получилось еще сложнее. Начал я, быть может неразумно, с кларета. В «Пещере» неподалеку от пассажа «Адельфи» бокал стоил два с половиной пенса. Я прихлебывал его, зажмурившись; последствия заставляли предположить, что вино, которое апостол Павел рекомендовал Тимофею от болей в животе [6], было из каких-то иных виноградников. Спустя какое-то время, успокаивая свою совесть доводами экономии, я перешел на портер, по три полпенни за полпинты. Вкус, конечно, еще гадостнее, зато с ним можно покончить одним глотком. Коллега по Юстонскому вокзалу, испытавший в прошлом примерно те же трудности, рекомендовал попробовать портвейн. У «Шортта» на Стрэнде за три пенса подавали большой бокал, да к нему еще булочку. Не будь мистера Шортта, я, может, по сей день остался бы трезвенником. Будь у меня сыновья, я бы посоветовал им пренебречь известным изречением доктора Джонсона и начинать сразу с портвейна. Скольких мучений удастся избежать! От портвейна я постепенно перешел к сидру, а там и к бутылочному пиву. В конце концов даже виски смог пить без содрогания. Министерство финансов уверяет, что потребление спиртных напитков за пятьдесят лет возросло вдвое. По-моему, тут какая-то ошибка. В Лондоне времен моей молодости пабы встречались на каждом углу. Омнибусы ходили не на восток или запад, а от одного трактира к другому. По вечерам, после закрытия

---

[6] См. 1 Тим. 5:23, «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов».

питейных заведений, на трезвого человека изумленно оглядывались, и пьяные дети были вполне заурядным явлением. Компании юнцов в виде развлечения слонялись «по кабакам». Вершина амбиций для большинства молодых клерков – быть коротко знакомым с буфетчицей. В крайнем случае неплохое достижение – заслужить право обращаться на ты к мальчишке-слуге.

Для людей более сентиментального склада имелась Оксфорд-стрит после закрытия лавок. Ловишь мимолетный взгляд, и если она улыбнется, приподнимаешь шляпу, выражая глубочайшую уверенность, что вы встречались прошлым летом в Истбурне – в то время Истбурн был местом отдыха изысканного общества. Если все шло хорошо, ты провожал ее до Марбл-Арч и, быть может, на скамейке в парке держал ее за руку. Потом иногда начинались разные сложности, а иногда все заканчивалось свадьбой и – будем надеяться – счастьем до гроба. Чаще же всего не заканчивалось ничем: просто встретились суденышки в ночи. Мне, например, успех не давался. Мешала застенчивость. Первоначальный отпор со стороны дамы, прохладное «Вероятно, вы обознались» – и я, приняв ее слова за решительный отказ, весь красный, скрывался в сумерках.

Я сказал бы здесь и о том пороке, что не требует специального освоения, если бы от моих слов могла быть хоть какая-нибудь польза. Но тут, насколько я понимаю, ничего поделать невозможно, остается смириться перед судьбой. Природа и цивилизация в очередной раз вступают в противоречие, и не всегда их удается примирить. Быть может, с развитием человечества проблема будет решена. Сменится тысяча поколений, и, возможно, годы от взросления до женитьбы не будут больше таким кромешным ужасом, как сейчас. Я бы, единственно, посоветовал писателям поменьше муссировать тему сексуальности – хотя, судя по всему, надежды на это мало. Также мужчинам постарше стоило бы умерять непристойность в разговорах и шутках. Когда я учился в школе, даже совсем маленькие мальчики шепотом рассказывали друг другу скабрезные истории – наверняка услышанные от взрослых. Я говорю не как ханжа. Я знавал прекрасных людей добрейшей души, далеко не безгрешных в этом отношении. Но хочется все же, чтобы люди, способные на сочувствие, зная, как трудно молодому человеку избавиться в мыслях от вожделения, разрушающего душу и тело, бережнее относились бы к великой тайне бытия. На мой взгляд, так было бы лучше.

Один мой знакомый, тоже клерк, подался в актеры. Впервые он вышел на сцену в старом театре «Кэмден-Таун», напротив «Британии». На следующий год театр сгорел. Я тогда жил неподалеку от Мейден-роуд, проснулся от зарева в окне, наспех оделся и выскочил из дома. Со всех сторон сбегались толпы народа. Впервые обитатели Кэмден-Тауна проявили интерес к подмосткам. Происшествие меня вдохновило. Конечно, главная цель – литература, но можно ведь писать и пьесы! И сценический опыт потом пригодится. Чарли (забыл фамилию) познакомил меня с «агентами» – среди них часто попадались жирные и не слишком чистоплотные. С одним, как видно, мы пришли к соглашению. Помню, я продал отцовское кольцо и долго бродил по бесконечным коридорам Сомерсет-Хауса в поисках комнаты, где взимали пошлину за регистрацию контракта. По истечении первых двух месяцев мне обещали платить жалованье «по способностям». Фраза запомнилась, потому что, когда пришло время, я напомнил директору о контракте и даже показал соответствующий пункт, а он ответил, что это нелепость – ни один театр в Лондоне не может себе такого позволить, но если полфунта в неделю не будут для меня лишними, я могу рассчитывать на эту сумму. Он был не такой уж плохой человек. Звали его Мюррей Вуд, а его женой была Вирджиния Блэквуд, актриса, игравшая главным образом в постановках по Диккенсу. Мы открыли сезон в цирке Эстли, у самого Вестминстерского моста, в огромном здании, напоминающем амбар, – зимой здесь размещался собственно цирк. Работу на железной дороге я не бросил. Мои обязанности в

отделе объявлений заключались преимущественно в том, чтобы ездить по городу и проверять, правильно ли развешаны плакаты и расписания поездов. Можно выкроить время для репетиций, и никому до этого не будет дела. Вначале мы поставили «Долли Варден» и «Малютку Нелл», а потом «Затерянных в Лондоне». Я играл злодея-денди, и для роли требовалась фрачная пара. Я купил ее воскресным утром на Петтикот-лейн за десять шиллингов. Многие годы Петтикот-лейн выручала меня по части «нарядов», и ни в какой другой период жизни я не одевался с таким шиком. Покупал я всегда в одной и той же лавчонке; кажется, старик Шини проникся ко мне дружеским чувством. Если у меня не хватало денег, мог скинуть пять шиллингов и поверить в долг.

– А если кто-нибудь спросит, кто ваш портной, – сказал он мне как-то, – можете ответить: мистер Пул с Тэвил-роу.

И кажется, не соврал.

Позже мы поставили комедию Мэнвила Фенна. Я играл полицейского. Мы с главным героем (начальником моего персонажа) натыкались на джентльмена, лежащего в лесу. Герой желал узнать, жив ли тот или умер. Я должен был опуститься на колени и после тщательного осмотра сообщить, что жизнь покинула бренное тело и, судя по всему, уже довольно давно. Вместо этого мне на втором представлении взбрело в голову просто наклониться, принюхаться и лаконически объявить: «Мертвый!» Публика хохотала. Режиссер был в ярости, но Фенн, который смотрел спектакль из-за кулис, постановил, что можно и так, и вписал для меня в текст пьесы несколько строчек. Закончили мы сезон «Мазепой». Я играл целых три роли: солдата, пастуха и жреца, и реплики их были так похожи, что мне приходилось поглядывать на свой костюм: кто я сейчас? Мазепу играла Лайза Вебер. Она была великолепна и появлялась на лошади в таком откровенном костюме, какого еще не знала лондонская сцена. В наши дни, конечно, этим никого не удивишь. В партере поставили кресла и вместо девяти пенсов стали брать по шесть шиллингов. Деньги текли рекой. Мюррей Вуд, добрая душа, поднял мне жалованье до тридцати шиллингов в неделю.

Сезон у Эстли закончился в ноябре – пришлось уступить место «лорду» Джорджу Сангеру с его цирком. Я бросил Северо-Западную железную дорогу и поступил в гастрольную труппу. Сестры страшно за меня тревожились. На Юстонском вокзале я зарабатывал семьдесят фунтов в год, с перспективой стать управляющим. Я им возражал: зато теперь я могу стать самым известным актером Лондона и завести собственный театр. Они только плакали. Мы открыли сезон в Торки на второй день Рождества спектаклем из трех частей: фарс, драма в двух действиях и пантомима. Я взял сценический псевдоним Гарольд Крайтон, и тут оказалось, что нашего ведущего комика зовут Холдейн Крайтон – он позднее занялся арендой театров. У него была дочь, Мэдж Крайтон; кажется, она сейчас в Америке. Все думали, что мы братья. Он взялся меня опекать, учил танцам и акробатическим трюкам. Заставлял прыгать через отверстия, закрытые клапаном, – иногда с другой стороны ждал подстеленный матрас, а иногда нет. Чтобы появляться на сцене из люка, требуются присутствие духа и крепкий череп. Холдейн находил у меня задатки клоуна, однако мои амбиции были не настолько эксцентричны. После Торки мы отправились в турне по Южной Англии. Сейчас нас назвали бы репертуарным театром. Часто после вечернего спектакля нам раздавали текст завтрашней роли. Одну пьесу мы поставили после трех репетиций.

– Думают, мы им любители несчастные? – ворчал наш первый старик.

Всего я провел на сцене три года. Изредка удавалось получить лондонский ангажемент: в старом театре «Суррей» под руководством Конквестов, в «Британии» и в «Павильоне». Вест-Энд в те дни, как и теперь, оставался недоступен, если у тебя нет ни денег, ни связей. По большей части я выступал в провинциях. Нас постоянно преследовал страх нарваться на

директора-жулика. Пока есть прибыль, такой директор платит какое-никакое жалованье: от фунта до пятидесяти шиллингов. А если удача переменится, директор исчезает. Чаще всего это происходило в пятницу вечером, во время представления. Артисты, оставив корзинки с багажом хозяйкам меблированных комнат вместо уплаты, добирались до дому, как придется. Случалось и бродяжничать, и милостыню просить по дороге. Никто не жаловался: дело привычное. Иногда кто-нибудь из женщин всплакнет, но и то редко. Бывало, собирали труппы на ряд выступлений по одному вечеру в ратушах, ассамблеях и так далее. Здесь плата не превышала тридцати шиллингов в неделю, если еще удастся ее получить. Нас называли «шиллинговиками». Если не найдешь ночевку за шиллинг (плата вперед), перебиваешься без крыши над головой. Летом можно найти какой-нибудь безлюдный закоулок или перелезть через ограду и устроиться спать на пороге церкви. В зимнее время мы скидывались и, подкупив привратника, ночевали в гримерках, а если гримерки в театре не было, то прямо на сцене. Временами, конечно, удавалось прибиться к хорошей труппе и жить припеваючи – спать в нормальной кровати и по субботам есть пироги с крольчатиной.

Хоть и нескромно так говорить, я думаю, что мог бы стать хорошим актером. Будь мне довольно для жизни смеха и аплодисментов, остался бы в этой профессии. Во всяком случае, опыта хватало. Я переиграл все роли в «Гамлете», за исключением Офелии. Играл в одном спектакле Сару Гэмп и Мартина Чезлвита. Не помню, как именно все это закончилось. В каком-то городке на севере я продал свой гардероб и прибыл в Лондон с тридцатью шиллингами в кармане. К счастью, погода была теплая, а я привык «спать под забором», как выражаются сельские жители. В Лондоне, правда, это сложнее – важно не привлекать внимания полиции. В дождливые ночи приходилось потратить девять пенсов на ночлежку. Самая лучшая мне попалась в Пентонвилл-Хилле, неподалеку от тюрьмы. Там даже давали два одеяла, но для этого нужно было прийти пораньше. Литераторы любят описывать жизнь «дна». Действительно, в этой среде можно найти и смешное, и трогательное, и даже своеобразную романтику, но чтобы их оценить, нужно смотреть со стороны. В этом мире существуют по законам джунглей. Ложась спать, мы прятали под подушку все свое имущество, вместе с прохудившимися ботинками. Когда готовили завтрак, стояли на страже возле сковородки, чтобы в случае чего драться не на жизнь, а на смерть за тощий ломтик ветчины или чахлую рыбину. Старых и больных в схватке не щадили. Считалось, что привратник должен смотреть за порядком, но среди отбросов общества для сильных один закон, для слабых – другой, и всегда найдется здоровенный громила, с которым лучше не ссориться. Мне повезло – я встретил знакомого, мы с ним вместе в детстве браконьерствовали по лесам. Он тоже опустился – занялся журнализмом. Писал грошовые статейки – если быть точным, по три с половиной пенса за строчку. Я стал ходить с ним по судам и коронерским дознаниям и вскоре тоже наловчился писать репортажи. Зарабатывал до десяти шиллингов в неделю и мало-помалу возвращался к жизни. У меня появилось жилье и настоящая мебель: кровать, стол и стул, вкупе с кувшином и тазом служивший также умывальником. После ночлежки это была немыслимая роскошь. Иногда какой-нибудь театр заказывал репортаж. Я помню Чарлза Мэтьюса и мадам Вестри в «Ройялти» и первое выступление Ирвинга в пьесе «Колокольчики», в старом «Лицеуме», когда им управляла миссис Бэйтман. Фелпс выступал в Сэдлерз-Уэллс. В Филармоническом зале, напротив «Ангела», единодушно освистали постановку оперетты Шарля Лекока «Дочь мадам Анго». В Ньюгейте вешали преступников – можно было полюбоваться зрелищем через тюремную стену из окон домов напротив. В одной кофейне в Олд-Бейли за полкроны позволяли подняться на крышу. Я обнаружил, что статьи лучше продаются, если их сдобрить толикой юмора. Редакторы часто отдавали моим текстам предпочтение перед более серьезными, хоть и, возможно, более правдивыми репортажами. В

таверне под названием «Коджерс-Холл» на Флит-стрит мы за трубочкой и кружечкой пива обсуждали вопрос о самоуправлении Ирландии, суфражисток, социализм и надвигающуюся революцию. Гладстон поднял подоходный налог до восьми пенсов, и те из нас, кто смотрел на вещи серьезно, предрекали, что страна катится к гибели. Форстер ввел обязательное всеобщее образование, и мы опасались, как бы Англия не стала чересчур интеллектуальной. Как-то некий ирландец швырнул в меня графин с водой – я так и не понял, к чему подобный предмет в трактире. Я вовремя увернулся, и графин угодил в голову джентльмену, склонному к нигилизму. Началась общая свалка, но минут через десять все помирились и, взявшись за руки, спели «Забыть ли старую любовь». Примерно в это время я взялся изучать стенографию. Диккенс начинал парламентским репортером, и я решил пойти по его стопам. Я посещал публичные собрания, а по воскресеньям записывал проповеди. Чарлз Сперджен был хороший человек – говорил так, что каждое слово отчетливо слышно. Помню, однажды воскресным утром он начал проповедь с того, что вытер вспотевший лоб и заметил: «Чертовски жарко сегодня».

«Грошовая журналистика» постепенно мне надоела. Возможно, это занятие давалось бы мне лучше, будь я по натуре человеком экономным, способным откладывать на черный день. В одну неделю я мог заработать два-три фунта и словно по какому-то неведомому экономическому закону ровно столько и тратил. А на следующую неделю мой заработок составлял всего несколько шиллингов. Как прожить джентльмену в таких условиях? Постоянно приходилось носиться сломя голову, поспевать тут и там. У меня выработалось собственное представление о предельном богатстве, какого только можно пожелать: это если человек, устав или заскучав, может себе позволить немедленно сесть в омнибус, не задумываясь о цене билета.

Пробовал я и учительствовать. Тогда для этого не требовалось ни дипломов, ни ученых степеней. Я нашел место в школе для приходящих учеников и пансионеров на Клапем-роуд. Формально моя специальность включала английский и математику, на самом же деле учить приходилось практически всему – директор школы, пожилой джентльмен, не склонный перетруждаться, ограничивался классическими языками и богословием. Также в мои обязанности входили «общий надзор» за пансионерами, обучение плаванию и гимнастике. Я должен был следить, чтобы ученики прилично себя вели во время ежедневной прогулки по Клапем-Коммон и в церкви по воскресеньям, и должным образом бросали трехпенсовики в кружку для пожертвований. Подозреваю, впрочем, что кое-кто ухитрялся заныкать монетку. Мне полагалось носить цилиндр и перчатки, и раз в неделю давали свободный вечер. Смешливая прислуга «за все» потешалась надо мной: «Теперь вы знаете, каково нам живется! Вот женитесь, будете жене рассказывать». Говорят, с того времени порядки в школах переменились. Я продержался один семестр. От недостатка практики я подрастерял навык стенографии. Галерея прессы в палате общин маячила где-то вдали. Я стал искать работу по объявлениям. Для секретарских обязанностей навыка хватило бы. Я мог поступить секретарем к Герберту Спенсеру. Один мой лондонский знакомый, которому он поручил подыскать кого-нибудь, проверил мои возможности по части стенографии и остался доволен. Договорились, что на следующей неделе я поеду в Брайтон. Я был взволнован и полон энтузиазма. Но сестра, услышав новости, пришла в отчаяние. По ее мнению, театр – путь к гибели, а журналистика и того пуще. После Герберта Спенсера какая останется надежда на спасение моей души? В периоды особенного невезения я прятался от родных и друзей, писал им лживые письма без обратного адреса. Я знал, что причинил сестре много горя, – просто духу не хватало обрушить на нее новый удар. Я повидался с другом Герберта Спенсера (забыл, как его звали) и все ему объяснил. Он страшно смеялся, но сказал: мистер Спенсер наверняка решит, что я поступил правильно.

Итак, я поступил секретарем к застройщику в северной части Лондона. Это был потрясающий старик. Не умел ни читать, ни писать, но не задумываясь проворачивал десятитысячные контракты. Он изобрел некий иероглиф, который в банке принимали у него в качестве подписи. Рисовал он свою закорючку, крепко зажав перо в кулаке, а по окончании тяжкого труда шумно переводил дух. Память у него была невероятная. До моего появления он вообще не вел никаких записей. Все подробности обширного бизнеса держал в голове, и, говорили, никому не удалось его надуть хоть на полпенни. Я взялся его перевоспитывать. Поначалу он радовался и благодарил, но через какое-то время погрустнел. Кончилось тем, что однажды в субботу он выложил передо мной на стол жалованье за пять недель и, заверив в неизменной дружбе, попросил в виде личного одолжения выметаться из его дома.

Затем я работал в торгово-посреднической фирме. Мы получали заказы с приложенными к ним чеками от людей, живущих в Индии – не важно, белых или цветных, – закупали требуемое, упаковывали в жестяные ящики и отправляли заказчикам. В рекламе фирмы говорилось, что у нас трудятся опытные закупщики, на самом же деле покупками занимался в основном я. Приобретал для незнакомых дам из далекой страны платья, туфли и нижнее белье по мерке, стараясь подбирать расцветки, подходящие к цвету волос, и находил подарки на день рождения для их мужей – надеюсь, что речь шла в самом деле о мужьях. Я выбирал вина и сигары для сварливых старых полковников – то есть это я так предполагаю, что они были сварливыми. Я решал, какое ружье лучше подойдет для охоты на тигров и гиппопотамов, и заказывал седла «на глазок». Работы была интересная. Я ощущал себя чем-то вроде всеобщего дядюшки и честно старался изо всех сил. Я очень огорчился, когда мой работодатель неожиданно уехал в Южную Америку.

Затем я поступил в адвокатскую контору. Мы работали с парламентом. Дивно и ужасающе устроено общество! Подсчитано, что от каждого яблока по пути от яблони до едока получают свою долю одиннадцать человек. Построить новую железную дорогу, проложить новый трамвайный маршрут или оборудовать новую верфь можно только с санкции парламента, как тому и следует быть. По идее, получение такой санкции должно быть совсем простым делом. Учредители представляют свой проект на рассмотрение трем-четырем разумным членам палаты лордов и немедленно приступают к работе. Но тогда никто с этого не получит никакой выгоды, за исключением непосредственных исполнителей и всех тех людей, кому осуществление проекта пойдет на пользу. Возмутительно! А паразиты как же? Нужно развести гору бумаг, всевозможных инструкций и записок по делу, чтобы полдюжины королевских адвокатов получили по тысяче гиней. Года два должны тянуться прения, оплачиваться услуги юридических фирм, специалистов-консультантов, инженеров, землемеров и газетчиков. Когда все насытятся и высмотрят новую жертву, внезапно обнаружится, что по существу никаких возражений против проекта нет – да и не было никогда. Ну вырастет общая сумма затрат на сотню тысяч фунтов. Дело заканчивается официальным обедом, где все выражают благодарность друг другу и возносят хвалу Господу за британскую конституцию.

Затем судьба забросила меня в другую адвокатскую контору. Интересно было бы почитать воспоминания старого семейного поверенного. Чуть ли не в каждой пыльной черной жестяной коробке таится захватывающая история. Время от времени я открывал такую коробку и перебирал содержимое: связки пожелтевших писем, засиженные мухами миниатюры и фотографии. Покупка Харлоу-Мэнор с прилегающими землями, апрель 1832 г. Черновик закладной. Приложение к сему от 11.8.69. Косгроув против Косгроув и Темплтона, с замечаниями по поводу того, кому достанется опека над детьми. Элленби, усопший – отдельным пунктом в завещании оговорена некая сумма в пользу Лоры и двоих детей. Корона против Маннингема, приложена вырезка из «Морнинг пост» с описанием слушания в суде. К

завещанию приложено объявление о розыске некоего Мунро Джорджа Харгрейвза, и поперек листка надпись красными чернилами: «Не найден». И так далее. Я медленно закрываю крышку. Потревоженные тени тихонько возвращаются в свою обитель.

Среди наших клиентов была Уида[7]. Раз в год она покидала свою любимую Флоренцию и проводила несколько недель в Лондоне. Книги доставляли ей хороший доход, но меры деньгам она не знала совершенно. Могла по настроению во время утренней прогулки набрать покупок на тысячу фунтов, с тем чтобы их доставили ей в отель «Лангем». Как ребенок, она желала получить все, что привлечет ее взгляд, не спрашивая о цене. К счастью, она всегда ссылалась на нас. Я отправлялся к продавцам и объяснял, как обстоят дела. Одну-две не слишком дорогих покупки мы ей позволяли, об остальных она забывала.

Помню, к нам обратились с вопросом, будет ли Альфред Хармсворт хорошим жильцом и можно ли сдать ему комнату на Чансери-лейн за тридцать фунтов в год. Мне велели ответить «с осторожностью». Впрочем, закончилось все хорошо. Именно там он основал газету «Ответы».

Был у нас один клиент, мировой судья из Уэльса. Однажды в Пемброке он увидел маленькую девочку, дочку рыбака. Посадил ее на плечо и отнес домой. Договорился с родителями, что отправит ее в школу за границу, а когда девочке исполнится восемнадцать, женится на ней. План был приведен в исполнение, но брак оказался несчастливым. Джентльмен был уже немолод (около пятидесяти) и, как можно догадаться, несколько эксцентричен. Вскоре он умер и оставил жене две тысячи в год при условии, что она больше не выйдет замуж. Молодая красивая вдова нашла выход – уехала в Америку с кузеном-моряком. Просто он взял ее фамилию, а не наоборот.

Помню еще одно дело о завещании, из которого могла бы выйти хорошая пьеса. Персонажи: пожилой священник, внезапно получивший наследство, и, выражаясь современным жаргоном, «женщина-вамп». Она и есть самое примечательное в этой драме. Женщина за сорок, преданная жена и мать. Насколько я понял, ею двигала любовь к детям. Старший мальчик учился в Оксфорде, младший – в Сандхерсте, но ее давно тревожило, где найти средства на дальнейшее обучение. Они со священником познакомились у нас в приемной, разговорились… О том, как развивался роман, можно только догадываться, хотя я заметил, что в дальнейшем их визиты к нам как бы случайно назначались на одно и то же время, с разницей не больше как в полчаса, а уходили они всегда вместе. Так продолжалось год, и вдруг однажды утром неряшливо одетая служанка принесла в контору записку, кое-как нацарапанную карандашом. Начальства еще не было, и я вскрыл письмо. Старый джентльмен умолял именем Господа, чтобы кто-нибудь пришел к нему по такому-то адресу на Юстон-роуд. В постскриптуме он предупреждал, что там его знают под именем Уилсон. Я вскочил в кеб и скоро был на месте. Старик лежал в постели в очень мило обставленной комнате на втором этаже. Он явно был сильно болен и говорил с трудом.

– Вчера она меня заставила подписать завещание. Двоих свидетелей припасла, ждали за дверью. По завещанию все остается ей. Я, наверное, был не в себе. Утром проснулся, а ее нет. И документ унесла.

Я стал его уверять, что подобное завещание легко оспорить, да она и не решится представить его к исполнению.

– Вы ее не знаете, – ответил он. – К тому же моя жена скорее пожертвует собой, лишь бы мое имя не изваляли в грязи. На то и рассчитано.

---

[7] Уида – псевдоним английской писательницы Марии Луизы де ла Раме (1839–1908), бывшей владелицы лондонского отеля «Лангем» и автора многочисленных детских книг, а также популярных приключенческих и любовных романов.

– Что у вас со здоровьем? – спросил я.

– Сердце, – прошептал старик. – Она меня нарочно разволновала. Я умираю.

Я просил его в первую очередь сохранять спокойствие – в этом был его единственный шанс. В те дни двухколесный кеб был самым быстрым средством передвижения в Лондоне, но мне казалось, что путь до конторы длился несколько часов. Мой начальник быстро набросал завещание из четырех строк, по которому все имущество отходило жене старика и явным образом отменялось предыдущее завещание. Когда мы вернулись, беднягу мучили сильные боли, но кое-как он все же сумел поставить подпись. Я помчался за доктором. К вечеру старик умер. Леди ушла к другим поверенным. Я встретил ее много лет спустя на приеме в министерстве иностранных дел. Она меня вспомнила и была очень любезна. Осталась очень красивой женщиной, хоть и поседела.

Все это время я постоянно сочинял рассказы, пьесы, эссе, но прошли годы, прежде чем из этого что-нибудь вышло.

Глава IV
Моя первая книга и другие

Моя первая книга! Вот она стоит передо мной, в светло-розовой бумажной суперобложке, словно краснея за все свои грехи. «Джером К. Джером. На сцене – и за сценой» (прописная буква «К» очень большая, а за ней строчная «д», так что многие читатели решили, будто автора зовут Джером Кджером). «Краткое жизнеописание начинающего актера. Цена 1 шиллинг. “Леденхолл пресс”. Лондон, 1885».

Она появилась на свет на Уитфилд-стрит, Тоттнем-Корт-роуд, в задней комнате третьего этажа, окнами на кладбище. Сейчас там часовня Уитфилда. Предыдущий жилец – должно быть, молодой клерк вроде меня – был влюблен в девушку по имени Анни. Лежа в кровати, он выводил на покрытых копотью обоях посвященные ей стихи – если можно их так назвать. Строчки вились меж китайских пагод, воинов и склоненных над водою ив. Одна строфа мне запомнилась:

Анни, Анни, всех прекрасней.
Пред тобой стою безгласный.
О, злая доля бедняка!
Не для меня твоя рука.

Эта надпись, прямо против подушки, – первое, что я видел утром, проснувшись. К моей жизни она тоже отлично подходила и оттого навевала грусть.

Я пробовал писать короткие рассказы, эссе, сатирические заметки. Один рассказ – всего один! – приняли в газете под названием «Лампада». История была невероятно печальная, о девушке, которая отдала жизнь ради любимого и превратилась в водопад. Газета вскоре скончалась. Все остальные рассказы возвращались ко мне с удручающей неизменностью. Иногда их сопровождали несколько любезных слов от редактора, иногда – нет. Иные присылали с неприличной поспешностью, буквально следующей почтой, иные хранили в редакции месяцами – судя по виду рукописи, в мусорной корзинке. Сердце у меня застывало свинцовым комом в груди каждый раз, как маленькая домашняя раба, стукнув в дверь, появлялась на пороге с конвертом в руках. Она протягивала мне рукопись, прихватив ее фартуком, чтобы не замарать, и если при этом улыбалась, мне мерещилось, что она надо мной

насмехается. Чаще бедная, затюканная служанка смотрела невесело, и тогда я воображал, что она меня жалеет. На улице я шарахался от почтальона – мне казалось, он знает о моем позоре. Бойкие журналисты в юмористических журналах любят изощряться в остроумии по поводу авторов, чьи произведения не принимают, – любопытно, сами они прошли когда-нибудь через эту пытку?

К счастью, моим любимым поэтом в то время был Лонгфелло. Сейчас принято над ним потешаться. Возможно, у него не все стихи выдерживают уровень, скажем, «Постройки корабля», но слабые стихотворения есть и у Вордсворта. Для начинающего, кому предстоит тягаться с гигантами, он еще долго будет верным помощником. Года за два до времени, о котором идет речь, я написал ему длинное бессвязное письмо, изливая все свои беды, и адресовал его просто: «Америка, Генри Уодсворту Лонгфелло». Он мне ответил так, словно прекрасно знал мою жизнь и вполне меня понимал. Я всегда обращался к нему за утешением, когда приходилось особенно плохо, а однажды, скрючившись у еле тлеющего огня в камине, прочел его поэму, начинавшуюся так:

«У огня сидел художник, неудачей огорчен».

Мне показалось, что сочиняя ее, Лонгфелло думал обо мне. А когда я прочел последние строчки: «Для творений дерзновенных годно все, что пред тобой», – я понял, что Лонгфелло советует мне поменьше думать о страданиях воображаемых девушек, превращенных в водопады, и тому подобных красивостях, а писать о том, что пережил сам. Я расскажу миру историю персонажа по имени Джером – как он убежал из дома и поступил в театр, и обо всех удивительных и трогательных событиях, что с ним приключились. В тот же вечер я приступил к работе, и через три месяца книга была закончена. Я разыскал актера по имени Джонсон – старейшего на подмостках, по его собственным словам, и как посмотришь на него, сразу в это поверишь. Он играл с Эдмундом Кином, Макреди, Фелпсом и Бутом, не говоря уже обо мне. Мы вместе выступали у Эстли в «Мазепе». В третьем акте нам была доверена задача отвязать Лайзу Вебер от измученной долгой скачкой лошади и пронести через всю сцену. Я поддерживал голову, а Джонсон – ноги. Актриса была, как сказал бы мистер Манталини[8], чертовски статная женщина, и весила никак не меньше четырнадцати стоунов. Пока мы ее тащили, она сыпала леденящими душу угрозами, подробно описывая, что с нами сделает, если мы ее уроним. Однажды старина Джонсон вышел из себя. «Слышь, парень, – обратился он ко мне громким шепотом. – Давай кинем ее в оркестровую яму!» И начал раскачивать ношу. Больше ругани мы от нее не слышали. Когда я снова его отыскал, Джонсон играл в труппе Уилсона Баррета в старом театре Принцессы. Я встречал его у служебного выхода, и мы отправлялись в маленькую таверну на Оксфордском рынке. В те дни там действительно был рынок, с деревянными ларьками по краю и прилавками в центре – там, где сейчас доходный дом Оксфорд-Мэншнс. Джонсон просматривал мою рукопись, вылавливая ошибки, а из тех историй, что он мне рассказывал, можно было бы составить отдельную замечательную книгу. Я собирался ее написать, но закончить мы не успели – Джонсон умер.

Мне больше нравилось работать на улице, а не в моей унылой каморке. Любимым кабинетом служила Портленд-плейс. Меня привлекало спокойное достоинство этой площади. С записной книжкой и карандашом в руках я останавливался под фонарем и набрасывал только что придуманную фразу. Поначалу полицейские смотрели с подозрением. Пришлось им объяснить, и тогда они стали дружелюбнее. Я часто зачитывал им отрывки, казавшиеся мне смешными или интересными. Самым придирчивым слушателем оказался один инспектор,

---

[8] Персонаж романа Ч. Диккенса «Николас Никльби».

суровый старый шотландец, неизменно проходивший мимо церкви Всех Душ ровно в ту минуту, когда часы начинали бить одиннадцать. Если удавалось его рассмешить, я шел домой с чувством хорошо сделанной работы.

Готовая книга отправилась по редакциям. Сперва я отправил ее, кажется, в «Аргоси». Главным редактором была миссис Генри Вуд, но на самом деле вся работа шла через низенького толстяка по фамилии Питерс. Он же редактировал «Газету для девочек», и в каждом номере помещал письмо «от тетушки Фанни». В этих письмах он давал вполне разумные советы о любви, замужестве, о том, как сохранить хороший цвет лица, как достойно одеваться на пятнадцать фунтов в год, и прочее. Я с ним довольно близко познакомился. Добродушный старый холостяк жил в очаровательном коттедже в Суррее, был большим знатоком и ценителем портвейна. Вслед за ним шанс заполучить мою книгу я предоставил Джорджу Огастесу Сейла, тогдашнему редактору литературного журнала «Темпл». Он написал мне, что книга ему понравилась, но, к сожалению, она не совсем подходит для семейного чтения. Сейла тоже был тонким ценителем портвейна. Еще он, как Сирано де Бержерак, был крайне чувствителен к намекам по поводу формы его носа. Однажды он подал в суд на человека, позволившего себе едкое замечание в этом духе на каком-то публичном обеде. Сейла был блестящим рассказчиком – при условии, что ему позволят безраздельно завладеть вниманием всей компании. Помню, на обеде на Харли-стрит некий молодой доктор, незнакомый с обычаями богемы, начал что-то рассказывать прежде, чем Сейла как следует разогнался. История была интересная, потом доктор сразу же начал другую. Завязался общий разговор. Когда мы наконец вспомнили беднягу Сейла, выяснилось, что он ушел домой.

Затем я предложил свою книгу журналу «Тинслейз мэгэзин». Старину Тинслея невозможно было застать в конторе. Мы обычно встречались в его излюбленном ресторанчике поблизости от редакции. В то время сухой закон еще не входил в сферу «практической политики», как выразился бы мистер Гладстон, а уж среди издательской братии о таком и помыслить никто не мог. Помню случай, когда один человек впервые заказал чай с гренками в клубе «Дикарь». Официант, извинившись, попросил повторить заказ. Тот повторил. Официант сказал: «Слушаю, сэр», – и побежал советоваться с управляющим. К счастью, управляющий был женат. Его жена дала взаймы заварочный чайничек и вообще взяла дело в свои руки. Об этом происшествии еще недели две говорили в клубе. Большинство завсегдатаев видели в нем признак грядущего упадка и гибели английской литературы.

В конце концов, отчаявшись пробиться в популярные журналы, я отправил рукопись в только что созданный дешевый журнал под названием «Игра». Ответ пришел через четыре дня:

«Уважаемый сэр, мне очень нравятся ваши заметки. Не могли бы вы зайти завтра утром, до двенадцати? Искренне ваш, У. Эйлмер Гауинг, редактор».

Я не спал всю ночь.

Эйлмер Гауинг, бывший актер, играл роли юнцов в театре «Хеймаркет» при Бакстоне под именем Уолтер Гордон. Чарлз Мэтьюс прозвал его «джентльмен Гордон». Удачно женившись, он издавал «Игру» себе в убыток, просто потому, что не мог жить без театра. Его жена, миниатюрная, словно птичка, писала стихи для журнала. Они жили в чудесном домике в Кенсингтоне, на Виктория-роуд. Эйлмер Гауинг был первым в моей жизни редактором, который обрадовался моему приходу. Пожал мне обе руки и предложил сигарету… Это было как во сне. В моей истории ему больше всего понравилось, что там все – правда. Он сам пережил то же самое, сорок лет назад. Гауинг спросил, сколько я хочу получить за право издать книгу в виде серии выпусков. Я бы и даром ему уступил такое право. Он снова пожал мне руку и вручил пятифунтовую банкноту. У меня никогда раньше не было пятифунтовой банкноты. Духу не хватило ее потратить. Я убрал ее в жестяную коробку, где хранил свои

немногочисленные сокровища: старые фотографии, письма и локон. Позже, когда удача мне улыбнулась, я вытащил банкноту и на часть этой суммы купил в магазинчике на Гудж-стрит подержанное бюро в георгианском стиле. С тех пор я только за ним работаю.

Эйлмер Гауинг остался мне хорошим другом. Раз в неделю он приезжал в Лондон и приглашал меня обедать. Я думаю, он знал, что значит хороший обед для молодого человека, снимающего комнату и зарабатывающего двадцать пять шиллингов в неделю. У него я впервые познакомился со знаменитостями: актером Джоном Клейтоном и его женой, дочкой Диона Бусико. Бедняга Клейтон! Помню, на премьере в Королевском придворном театре ему нужно было играть мужа, от которого сбежала нежно любимая жена, – именно это в тот самый день произошло с ним самим. Мы думали, он не выдержит, но нет, он доиграл до конца, а потом ушел к себе, в пустой дом. Среди гостей бывали еще старик Бакстон, миссис Чиппендейл, драматург Полгрейв Симпсон с крючковатым носом и пронзительными черными глазами. Он ходил в длинном плаще и фетровой шляпе с широкими полями, и однажды пятого ноября прибыл в клуб «Гаррик», окруженный толпой орущих и улюлюкающих мальчишек, – они приняли его за ожившего Гая Фокса. Миссис Чиппендейл была очень полная дама. Помню, когда в «Хеймаркете» возобновили спектакль «Путь домой»[9], она развеселила публику. Ее героиня бродила по палубе корабля, таская с собой смешную походную табуреточку, которую за ней не было видно. «Ищешь сиденье, дорогая?» – спросил старик Бакстон, игравший ее мужа. Она ответила: «Сиденье-то у меня есть. Ищу, куда бы его пристроить».

Мои новые друзья считали, что найти издателя для книги будет совсем нетрудно. Мне дали множество рекомендательных писем, но книгоиздатели оказались такими же непробиваемыми, как и журнальные редакторы. Послушать их, складывается впечатление, что издавать книги – самое ужасное и убыточное занятие на свете. Некоторые высказывались в том духе, что книга могла бы иметь успех, если я оплачу расходы по ее изданию. Ознакомившись с моими финансовыми обстоятельствами, они заметно охладевали к достоинствам рукописи. В конце концов Тьюэр согласился опубликовать книгу при условии, что я уступлю ему безвозмездно авторские права. Книга продавалась неплохо, но критики были глубоко шокированы. Большинство объявили ее полной ерундой, а три года спустя, рецензируя мою следующую книгу, «Досужие размышления досужего человека», выражали сожаление, что автор такой замечательной первой книги в дальнейшем так резко снизил уровень своих творений.

Думаю, смело можно сказать, что в первые двадцать лет моей писательской карьеры ни одного другого автора в Англии так не поносили, как меня. «Панч» неизменно именовал меня «Гарри К'Гарри», после чего наставительно вещал о том, какой великий грех для писателя – путать юмор с вульгарностью и остроумие с наглостью. Что касается журнала «Нэшнл обсервер», даже галке в Реймсском соборе не досталось столько проклятий, сколько обрушивали на мою голову едва ли не каждую неделю Уильям Эрнест Хенли и его надменные молодые люди. Я бы должен быть польщен, но в то время я все принимал всерьез и немало страдал. Макс Бирбом постоянно на меня гневался. «Стандард» объявил меня чумой английской беллетристики, а «Морнинг пост» приводила в пример того, к каким печальным последствиям приводит излишнее образование среди низших классов. На обеде по случаю открытия ресторана «Краснапольски» на Оксфорд-стрит (ныне «Фраскати») меня усадили рядом с литератором Гарольдом Фредериком, только что прибывшим из Америки. Я заметил, что он посматривает на меня с любопытством.

---

9 Драма по одноименному роману Джеймса Фенимора Купера.

– Где ваш каменный топор? – спросил он вдруг. – Оставили в гардеробной?

Он объяснил, что по отзывам в английских литературных журналах представлял меня каким-то первобытным дикарем.

Следующим моим редактором был Фредерик Уильям Робинсон (автор романа «Бабушкины деньги»). Он затеял издавать ежемесячный журнал под названием «Родные пенаты». Я отправил ему начало своих «Досужих размышлений», он ответил, пригласил прийти. Он жил в приятном старом доме, в шумнолиственном Брикстоне – в то время район можно было так назвать. Мы пили чай в его прекрасной библиотеке, окнами в сад. Погода стояла холодная, и целая стайка птиц кормилась со столика в саду. То и дело какая-нибудь с громким писком подскакивала к самому окну; тогда Робинсон, сказав: «Извините меня на минуточку», – отреза́л кусочек кекса и выносил наружу. Мое эссе ему понравилось, он увидел в нем новые мотивы, и мы договорились, что я напишу для него чертову дюжину подобных зарисовок.

Кроме меня, в «Пенатах» печатались Суинберн, Уоттс-Дантон, доктор Уэстленд Марстон и его слепой сын – поэт Филипп Марстон, Кулсон Кернахан, Уильям Шарп, Ковентри Патмор, Брет Гарт и Дж. М. Барри. Позднее Барри как-то говорил, что впервые приехал в Лондон специально, чтобы увидеть своими глазами редакцию, из которой выходят в мир «Родные пенаты», и остался несколько разочарован видом конторы в третьем этаже дома на узкой улочке поблизости от Патерностер-роу. По его мнению, даже на доходы с одних только его, Барри, произведений Робинсон мог бы выстроить настоящий дворец.

Барри отлично произносил застольные речи – в тех редких случаях, когда, поддавшись на уговоры, преодолевал свою природную робость. Он сам рассказывал о своем первом выступлении. Случилось это в Глазго. Студенты устроили обед в честь профессора Блэки. Профессор согласился участвовать при условии, что за столом не будут произносить речей, – он их терпеть не мог. Разрезвившись после обеда, молодые люди наполовину лестью, наполовину запугиванием вынудили ничего не подозревающего Барри произнесли тост за здоровье профессора. Когда Барри завел речь о том, какая великая честь ему выпала, Блэки вскочил и набросился на него, аки лев рыкающий. Объявив Барри сатанинским отродьем, а всю остальную компанию – висельниками, он пулей вылетел из комнаты. Барри сел ни жив ни мертв, пытаясь вспомнить слова молитвы, но вдохновленный общим весельем, понемногу пришел в себя. Тосты и спичи продолжались, и около полуночи Барри снова встал, на этот раз по собственному почину, чтобы произнести очередную речь. Тем временем профессор, успокоившись в тишине своего кабинета, решил, что, пожалуй, слишком сурово обошелся с молодежью, и вернулся, чтобы с ними помириться. Он вошел как раз в ту минуту, когда Барри только-только вознесся к вершинам красноречия. Профессор окинул взглядом комнату и всплеснул руками.

– Боже ты мой, парень до сих пор долдонит! – вскричал он и ринулся вниз по лестнице.

Робинсон не мог много платить авторам. Я за свои эссе получал, кажется, по одной гинее, а люди более известные, думаю, писали не из корысти, а просто от хорошего отношения к Робинсону. В те времена часто возникала дружба между редактором и авторами. Было какое-то чувство общности. Став редактором, я старался возродить такую традицию и надеюсь, в большой мере это мне удалось. Но в целом крупные издательские синдикаты ее убили. Сдаешь рукопись агенту, он ее продает по такой-то цене за тысячу слов, прочее никого не интересует. Литературу нынче измеряют в точных цифрах. Когда я в прошлый раз был в Америке, одна газета зазывала читающую публику: «Великолепный новый рассказ, по доллару за слово!» Не знаю, кто автор – в объявлении его имя не упоминалось. «Должно быть, замечательный рассказ!» – восхищались люди. Я сам никогда не получал больше десяти центов за слово, и то

приходилось выдерживать постоянную внутреннюю борьбу. Каждый раз, вычеркивая лишнее прилагательное или совершенно необязательное наречие, я невольно думал: «Ну вот, еще четыре пенса выбросил» – или пять, в зависимости от обменного курса.

Человеку семейному тяжело приходится при такой зловредной системе. Скажем, героиня чересчур болтлива, это не вяжется с ее характером, не идет к ее бездонным глазам. Вдобавок она то же самое говорила при первой встрече с героем. С точки зрения художественности текста все это нужно безжалостно вымарать. Автор хватается за карандаш, но муж и отец в его лице останавливает занесенную руку и шепчет: «Не мешай ей! Пусть болтает! Страстная исповедь истерзанной души, так тебя раздражающая, поможет оплатить счета за воду!»

Я назвал свою стопку эссе «Досужие мысли досужего человека». Опубликовало ее все то же издательство, «Леденхолл пресс». Книга продавалась, по распространенному выражению, как горячие пирожки. Тьюер со своей всегдашней изобретательностью дал ей светло-желтую обложку, сразу бросающуюся в глаза на полках магазинов. Каждую тысячу экземпляров он называл отдельным изданием, и к концу года их накопилось двадцать три. Я получал процент с продаж, два с половиной пенса за экземпляр, и мечтал о теплом пальто. Здесь я говорю только об Англии. Америка оказала мне любезность, издав книгу пиратским образом. Там сборник расходился стотысячными тиражами. Подозреваю, главное несчастье моей жизни состоит в том, что я родился на шесть лет раньше, чем нужно, – иначе говоря, в области авторских прав совесть у Америки проснулась на шесть лет позже. «Трое в лодке» продавались в США огромными тиражами – общим счетом более миллиона, – однако эта «богоизбранная» страна не заплатила мне ни за ту ни за другую книгу, если не считать славного Генри Холта, который и по сей день присылает мне ежегодно чек на скромную сумму.

По словам Барри, честолюбивая мечта каждого англичанина – написать письмо в «Таймс»; по крайней мере так было во времена нашей молодости. Барри жил в переулке, выходящем на Кавендиш-сквер, а я поблизости, на Ньюмен-стрит. Как-то вечером я доверительно сообщил ему, что мне пришла мысль написать письмо в «Таймс». Я считал, что это неплохой способ напомнить о себе читателям.

– Не опубликуют, – сказал Барри.

– Почему? – удивился я.

– Ты не женат, – ответил он. – Я специально изучал этот вопрос и заметил, что «Таймс» специализируется на семейных ценностях. Ты не семейный человек. Ты пока не можешь подписать письмо: «Отец семейства», или «Родитель семерых», или хотя бы «Встревоженная мать». Ты не вправе писать письма в «Таймс». Иди женись. Породи детей. А потом приходи ко мне опять за советом.

Мы заспорили. Между прочим, как только я ушел, Барри сел и написал статью на эту тему. А я решил не сдаваться и дождаться открытия сезона в Академии художеств. Естественно, сразу появилось письмо на тему «Обнаженная натура в искусстве», за подписью «Британская матрона». В восьмидесятых этот вопрос обсуждали постоянно. Уже не помню точно, что я написал в ответном письме. Важно было привлечь внимание. Главный довод состоял в том, что если кто и виноват, так сам Господь Бог. Я соглашался с «Британской матроной», что здоровые, полные сил мужчина или женщина – особенно женщина – зрелище малопристойное, и всего лишь порекомендовал ей направить свое возмущение по иному адресу. Письмо я подписал полным именем, и «Таймс» его опубликовала, вопреки прогнозам Барри.

В викторианскую эпоху поминать Бога можно было только по воскресеньям. Утром я проснулся знаменитым – точнее было бы сказать, печально знаменитым. Так выразилась единственная родственница, чьим мнением я дорожил. Ну и пусть! Обо мне говорили в

омнибусах. Я стал общественным деятелем.

И к последующим моим письмам «Таймс» тоже отнеслась благосклонно. Я высказывался об опасностях, подстерегающих нас на лондонских улицах: о собаках, пристегнутых поводком к старушкам, о детских колясках, лавирующих в толпе, о ковровых дорожках, расстеленных на тротуаре перед домами богачей на беду рассеянному пешеходу. Я давал «Отцу семейства» советы по воспитанию дочерей. Я рассуждал о том, возможно ли прожить на семьсот фунтов в год. В редакционных статьях «Таймс» меня называли «юмористом». Вероятно, подразумевался комплимент, но впоследствии критики не раз меня попрекали этим словом.

Я занимался писательством по вечерам, а с десяти до шести по-прежнему оставался клерком. В то время я служил у адвоката по имени Ходжсон на Солсбери-стрит, в «Адельфи», сейчас там отель «Сесил». По дороге домой я покупал бифштекс или отбивную себе на ужин. У хозяев лондонских меблированных комнат водится лишь один предмет кухонной утвари – сковородка. Любые продукты готовятся исключительно с ее помощью, и в результате вся еда имеет одинаковый вкус. После того как убирали со стола, я садился за писание. Главным моим развлечением был театр. Я сделался завсегдатаем премьер. В случае заметных событий театральной жизни – таких как спектакли с участием Ирвинга в «Лицеуме» или оперетты Гилберта и Салливана – приходилось ждать у входа несколько часов, а заканчивалось все грандиозной свалкой, как только послышится скрип высоких дверей и разнесется весть: «Открыли!» Премьеры бывали чаще всего по субботам. Я уходил из конторы в два и, наскоро перекусив, занимал место у входа в партер или на галерку, смотря по состоянию финансов. С опытом иные из нас освоили умение протискиваться мимо основной массы, прижимаясь вплотную к стене. Понятие «очереди» к нам тогда еще не завезли. Мы презирали эти парижские штучки. Часто, придя за минуту до открытия, я ухитрялся занять место в первом ряду. Оглядываясь через плечо на бедных простаков, проторчавших у театра с полудня, я ощущал уколы совести. Но так уж устроен мир, да и кто я такой, чтобы критиковать своих учителей?

Мы, заядлые премьерщики, узнавали друг друга в лицо. И вот одному из нас, некоему Хениджу Манделлу, пришла идея организовать клуб, где мы могли бы в относительно уютной обстановке обсуждать всевозможные новости сцены и мир кулис.

Так был основан клуб «Театралы». Он стал довольно известным и, кажется, существует по сей день, хотя больше не наводит ужас на узколобых режиссеров и несправедливых критиков, как в былые времена. Мы встречались в кофейне на Холлиуэл-стрит – мрачноватой улице с ветхими деревянными домами и пыльными витринами антикварных лавок, где были выставлены картины маслом «в духе» Корреджо, Тенирса и других, потускневшие ювелирные украшения, побитые молью платья и, среди прочей мешанины, книги и фотографии непристойного содержания, с прозрачным намеком, что внутри могут найтись еще более «любопытные» материалы. На Холлиуэл-стрит располагалось старое здание театра «Опера-Комик». Там ставили ранние произведения Гилберта и Салливана. А рядом, в театре «Глобус», больше тысячи спектаклей выдержали «Секретарь» и «Тетка Чарлея» – в то время это был долгий срок. За углом, на Уич-стрит, стоял старый театр «Олимпик», где я влюбился в Марион Терри. Уич-стрит выводила к Клер-Маркету – территории приключений. Сейчас там все снесли и воздвигли величественный комплекс Королевского судного двора. Добродетель торжествует, а порок ищет себе новое пристанище – и надо полагать, находит.

Первым президентом клуба «Театралы» был Аддисон Брайт – низенький, с великолепной головой. О нем говорили: выглядит таким умным, каких не бывает. Однако его ум почти соответствовал внешности. Он снимал квартирку вместе с художником Бернардом Партриджем поблизости от отеля «Лангем». Одна комната служила одновременно столовой, кабинетом, кухней и спальней. Там собиралась блистательная остроумная молодежь. Мне Аддисон Брайт

был очень симпатичен. До сих пор не могу понять, почему он не сделался актером, – играл он замечательно. Мог прочитать режиссеру пьесу лучше автора, и потому стал театральным агентом: дело в то время новое и непривычное. Все мы, начинающие драматурги, были его клиентами.

Впрочем, это уже тема для другой главы. Здесь о клубе «Театралов» речь зашла потому, что благодаря ему я написал «Мир сцены». Основатель клуба, Хенидж Манделл, работал в типографской фирме и уговорил своего шефа издавать газету под названием «Театрал». Вскоре бедняга Хенидж умер, и газета прекратила свое существование. Я написал для нее несколько редакционных статей. Совсем забыл о них – вспомнил буквально на днях, проглядывая старые бумаги. Боюсь, я был немного ханжой. Надеюсь, что сейчас это прошло, хотя о себе судить трудно. В одном номере газеты я свысока укоряю Мари Темпест и некоего джентльмена по имени Лесли, наставительно вещая, что высшее удовлетворение испытываешь, если можешь пронести по жизни нетронутым белый цветок безупречной морали. В другой статье я осуждаю Роберта Бьюкенена за то, что он в своем самомнении вообразил, будто широкой общественности интересна его частная жизнь.

В «Театрале» впервые увидел свет «Мир сцены». Очерки публиковались без подписи, и журналы, доселе клеймившие меня и мои произведения как позор английской литературы, дружно бросились им подражать. Позднее Бернард Партридж сделал к ним иллюстрации, и мы вдвоем опубликовали сборник на свой страх и риск. Оказалось, что книгоиздательство – не такое уж трудное дело. Если бы можно было начать все сначала, я бы всегда только сам издавал свои работы.

Бернард Партридж в двадцать пять был одним из самых красивых мужчин в Лондоне. Мы уже много лет не виделись. Нашу дружбу разрушила одна история, но опять-таки здесь для нее не место. Скажу только, что он был прав, а я виноват. Иллюстрации к «Миру сцены» принадлежат к числу его лучших работ. Героя он рисовал с себя, а моделью для Авантюристки послужила Гертруда Кингстон.

Книга имела успех. То был период расцвета театра «Адельфи». Все писали мелодрамы – Симс и Петитт, Мэнвил Фенн, Огастес Гаррис, Артур Ширли, Дион Бусико и Генри Артур Джонс. Персонажи пьес были хорошо знакомы публике: Герой, чья главная цель в жизни – добиться, чтобы его обвинили в преступлениях, которых он не совершал; Злодей, единственный на сцене носивший фрак; вечно страдающая Героиня; Адвокат, очень старый, очень высокий и очень худой; Авантюристка, вечно теряющая и путающая своих мужей; Матрос в постоянно спадающих брюках; Ирландец, исправно оплачивающий аренду земельного участка и всей душой преданный хозяину поместья… Теперь их уж нет. Жаль, если мы с Партриджем поспособствовали их уходу. Они были лучше – понятнее и человечнее, – чем пришедшие им на смену марионетки.

По старым письмам видно, что я тогда учился на юриста. Нет, я ни в коем случае не собирался бросать литературу. Если адвокаты – например, Гилберт и Гранди – пишут романы и пьесы, почему бы и стряпчим не совмещать свою работу с литературными занятиями? К тому же я только что женился и стал непривычно благоразумен. Как сказали бы сейчас: «Осторожность прежде всего». Я проходил обучение в конторе мистера Андерсона Роуза[10] на Стрэнде, на Арундел-стрит. У него была прекрасная коллекция старинной фарфоровой и оловянной посуды. Кроме того, он пользовался известностью как коллекционер произведений

---

[10] Роуз, Джеймс Андерсон (1819–1890) – известный адвокат, коллекционер; в число его клиентов входили художники Д. Россетти и Д. Уистлер.

живописи. Портрет его матери, миссис Андерсон Роуз, кисти Сэндиса, в свое время произвел сенсацию и до сих пор знаменит. Старого добряка в конторе все любили, и клиенты любили тоже, пока он не умер, – тогда их чувства переменились. Подозреваю, Гренвилл-Баркер его знал или слышал о нем и вывел в своей пьесе «Наследство Войси».

С его смертью закончилась и моя мечта стать юристом. По отношению ко мне он был сама доброта – опекал и обещал добывать мне работу. Я решил сжечь корабли и посвятить себя писательству. Жена меня поддерживала. Она наполовину ирландка и немного безрассудна.

Глава V
Колесо перемен

Когда я был маленьким, каждое утро (кроме воскресенья) от трактира на Майнорис отходил дилижанс. Не глянцевая коробочка, какие изображают на цветных литографиях, с гарцующими лошадками, развеселым кучером и нарядным кондуктором, а тяжелая неуклюжая колымага – ее тянули четыре разномастные клячи. Сварливого кучера, страдающего ревматизмом, приходилось подсаживать на козлы и потом передавать ему кнут. Дилижанс шел через Онгар и Эппинг, а конечную станцию я позабыл. В те дни множество мелких городков в окрестностях Лондона еще не знали железной дороги, и от многих постоялых дворов отходили такие же ветхие экипажи. Повсеместно встречались и крытые грузовые фургоны, курсирующие между Лондоном и окрестными деревушками, которые сейчас стали пригородами. На Уайтчепел-роуд, против церкви Девы Марии, всегда стоял целый ряд таких фургонов, со скамейками для пассажиров по бокам и с маленьким окошком сзади. Те, кто спешил и мог себе позволить довольно значительные траты, нанимали почтовую карету с форейторами в цилиндрах и упряжкой с бубенцами на сбруе. Солидные люди, особенно трактирщики и сборщики податей, держали собственные кабриолеты, а бодрые пожилые дамы, отправляясь к поверенному или в банк, сами правили упитанными лошадками.

Велосипеды еще не производили в промышленных масштабах, хотя один чудаковатый старик почти каждый день проезжал по Мэйр-стрит в Хэкни на самодельном трехколесном агрегате. В дождливую погоду он держался за руль одной рукой, в другой сжимая зонтик. К старику привыкли и специально ходили посмотреть, когда он проедет. Первые велосипеды прозвали «пауками». Переднее колесо имело от пятидесяти до шестидесяти дюймов в диаметре и с крошечным задним колесом соединялось изогнутой в форме вопросительного знака стальной перекладиной. Кататься на таком снаряде могли только молодые, умелые и отважные, иначе беда. Велосипедисты носили облегающие брюки и короткие, до талии, куртки. Я готов согласиться, что современные молодые люди в широких штанах на толстой подкладке, мешковатых макинтошах и шапочках с плотно прилегающими защитными очками ездят быстрее и дальше, но их стройные дедушки, возвышающиеся над прочим транспортом на своем сверкающем колесе, радовали глаз богов и барышень.

Первым в Лондоне на «безопасном» велосипеде начал ездить мой племянник, Фрэнк Шорленд. Изобретателем этой модели велосипеда объявил себя некто Лоусон. Бывший предприниматель, отойдя от дел, поселился в Девоншире. Этому славному человечку не повезло с велосипедами, хотя он предсказал появление автомобиля и в 1896 году организовал первый лихой автопробег от гостиницы «Метрополь» в Брайтон. Фрэнк был довольно известным гонщиком-любителем. Он уверовал в безопасные велосипеды, как только их увидел, и в следующей гонке выступил на таком. Толпа осмеяла его немилосердно. Соперники, восседая на своих высоких изящных «пауках», смотрели на него сверху вниз с явным

изумлением. Однако он легко их обошел, и «пауки» в одночасье вышли из моды. Теперь их использовали только настоящие пауки, оплетая паутиной.

Появление «безопасной» модели принесло велосипеду всеобщую популярность. Прежде этим видом спорта увлекались только молодые люди. Помню ожесточенные споры: «Позволительно ли настоящей леди кататься на велосипеде?» Тогда еще не придумали «дамскую» велосипедную раму, и девушкам приходилось ездить в шароварах. Надо сказать, немногочисленные смелые барышни выглядели в них очаровательно. В те дни считалось, что ноги женщины могут видеть только она сама и Господь Бог. «Понравится ли вам, если ваша сестра станет показывать ноги? Да или нет?» – стандартный аргумент, на который нечего ответить. Раньше спорили: «Может ли настоящая леди ездить на наружных местах в омнибусе?» и «Может ли порядочная женщина ездить одна в наемном экипаже?» Кажется, женский вопрос вечен. Хозяйка таверны на Рипли-роуд, куда часто заглядывали любители новомодного спорта, пошла на крайние меры: объявила, что не будет обслуживать тех велосипедистов, которые при ближайшем рассмотрении окажутся велосипедистками. Власти графства Суррей ее поддержали на том основании, что приличная женщина не станет – нет, не сможет! – носить шаровары; в то время их называли панталонами. Таким образом, женщина, которая носит панталоны, плохая гражданка или, выражаясь юридическим языком, нарушительница общественного порядка, а хозяйка таверны не обязана обслуживать нарушителей общественного порядка. Для велосипедной промышленности такое решение неожиданно оказалось благом, побудив к изобретательности. Какому-то гениальному механику пришла в голову идея опустить пониже раму. По улицам Лимингтона проехала на велосипеде жена епископа, благопристойно облаченная в юбку.

Началось повальное увлечение велосипедами. В парке Баттерси каждое утро от одиннадцати до часу можно было наблюдать, как сливки английского общества торжественно крутят педали, объезжая трассу длиной в полмили, от реки до киоска с закусками. Впрочем, то были мастера высшего класса. На тенистых боковых дорожках стареющие графини и обливающиеся потом баронеты храбро сражались с законом равновесия, то и дело повисая на крепких циничных молодцах, что собирали с несчастных обильную дань в качестве инструкторов по велосипедной езде – «Двенадцать уроков, результат гарантирован». Сведущие люди узнавали в лицо государственных деятелей и девиц из самых благородных семейств, сидящих на земле и со смущенной улыбкой потирающих синяки и шишки. Сворачивая на тихую улочку, вы рисковали получить перелом руки или ноги. Казалось, все взгромоздились на велосипеды, и при виде испуганного пешехода словно незримая сила притягивала к нему начинающих спортсменов, в обход всех иных препятствий. Хочется верить, что в наши дни велосипедной езде учатся в раннем возрасте, когда мышцы более эластичны и страх падения не парализует нервы. И все же до сих пор можно встретить рано поутру пресловутого мальчика, с трудом удерживающего руль не по росту большого велосипеда, – наверняка позаимствованного без разрешения у какого-нибудь старшего родственника, пока тот спит. Мальчик всем телом наваливается на педали, словно взбираясь по некой сизифовой лестнице. Но никто его не боится. Заранее можно быть уверенным, что в последний миг, вихляясь в разные стороны, он словно по волшебству объедет вас, на волосок разминется со старушкой, продающей газеты, так и не задавит собаку и, никому не причинив вреда, исчезнет за углом. Провидение оберегает малых сих. Вот к людям средних лет оно порой бывает беспощадно. Велосипед застал мое поколение врасплох.

Если больше доехать не на чем, на сцене вновь появляется старый добрый кеб. Костлявая кляча выглядит точь-в-точь как прежде, хоть и постарела на двадцать лет. Возница поседел и растерял боевой задор; он благодарит за шиллинг сверх положенной платы и мирно уезжает

прочь. А когда-то он был грозой и гордостью Лондона! Пугливые старички и старушки, возвращаясь в свой благопристойный пригород, всю дорогу дрожали от ужаса, гадая, что им скажет – или сделает! – кебмен, если они не смогут удовлетворить его непомерные требования. Молодые люди потихоньку от возлюбленных пересчитывали мелочь, прикидывая, хватит ли этого, чтобы заставить возницу прекратить свои весьма громкие уничижительные комментарии. Что касается меня, я все же нашел способ научить этих злыдней божескому поведению: нужно иметь в своем арсенале столько ругательств, сколько кебмену и не снилось, и успеть первым пустить их в ход. Откуда ему знать, что я спал в ночлежках и делил стог сена с бродягами? Вдобавок у меня было еще одно преимущество: я мог поносить противника по-французски и по-немецки. При явном неравенстве сил кебмен нахлестывал коня, обращаясь в позорное бегство. Но не все так владеют речью. Уидон Гроссмит обычно пускался на хитрость. Он нашел себе очаровательное жилье в Кэнонбери, под названием «Старый дом», но туда непросто было добираться домой по вечерам, возвращаясь из театра. От Стрэнда до Кэнонбери «холку натрешь», по выражению извозчиков. Холку натирала лошадь, а извозчику доставалась добавочная сумма на чай. Уидон готов был платить – в пределах разумного, но классический кебмен по натуре вымогатель, особенно если дело происходит в безлюдном тупичке и пассажир не самого могучего сложения. Так вот, Уидон вместо собственного адреса называл кебмену соседний дом – а там размещался полицейский участок. Дежурный констебль – возможно, его не забывали в день ангела и по большим праздникам – обычно проходил мимо, как раз когда Уидон Гроссмит выходил из экипажа. Кебмен принимал плату с вполне солидной добавкой, вежливо благодарил и уезжал, пожелав Уидону и констеблю доброго вечера. Тишь и благодать!

Одного у старого кеба не отнимешь – вид у него был живописный. Джордж Огастес Сейла, блестящий молодой журналист из «Дейли телеграф», назвал кеб лондонской гондолой. А блестящие молодые журналисты в Венеции, несомненно, звали свои гондолы венецианскими кебами. Но ездить в них было чудовищно неудобно. Чтобы залезть в кеб, требовалось ухватиться за две рукоятки – одна на крыле экипажа, а другая прямо над колесом – и, подтянувшись, запрыгнуть на узкую железную подножку. Если в этот миг лошадь трогалась, вы так и ехали по улице в этом положении, словно обезьяна на палке, а если не успели вцепиться покрепче, вас сбрасывало в канаву, что, пожалуй, даже и безопаснее, но уж очень унизительно. Вылезти из кеба еще сложнее. Один неверный шаг – и вы оказывались на четвереньках на мостовой, и ваша сестра, или тетка, или другая спутница наступала прямо на вас. Ухитриться войти или выйти так, чтобы вожжами не сбило с головы шляпу – особое искусство. Сиденье, рассчитанное на двоих, было таким высоким, что только самые долговязые дамы доставали ногами до пола. Прочие во время езды подскакивали на сиденье, а ноги их болтались в воздухе. Приходилось обнимать барышню за талию, чтобы она не свалилась, а люди, конечно, думали бог весть что. В крыше имелся люк. Частенько на плохо освещенной улице кебмен, сидя сзади на козлах, переговаривался через этот люк с пассажиром, не глядя на дорогу. Во время дождя кебмен мог опустить специальный защитный клапан под названием «гильотина». Это устройство тоже неизменно сбивало с вас шляпу, а потом стукало по голове. Большинство пассажиров предпочитали мокнуть под дождем. Если лошадь оступалась, – а лошади были такие, что вообще непонятно, как они на ногах держались, – немедленно распахивались дверцы «фартука» и вас выбрасывало на дорогу; разумеется, без шляпы. Еще у лошади могли лопнуть постромки, и тогда весь кеб скособочивался, а вы опрокидывались на спину, дрыгая ногами, без всякой возможности одернуть юбку, если вы дама. Как упала, так и лежи да надейся, что на виду оказались наименее неприличные фрагменты. Встать невозможно – ухватиться не за что. Приходилось ждать, пока кебмен выкарабкается и с помощью бурно веселящейся толпы вновь поставит кеб на колеса. Тогда уж и вы выползаете на свет, раздаете всем шиллинги и пешочком

возвращаетесь домой – без шляпы.

Нет, я не жалею о том, что кебов больше нет.

Исчезновению старого двуконного омнибуса можно радоваться хотя бы только из сочувствия к лошадям. Пол в омнибусе был посыпан соломой, а крошечная масляная лампа восполняла вонью недостаток освещения. Внутри помещались двенадцать пассажиров, и снаружи четырнадцать – десять на двух скамейках, спинками друг к другу, и по двое с обеих сторон от кучера. Места рядом с кучером явно предназначались для акробатов. Держась за ременную петлю, вы вскакивали на ступицу переднего колеса, оттуда на выступ спереди омнибуса, а потом грациозным прыжком – на козлы. Скамейки империала были не так труднодоступны, всего лишь забраться по лесенке, перекладины которой отстоят на фут друг от друга. Нужно только остерегаться, как бы человек, взбирающийся впереди вас, не пнул вас ногой по голове. Звонка не было – пассажиры тыкали кучера зонтиками, требуя остановить омнибус. Кучер носил громоздкое пальто с пелериной, а ноги закутывал пледом и поверх него пристегивался ремнями. По характеру кучер бывал добродушен, не брезговал принять в подарок сигару, и остер на язык – всю дорогу сыпал шутками, порой весьма язвительными. С появлением автомобилей уличный юмор зачах.

Не могу отделаться от ощущения, что во времена моей молодости Лондон был уютнее. Во-первых, не такой населенный. Не было этой постоянной гонки, оставалось время и на вежливость, и на самоуважение. И выбраться из него было легче. В летний день коляски, запряженные четверкой, отправлялись в Барнет, Эшер, Чингфорд и Хэмптон-Корт. Нынче мы едем на автобусе, зато кирпичные дома тянутся бесконечно, а когда приезжаешь на место, снова оказываешься в толпе. Сорок лет назад мы гуляли по лугам и тенистым лесным просекам, и можно было под пение птиц выпить чаю в домике с садиком и лужайками для игры в кегли.

Вечером омнибус за три пенса довозил нас до Креморн-Гарденз, где играл оркестр. Мы танцевали и ужинали при свете тысячи мерцающих фонариков. Можно было дойти туда и пешком, через деревушку Челси, мимо старого деревянного моста. Вероятно, не все дамы были столь же добродетельны, сколь и прекрасны, но под открытым небом, рядом с бегущей рекой все низменное как-то не замечалось. Под сенью дерев и меж цветочными клумбами витала тень любви. Такие заведения, как Аргайл-Румз или Эванс, были классом пониже и все же более человеческими, то есть не такими неприкрыто-животными, как то, что творится нынче на улицах. Модное общество попивало чай и ужинало в великолепной «Звезде и подвязке», а затем разъезжалось по домам в фаэтонах и ландо через Ричмонд-парк и Патни-Хит. На реке царило оживленное движение. Можно было поехать на пароходе в Гринвич, где в «Корабле» подавали знаменитый рыбный обед и к нему «Мутон Ротшильд», восемь шиллингов шесть пенсов за бутылку. Или чуть дальше, в грейвсендский «Сокол», где длинный обеденный зал выходил окнами на реку, а во время вечернего прилива можно было смотреть на проплывающие мимо корабли. По воскресеньям за полкроны можно было прокатиться до Саутенда и обратно. На корабле подавали чай в неограниченном количестве и сандвичи с креветками и кресс-салатом по девять пенсов. Мы, молодые холостяки, не тратили много денег на еду, но упитанная официантка только посмеивалась, принося очередную гору толсто нарезанных ломтей хлеба с маслом. Я был на борту «Принцессы Алисы» в ее последнем благополучно завершившемся рейсе. В следующее воскресенье она затонула, и почти все погибли. Также я путешествовал на борту «Лузитании», в ее предпоследнем рейсе из Нью-Йорка. Нам не разрешили причалить к берегу в Ливерпуле, пришлось бросить якорь в устье Мерси и перевозить пассажиров на катере. Мы были загружены боеприпасами по самую ватерлинию. Кажется, официально груз называли «сельскохозяйственным оборудованием». Повсюду устраивались представления на открытом воздухе – предвестник репертуарного театра. Зрители сидели на лавках и прихлебывали пиво,

заедая его морскими улитками и жареной картошкой. Особенно публику привлекал «Суини Тодд, цирюльник с Флит-стрит», хотя «Мария Мартин, или Убийство в красном амбаре» успешно с ним соперничала. Также пользовался популярностью «Гамлет», сокращенный до трех четвертей часа и состоящий в основном из фехтовальных поединков. В «Хэкни-Маршиз», чаще всего воскресным утром, устраивали призовые кулачные бои, а на Хэмпстед-Хит путников подстерегали разбойники. Театралы не могли пожаловаться на скудость репертуара: представления обычно шли с шести до полуночи. Вначале показывали фарс, затем драму и оперетту, а под конец – бурлеск. После девяти вечера за вход брали полцены. На главных мостах взимали плату за проход и проезд. Самым дешевым был мост Ватерлоо – с пешехода всего полпенни. За это мост прозвали Шотландским, в соответствии с традиционным образом шотландца, приехавшего погостить к лондонскому другу. Тот водит его повсюду, угощает, и вот они подходят к мосту Ватерлоо. Шотландец широким жестом останавливает друга, машинально сунувшего руку в карман: «Теперь моя очередь!» До того как пекарни «Эй-би-си» открыли свою сеть чайных, в Лондоне чаю можно было выпить всего в трех местах – в заведении у собора св. Павла, в кондитерской на Стрэнде и в кафе на Риджент-стрит, недалеко от Пиккадилли. То же самое было и в Нью-Йорке, когда я впервые там оказался. Я подал Чарлзу Фромену идею, как сколотить состояние: пусть он вложит в дело пять тысяч долларов, и мы откроем сеть чайных начиная с Пятой авеню. Могли бы стать миллионерами. «Гатти» на Стрэнде познакомил лондонцев с мороженым. Детей на каникулах специально привозили в столицу, чтобы съесть двухпенсовую порцию у «Гатти». В старом ресторане «Холборн» впервые начали обедать под музыку. Считалось, что это обычай континентальный, а потому безнравственный. И снова встал извечный женский вопрос: может ли порядочная женщина обедать под аккомпанемент струнного оркестра?

Собственно говоря, в ту эпоху вопрос был чисто академическим. Старенькая тетушка из деревни могла иногда потребовать, чтобы ее сводили в ресторан на обед, но «порядочные» женщины питались дома. Во время официальных обедов им отводилась специальная галерея. Они приходили к общему столу, как дети, – когда подавали десерт, и им разрешалось послушать спичи. Иногда о них вспоминали и пили за их здоровье. Произнести тост неизменно доверяли главному юмористу, а отвечал на него младший из присутствующих холостяков: видимо, это ближайшее к женскому полу человеческое существо, способное на осмысленную речь. В лучших домах непременно имелась «курительная комната», куда хозяин дома удалялся выкурить трубку или сигару вместе с друзьями, если они у него были. Сигареты считались слишком женственными. В 1870 году один популярный писатель утверждал, что немцы победили французов, потому что в Германии принято курить трубку, а во Франции – сигареты. Если в доме не было курительной комнаты, мужчины курили в кухне. Прежде чем вернуться к дамам, нужно было пожевать гвоздику, чтобы освежить дыхание. Помню, вскоре после открытия гостиницы «Савой» некую даму попросили покинуть обеденный зал, потому что она закурила сигарету. Дама заявила, что готова ее затушить, но чувства других посетителей были слишком задеты. Простить – значило бы проявить слабость. Если джентльмена видели в обществе курящей женщины, его репутация была погублена безвозвратно.

Ванными могли похвастаться только богатые дома. Средние классы мылись по субботам. Это было грандиозное предприятие – приходилось таскать ведра с водой на третий этаж. Люди практического склада, рассудив, что проще Магомету прийти к горе, совершали омовения на кухне. Иные спартанцы заявляли, что чувствуют себя не в своей тарелке, если не примут с утра холодную ванну. Слуги таких ненавидели. Лохань, хранившуюся под кроватью, вытаскивали с вечера и оставляли наготове, а рядом – бадью с водой. Лохань была широкая, но неглубокая – вода едва покрывала ступни. Вы садились в эту посудину, сложившись втрое, и обтирались

губкой. Труднее всего было потом вылить воду. Вы поднимали лохань и, шатаясь, выжидали, пока вода не прекратит колыхаться. Иногда удавалось перелить воду в ведро, не выплеснув половину на пол, а иногда нет. Моду на ванны в Англию завезли американцы.

Вплоть до Юбилейного года[11] ни одна приличная девушка не выходила из дому после наступления темноты – разве что в сопровождении горничной. Долгое время дежурной темой для шуточек в «Панче» были лодыжки. Если дама, переходя через дорогу, приподнимала юбку чуть выше положенного, показывая лодыжки, движение транспорта останавливалось. Со всех сторон сбегались зеваки. Люди высокодуховные отводили взор, но бесстыдники, вроде попугая мисс Тинклпот, преспокойно пользовались случаем «всласть поглазеть». В один прекрасный день установилась новая мода: юбки должны заканчиваться на два дюйма от земли. По этому случаю в «Дейли телеграф» появилась большая статья о том, как подобные мелочи, если их не пресечь, могут перерасти в угрозу для нации. Дальше – больше. Возник женский клуб под названием «Пионерки». В него вступали самые отчаянные дамы Лондона. Пригласили выступить Бернарда Шоу, считая его сторонником феминизма. Темой своей речи он выбрал «Послание к Ефесянам», главу пятую, стих двадцать второй[12], – говорят, его чуть не растерзали. По этому случаю в «Таймс» появилась большая статья о том, какие ужасы грозят Англии, если женщины забудут, что их жизненная сфера – семья. Меньше года спустя в палате общин поставили на обсуждение вопрос о возможности предоставления права избирательного голоса незамужним домовладелицам, и весь Лондон покатывался со смеху. Женщин открыла для общества пишущая машинка. Прежде женщина в Сити была зрелищем редкостным и приятным. Известие о ней мгновенно разлеталось по округе, и все спешили уступить ей дорогу. Впрочем, издавна признавалось право замужней дамы самостоятельно ходить за покупками при условии, что она успеет вернуться домой к чаю, а когда Генри Ирвинг поразил жителей Лондона субботними дневными представлениями (их называли «утренниками»), среди зрителей были замечены леди без сопровождения защитника-мужчины.

Изобретение телефона провозгласили огромным шагом вперед на пути к золотому веку. Тогда казалось, что все беды человечества исчезают одна за другой. Впрочем, еще довольно долго быстрее и проще было взять кеб и поехать повидаться с человеком, чем звонить. Электрическое освещение находилось еще на стадии эксперимента, и к нему отчего-то приплетали Чарлза Брэдло и атеизм. Возможно, потому, что внезапное отключение света многие объясняли гневом божьим. Судья Верховного суда официально выразил неодобрение электричеству и призвал пользоваться сальными свечами. Общественность откликнулась восторженно. В конце 80-х Англию охватила мода на интеллектуальность. Большой популярностью пользовались викторины – кто лучше знает орфографию. Участники соревнования садились в ряд на сцене, а в зале размещались полные азарта зрители, вооруженные словарями. В каждом пригороде был собственный любительский парламент с настоящими либералами и консерваторами. В Челси, где мы собирались в кофейне на Флад-стрит, была ирландская партия, которую постоянно «подавляли», – тогда они удалялись в нижний этаж, осыпая нас руганью и громко распевая «Марсельезу» и «Те, кто носит зеленое». Буйная молодежь того сорта, что сейчас посещает ночные клубы и дансинги с джазом, вступала в ряды фабианского общества и по вечерам приходила пошуметь в Эссекс-Холл. Они спорили с супругами Вебб и перебивали Шоу. Уэллс не умел выступать на публике, хоть ему и было что

---

11 Имеется в виду Золотой юбилей королевы Виктории, 1887 г.

12 «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу».

сказать. Когда с ним спорили, он выходил из себя и начинал размахивать руками. Премьеры пьес Шоу всегда сопровождались скандалом. На премьере «Домов вдовца» на галерке случилась всеобщая драка. Шоу произнес речь, в результате которой враги и друзья примирились в едином желании его линчевать. Армия спасения вызвала волну возмущения на Флит-стрит. Тонкие чувства газетчиков ранила «вульгарность» Армии спасения, ее «дешевая сентиментальность». Первым известным и уважаемым гражданином, поддержавшим Армию спасения, стал сэр Сквайр Бэнкрофт. На Флит-стрит захлопали глазами. Они-то всегда считали супругов Бэнкрофт такими респектабельными! Однако постепенно травля сошла на нет.

Во времена моей молодости в Сохо обитали революционеры. Кое с кем из них я познакомился. В свободное от революционной деятельности время революционеры пели сентиментальные песни и декламировали душещипательные стихи, не отказывались от подаренной сигары и предавались ностальгическим воспоминаниям за десятипенсовой бутылкой *vin ordinaire* [13]. Что меня в них восхищало, так это отсутствие всякого притворства. Четырехпенсовик, потраченный в ближайшей цирюльне, мог бы сбить полицию со следа – но нет, они презирали подобные уловки. Даже брюки их кричали о революционных настроениях. Подобные брюки увидишь еще только на участниках хора заговорщиков в оперетте «Дочь мадам Анго». Иногда мне хотелось подкинуть им идею – ходить повсюду в масках и с потайными фонарями. По-моему, им бы понравилось. Получилось бы живописно, а по сути, разницы никакой, заметней и так уже некуда.

Незадолго до войны я возобновил знакомство с русскими революционерами, на сей раз в доме князя Кропоткина в Брайтоне. Сам князь Кропоткин был добродушный, живой, всегда изящно одетый человек аристократической наружности, но приходившие к нему соотечественники являли собой зрелище весьма своеобычное. Их появление вселяло ужас в самые отважные сердца обитателей Кемп-Тауна. Был один джентльмен с бородой до пояса и голосом, от которого дребезжали безделушки на каминной полке. Он состоял в новомодной религиозной секте, в которой считалось грехом, среди прочего, убийство мух. Видимо, на буржуазию такая щепетильность не распространялась. Увы! Даже лучшие из нас не всегда последовательны. Во время войны многим филантропам казалось смешным, что в Германии дети голодают.

Если не ошибаюсь, обычай журфиксов постепенно вымер. По крайней мере я на это надеюсь. Страшно утомительная была система. Женщины из хорошего общества назначали определенный день недели, когда им можно наносить визиты: например, каждый четверг, или каждую вторую пятницу, или каждый третий понедельник. В голове мутилось от стараний все это запомнить. В итоге чаще всего вы приходили не в тот день, а бедные дамы просиживали с самого полудня в гостиной, в лучшем своем наряде, рядом с дорогостоящим угощением, и хоть бы одна душа зашла в гости! Во времена моей матушки наносить светские визиты полагалось утром. Всегда были наготове кекс и печенье в серебряной корзиночке, а к ним портвейн и херес. Говорили о трудностях с прислугой и о том, что мир катится к гибели.

Из всех моих знакомых лучше всего журфиксы удавались Дугласу Слейдену. Наверное, половина справочника «Кто есть кто» являлась к нему в Аддисон-Мэншнс от половины одиннадцатого до рассвета. Он обладал замечательным умением, представляя человека, в двух-трех фразах обобщить его жизненный путь, воззрения и характер – одновременно сообщая ему аналогичные сведения о новом знакомом… или знакомой. Сразу было ясно, какие преступления и безрассудства не следует упоминать в разговоре, о каких талантах и

[13] Столовое вино (*фр.*).

достоинствах тактично будет завести речь.

Наука утверждает, что нас ждет новый ледниковый период, – рано или поздно зона умеренного климата вновь окажется погребена под толщей льда. Однако пока что, кажется, все меняется в другую сторону. В моем детстве снег на улицах Лондона зимой был обычным явлением. Иногда и через мост не пройдешь, пока дворники не расчистят тропинку. По набережной мчались сани, колокольцами звеня. В какой-то год целых шесть недель подряд можно было кататься на коньках. На Серпентайне устраивали гулянья, и какой-то человек с собакой перешел Темзу по льду возле Ламбета. Туман в те дни – это был туман! Помню, однажды продержался неделю. У Чаринг-Кросс и Гайд-парка пылали газовые фонари, издали похожие на маяки. Мальчишки-факельщики приставали к прохожим, предлагая свои услуги, а вокруг шныряли невидимые в тумане религиозные фанатики, предвещая скорый конец света.

Утром 1896 года на Нортумберленд-авеню у отеля «Метрополь» выстроилась вереница невиданных экипажей – самодвижущиеся повозки под названием автомобили, о которых мы столько слышали разговоров. Вместе их собрал некий Лоусон, утверждавший, что именно он изобрел «безопасный» велосипед. Накануне истек срок действия закона, согласно которому перед каждым механическим транспортным средством должен идти человек с красным флажком. В девять часов утра мы выехали в Брайтон. Я ехал в высоком двухместном автомобиле вместе с джентльменом по имени Чарлз Дугид, редактором финансового журнала. Наша машина шла пятой. Шофер помещался на специальном сиденье впереди, вроде жердочки, и мы всю дорогу боялись, что он свалится прямо на нас. Зрителей собралась огромная толпа, и пока мы не миновали Кройдон, требовалась помощь конной полиции, чтобы расчищать путь. Возле Перли нас догнал брайтонский дилижанс, и мы шли наперегонки до самого Рейгета. Пока добрались до Кроули, половина отстала из-за поломок. Предполагалось, что в Брайтоне нас встретят мэр и местное купечество, а потом угостят обедом в «Гранд-отеле». По плану все двадцать пять машин должны были с шиком подкатить по Престон-роуд между полуднем и часом, под приветственные крики восторженной толпы. Первые машины прибыли в половине четвертого, вслед за ними через неравные промежутки времени подоспели остальные пять-шесть. Мы с Дугидом, кажется, приехали последними. Встречали нас издевками и уничижительными выкриками. Мы умылись – довольно скучная процедура – и сели за ранний ужин. Коротышка Лоусон произнес остроумную речь. Разумеется, против него восстали все заинтересованные корпорации той эпохи: железнодорожные компании, владельцы конюшен и торговцы лошадьми, правление Большого соединительного канала, Объединенное общество аренды батских кресел и прочая, и прочая. Одна из петиций, требующих, чтобы парламент положил конец безобразию, была подписана «Друзья лошадей». Впоследствии оказалось, что подала ее «Благочестивая компания по производству кнутов». Справедливости ради следует признать, что и автомобилисты того времени не всегда оказывались на высоте. Мало кто из них добирался до цели своего путешествия. По правде сказать, мало кто на это и рассчитывал, кроме неисправимых оптимистов. Чаще говорили: «Главное – поехать, а там как получится». Возвращались обычно в наемном экипаже. По обочинам сельских дорог повсюду можно было наткнуться на такую картину: автомобиль вытащен на травку или беспомощно загораживает проезд. Рядом сидит на расстеленном пледе печальная женщина, под машиной отчаянно ругается перемазанный мужчина, а другой бегает вокруг, то и дело на него наступая. Опытные жены брали с собой раскладной стульчик и вязанье. Очень молодые люди с техническим складом ума даже получали от подобных ситуаций удовольствие. При малейших признаках неполадок они разбирали машину до винтика и раскладывали детали вдоль дороги. Бодрая пожилая леди – вероятно, тетка – ползала на четвереньках с шурупами в зубах, разыскивая недостающие фрагменты. Проходя вечером той же дорогой, видишь: на живой изгороди

подвешен фонарь, а внизу сложены в кучу остатки автомобиля. Поначалу мы носили маски и разноцветные шоферские очки. Лошади нас пугались. Приходилось останавливаться, заглушать мотор и пережидать. Помню одного старика-фермера на очень нервной кобылке. Мы, конечно, все смотрели на него.

– Если вы, леди и джентльмены, будете так добры отвернуться, – сказал он, – может, она и согласится пройти мимо.

Первые автомобили ужасали своим причудливым обликом. Один был сделан в виде лебедя, хотя из-за короткой шеи больше походил на утку, если вообще можно сказать, что он на что-то походил. Чтобы наполнить радиатор, нужно было отвинтить голову и заливать воду через горло. Во время езды голова разбалтывалась и, частично отвинтившись, посматривала на водителя одним глазом. Были машины в виде гондолы или каноэ. Одна фирма изготовила дракона с красным языком; запасное колесо вешали ему на хвост.

Аэропланы появились во время войны. По четвергам в хорошую погоду со здания Хрустального дворца в Лондоне поднимались воздушные шары. За гинею можно было прокатиться, а уж где приземлишься – это как повезет. Чаще всего возвращаешься домой на следующее утро с сильной простудой. Сейчас путешествие из Лондона в Париж занимает два часа. Так вращается колесо; если процитировать некогда популярного поэта: «Вновь справедливость настает и правда торжествует».

Глава VI
Снова литературные реминисценции

«Трое в одной лодке, не считая собаки» я написал в Челси-Гарденз, на верхнем этаже, куда приходилось карабкаться по лестнице в девяносто семь ступенек, – но вид того стоил. У нас – я уже говорю как человек семейный – была маленькая круглая гостиная, с окнами во всю стену, словно на маяке, и оттуда, глядя вниз, мы видели реку, Баттерси-парк и за ним холмы Суррея, а прямо напротив – сад Королевского приютного дома для отставных солдат в Челси. За эту квартирку – две гостиные, три спальни и кухня – мы платили четырнадцать шиллингов в неделю. В то время на триста фунтов в год можно было чувствовать себя богачом: держать прислугу и попивать хеннесси «Три звездочки» по четыре шиллинга шесть пенсов за бутылку. Район Челси-Гарденз я знал и раньше. Актриса Роуз Норрис, снимавшая там квартиру, устраивала приемы по воскресеньям. Она тогда играла в Королевском придворном театре с Артуром Сесилом и Джоном Клейтоном. Богемная молодежь набивалась в ее крошечную гостиную, а кто не помещался, устраивался на кухне. Нынче, кто из них жив, уж лыс иль сед. Последними уходили обычно Бернард Партридж и я. Роуз Норрис невозможно было не любить – странное одухотворенное создание, словно так и не повзрослевшее. Из нее вышла бы замечательная Жанна д'Арк. На репетиции в театре «Водевиль» мальчишка сунул мне в руку записку, набросанную карандашом, – ее последнее письмо. Посыльный не сказал, от кого, и я вскрыл письмо только часа через два, когда закончилось очередное действие пьесы. Роуз умоляла меня приехать немедленно. Тогда она жила на Грейт-Портленд-стрит, в доме, увитом плющом. Когда я примчался, у двери толпилась кучка зевак. Роуз только что увезли в Коулни-Хэтч, в лечебницу для душевнобольных. У меня так и не хватило духу навестить ее там. О ней заботились подруги – среди них художница миссис Джоплинг Роу. Надеюсь, что Роуз меня простила.

Я не планировал написать смешную книгу. Я и не знал, что я юморист. Да и сейчас не уверен. В Средние века я бы скорее всего отправился проповедовать и допроповедовался до

того, что меня бы сожгли или повесили. Конечно, в книге предполагались «комические эпизоды», но главным образом это должна была быть «Повесть о Темзе», ее пейзажах и истории. Однако получилось не как задумано. Я только что вернулся из свадебного путешествия, и мне казалось, что все горести мира остались позади. Зато с «комическими эпизодами» трудностей не возникало. Я решил начать с них – спихнуть с плеч, если можно так выразиться, а потом уж, в более серьезном настроении, взяться за историю с пейзажами. До этого так и не дошло – остались одни сплошные «комические эпизоды». Под конец я с мрачной решимостью все-таки написал десяток исторических кусочков и добавил по одному в каждую главу, а Ф.У. Робинсон, публикуя книгу выпусками в своем журнале «Родные пенаты», почти все их вымарал – и правильно сделал. Название ему тоже сразу не понравилось, он потребовал заменить. Примерно к середине работы я придумал «Трое в лодке» – ничто другое просто не подходило.

Собаки вначале тоже не было. В то время я, как и Джордж, и Гаррис, не держал дома собаки. В детстве у меня было множество домашних животных. Однажды я подобрал в сточной канаве детеныша водяной крысы. Он жил по большей части у меня в нагрудном кармане. Я брал его с собой в школу; он незаметно для других выглядывал из-за носового платка и смотрел на меня восхищенными глазками. Я любил его больше всех на свете, после мамы. Другие мальчишки жаловались, что он воняет, но по-моему, они просто завидовали. Я никакого запаха не чувствовал. Позже был еще бельчонок-сирота – я почти уговорил нашего белого кролика его усыновить, но он покусал одного из своих приемных братьев. Был кот, что приходил на станцию меня встречать, а вот собаки не было. Монморенси возник из моего подсознания. Я вообще считаю, что в каждом англичанине есть нечто от собаки. Знакомые собачники говорили мне, что Монморенси получился как живой.

В сущности, вся книга – история из жизни. Я ничего не сочинял и не выдумывал. Кататься на лодке по Темзе я любил с тех пор, как смог себе позволить этот вид спорта, и вот – просто записал все, что со мной при этом случалось.

Несколько лет назад ко мне приехали друзья из Америки, и я повез их смотреть Оксфорд. Мы вышли из дома в восемь утра и без четверти семь закончили экскурсию у Мемориала мучеников. Кажется, не пропустили ни единой достопримечательности. Я попрощался с ними на железнодорожной станции – они поехали дальше, в Стратфорд. Я так вымотался, что совсем забыл про машину, – я оставил ее у гостиницы «Рэндольф». Делать нечего, я сел в поезд, идущий в обратном направлении от Стратфорда. Когда состав уже тронулся, в вагон вскочила темно-каштанового окраса собака, а за ней – три солидных джентльмена средних лет. Пес породы чау-чау занял место напротив меня. В нем было какое-то спокойное достоинство. Мне он показался больше китайцем, чем собакой. Остальные трое тоже понемногу расселись. Старший и самый общительный оказался профессором – по крайней мере так к нему обращались, да и вид у него был подобающий. Самый упитанный, насколько я понял, был как-то связан с финансами. По его разговорам выходило, что если к пятнице «группа А. Г.» не внесет четырнадцать миллионов, ему в понедельник придется ехать в Лондон, а это весьма досадно. Я невольно ему посочувствовал. В тот период меня и самого донимали денежные проблемы. Третий, простая душа, занимался египтологией и музейной работой. Я уже начал дремать, как вдруг поезд дернулся и профессор воскликнул: «Черт!».

– Неудачно я тогда сел на штопор, – заметил профессор, потирая соответствующее место.

– Если уж на то пошло, – откликнулся финансист, – тебе еще кое на что лучше бы не садиться. На помидоры, например.

Я слушал, не открывая глаз. Я узнал, что, утомившись от умственного труда, они придумали свежую идею – взять напрокат лодку в Кингстоне и подняться вверх по реке. Сейчас

на них нахлынули воспоминания, и так я узнал, что в путешествии у них возникли трудности с упаковкой багажа. Вначале они планировали спать в палатке, что и делали первые две ночи – с некоторыми перерывами. Судя по всему, палатка проявила к философии, финансам и египтологии не больше уважения, чем к юношескому безрассудству. Она упорно следовала собственной палаточной природе, и на третье утро ее торжественно сожгли с песнями и плясками. По утрам они купались в реке. Египтолог, поскользнувшись на банановой кожуре, окунулся раньше, чем рассчитывал, причем в пижаме. В реке они постирали одежду и после отдали ее бедным. Они сидели голодные вокруг роскошных, герметически запечатанных яств, потому что забыли консервный нож. Собака – ее, как выяснилось, звали Конфуций – ввязалась в свару с кошкой и ошпарилась кипятком из чайника.

Как видите, «Трое в лодке» мог написать всякий, кому бы это взбрело в голову. Вполне возможно, какие-нибудь древние бритты, стоя лагерем в том месте, где сейчас высится над Темзой мать всех парламентов, хохотали, слушая рассказы о злоключениях своего товарища, пустившегося с двумя соплеменниками по реке на коракле[14]. Не считая волка. Наверняка путешествие проходило примерно так же, как наше, – с несущественными мелкими отличиями. А если в тридцатитысячном году нашей эры на Земле еще останутся реки, «древние» из пьесы Шоу, по всей вероятности, повторят эксперимент – с аналогичными результатами. И прихватят с собой собаку пяти тысяч лет от роду.

Джордж и Гаррис тоже списаны с натуры. Гарриса звали Карл Хеншель. Я познакомился с ним в театре. Его отец привез в Англию метод фототравления. Новая технология позволила печатать в газетах фотографии и тем самым изменила весь облик журналистики. Метод хранился в секрете. Карл с отцом запирали черный ход из кухни, задергивали занавески и до глубокой ночи колдовали над своей алхимией. Позднее Карл повел дело с размахом, и мы все думали, что он станет лорд-мэром. Война подрезала ему крылья. Карлу поставили в вину немецкое происхождение. На самом деле он был поляк, но конкуренты не упустили случая. Джорджа Уингрейва, ныне почтенного управляющего банком, я встретил, когда жил в меблированных комнатах на Ньюмен-стрит. Позднее мы вместе снимали жилье на Тэвисток-плейс – очень удобное расположение, недалеко от читальни Британского музея; ее называли клубом бедных студентов.

Мы втроем собирались воскресным утром и ехали на поезде в Ричмонд. От Ричмонда до Стейнса тянулись чудесные живописные луга и поля. Поначалу мы были практически одни на реке, но с годами там стало оживленно, и мы перенесли отправную точку своих прогулок в Мейденхед. В те дни англичане свято соблюдали день субботний. На нас часто шикали, когда мы проходили мимо в вызывающе ярких полосатых пиджаках, с корзиной для пикника. Однажды девица из Армии спасения бухнулась перед нами на колени и принялась истово молиться. В теннис по воскресеньям играли за высоким забором, а гольф еще не вошел в моду. Только-только начинали осваивать велосипед. Помню, хозяин деревенского трактира возмущался, глядя, как молодые люди отправляются на воскресную прогулку:

– Посмотрите на них! Гоняют целый день, что твои деревянные обезьяны на палочках, а домой возвращаются, когда заведение уже закрыто, прости господи!

Иногда мы устраивали настоящий поход, на три-четыре дня, а то и на неделю, с ночевками под открытым небом. По моему опыту, трое – самая лучшая компания. Вдвоем быстро становится скучно, а четверо и больше разбиваются на мелкие группы. Позднее мы в том же составе отправились на велосипедах в Шварцвальд – из этой поездки родилась книга

[14] Рыбачья лодка, сплетенная из ивняка и обтянутая кожей (в Ирландии и Уэльсе).

«Трое на велосипедах» (в Америке назвали «Трое на колесах»). В Германии ее официально включили в список книг для школьного чтения. В другой год мы прошли пешком по верховьям Дуная. Об этом тоже можно бы написать интересную книжку, но тогда я был занят сочинением пьес. То путешествие мне запомнилось как самое лучшее из всех. Мы словно при помощи уэллсовской машины времени переместились в средневековье. Исчезли гостиницы, железные дороги… Босоногие пастухи с посохами крюком пасли овечьи стада. В амбарах молотили снопы железными цепами. Волы под ярмом тянули скрипучие телеги. Возле деревенских домиков женщины мололи зерно при помощи ручных мельниц. На постоялом дворе путешественники спали вповалку в большой общей комнате: усталые мужчины и женщины с детьми, еврей-коробейник, бродячий акробат. С рюкзаком на спине да крепкой палкой в руке весело бродить по лесам и долам. Современный автомобиль, проносящийся через историю в клубах пыли, – удел богатых рабов Времени. Даже на старомодном велосипеде едешь слишком быстро. Мелькнуло мимо нечто потрясающей красоты; думаешь – не вернуться ли? А сам уже мчишься дальше: поздно. Когда ходишь пешком, можно постоять, облокотившись на изгородь. Пейзаж успевает запечатлеться в памяти. Заведешь разговор с веселым лудильщиком, собратом-бродягой или сельским священником. Вот поманила боковая тропка: вдруг она ведет к тайнам и приключениям? Был у нас еще поход по Арденнам, хотя там не встретилось ничего особенно интересного, если не считать любопытного явления: объединенный мужской и женский монастырь с вывеской, гласящей, что здесь принимают на постой людей и животных. Готовили монахи, подавали еду монахини, а счет выписывала настоятельница (по крайней мере я так решил, судя по ее виду). В 90-х годах это было. С вопросами о дороге мы обращались к старикам по-французски, а к тем, кто помоложе, – по-немецки, и нам приветливо отвечали. В целом, по моим впечатлениям, крестьяне тяготели к Германии, а французы сосредоточились в городах.

В конце концов Карл дезертировал, занятый продвижением к креслу мэра, и третьим в нашей компании стал Петт-Ридж. Можно сказать, что впоследствии он дополнительно подкрепил свою кандидатуру тем, что женился на одной из сестер Карла. У него был только один недостаток: он никогда не менял одежду, а если и случались исключения, они лишь подтверждали правдивость французской поговорки – чем больше вещи меняются, тем больше они остаются прежними. Петт-Ридж шел в пеший поход по Тиролю или Бретани в том же костюме, в каком фланировал по Стрэнду, направляясь в клуб «Гаррик»: визитка с изысканным жилетом, серые полосатые брюки, лайковые ботинки, застегнутые сбоку на пуговицы (как носили тогда истинно светские люди), белоснежная сорочка и воротничок, синий галстук в крапинку, мягкая фетровая шляпа и светло-бежевые перчатки. Я катался с ним на лыжах в снегах Швейцарии, плавал с ним на лодке, ездил на автомобиле, и всегда он был одет одинаково. В том же наряде он явится и на Страшный суд, точно вам говорю. Быть может, из уважения к суду наденет черный галстук.

Мы все это терпели, потому что он восхитительный собеседник. Книги его хороши, но все же не настолько хороши, как живое общение с автором. Иначе другие юмористы совсем не могли бы с ним тягаться.

«Трое в лодке» обеспечили мне славу, а будь книга издана несколько лет спустя, принесли бы и состояние. А так большая часть добычи досталась американским пиратам. Впрочем, они тоже божьи создания. Само собой, критики разнесли книгу в пух и прах. Почитать их отзывы, подумаешь – Британская империя в опасности. Один церковный сановник объездил всю Англию, выступая с осуждением моей повести. Особенно возмущался «Панч», учуявший коварную попытку протащить «новый юмор» в комическую литературу. Долгие годы, что бы я ни написал, поднимался общий крик: «Новый юморист!» Никогда не мог понять, почему не

где-нибудь, а в Англии юмор, пусть даже в непривычном облачении, принимают за незнакомца, которого следует встречать градом камней. Это многих удивляло. Зангвилл пишет в статье о юморе: «В современной английской литературе существует чрезвычайно удивительный обычай: смотреть сверху вниз на редчайшее литературное явление – на юмориста. Впрочем, поначалу его радостно приветствуют, даже критики восторгаются новинкой. Но стоит ему упрочить свое положение и начать получать прибыль, наступает реакция, и несчастный автор становится притчей во языцех. Когда «Трое в лодке» только-только вышли из типографии, почтенные богословы и ученые мужи, поймав меня за пуговицу и заливаясь безудержным смехом, зачитывали мне эту книгу вслух целыми страницами. Позднее те же самые джентльмены присоединились к общей травле и содрогались при одном упоминании Джерома. В ожидании, пока явится следующий юморист, все с громкими стонами оплакивают упадок юмора».

Тщеславие толкает меня еще многое процитировать из этой статьи, но скромность воспрещает. Немного найдется авторов, с кем хуже обходилась бы критика, зато немного найдется и таких, кто видел столько доброты от своих коллег-писателей. Помню, когда я уезжал в турне по Америке, в мою честь устроили обед. Председательское кресло занял Барри – по крайней мере одно из них. В других расположились Конан Дойл, Барри Пейн, Зангвилл, Петт-Ридж, Холл Кейн – всего человек двадцать. И все произносили спичи в мою честь. Говорят, я неплохой мастер застольных речей, но все, что планировал говорить в тот вечер, напрочь вылетело из головы. Звучит эгоистично, да что же делать – в этом опасность написания собственной биографии.

У меня укоренилась привычка всюду ходить втроем. Я хотел посмотреть «Страсти Христовы» в Обераммергау. Ехать собирались опять-таки втроем – Иден Филпотс, Уолтер Хелмор и я. Филпотс и Хелмор в то время работали в страховой компании «Сан», в отделении на Чаринг-Кросс. Филпотс заболел, а постановка ждать не будет, так что мы с Хелмором поехали одни. В 1890 году до Обераммергау приходилось добираться в почтовой карете, и в деревне была всего одна гостиница, но можно было в складчину снять комнату в крестьянском доме. Я снова приехал туда перед самой войной. К городку дотянули железную дорогу, огромные отели были переполнены. Играли оркестры, и по вечерам устраивались танцы. Конечно, я написал об этом книгу: «Дневник одного паломничества», – так что мне, вероятно, грех жаловаться.

Хелмор хорошо знал Германию. Мы вернулись домой через Баварию и вниз по Рейну. Это было мое первое знакомство со страной. Мне понравились люди и безыскусный жизненный уклад. Позже я около четырех лет прожил в Германии, и первые впечатления только подтвердились.

В Челси у нас часто бывал Кэлмур, секретарь Уильяма Гормана Уиллса, который писал для Генри Ирвинга пьесы белыми стихами: «Карл I», «Фауст», «Векфилдский священник» и другие. На премьере «Карла I» в зрительном зале началась настоящая драка. Я взял сторону Кромвеля. В то время я отращивал усы; какая-то роялистка в соседнем ряду схватила меня за ус и половину его выдрала. Уиллс был человек со странностями. Он не имел банковского счета, деньги хранил только в золотых монетах, а выплатив что требуется, остаток швырял с размаху в кладовку на верхнем этаже своего дома и запирал дверь на ключ. А когда снова понадобятся деньги – ему или кому-нибудь из его друзей, для Уиллса это было одно и то же, – он отпирал замок и ползал по кладовке на четвереньках, пока не соберет нужную сумму. Кэлмур и сам писал пьесы. Больше других известны «Янтарное сердце» и «Посланец Купидона». Еще он писал песни для так называемых «комических львов». «Чарли-шампань» и «Призрак Джона Бенджамина Бинса» – его авторства. Зарабатывал он немного, но тратил еще меньше. Жил в

однокомнатной квартирке на Сидни-стрит, работал лежа в постели, причем часто не вставал до вечера. Он говорил: постель – самое экономное место. Как только из нее вылезешь, начинаются траты. Обедал обычно у друзей, которых у него было множество. Позднее он разработал «систему», с которой каждую зиму ездил в Монте-Карло. Отличие его системы от большинства других состояло в том, что она действительно работала. Он играл, пока в карманах не окажется сотня фунтов сверх стоимости расходов, и следующим же поездом возвращался домой – поистине редкостная сила воли! Поговаривали, что он любит засиживаться в гостях допоздна. Кэлмур знал за собой такую привычку и с самого первого знакомства договорился на этот счет с моей женой. Я при их разговоре не присутствовал и был страшно шокирован, когда, едва часы пробили полночь, моя жена встала и с самым любезным видом произнесла:

– Вам пора, мистер Кэлмур. И пожалуйста, не забудьте закрыть за собой входную дверь.

Не успел я опомниться от изумления, он попрощался и ушел.

– Все в порядке, – успокоила меня жена. – По-моему, он очень славный.

Часто приходил актер Эдвард Джон Хенли. Мы с Иденом Филпотсом писали для него пьесу. Хенли, как большинство комиков, мечтал играть серьезные роли. Они бы у него получались – он умел быть и гротескным, и трагичным, и голос у него был от природы звучный.

– Бесполезно, – сказал он мне, когда я ему все это высказал. – Я бы сыграл Калибана, но публика подумает, что я изображаю в комическом виде какую-нибудь зверюгу из зоопарка. Если я в гостях прошу соседа по столу передать мне горчицу, он радостно хохочет, хлопая себя по коленям. Чертовски глупо, на мой взгляд.

Недалеко от нас в очаровательном домике на Эбери-стрит жила с матерью и сестрой Гертруда Кингстон. Если бы симпатии британской публики не были навеки отданы образу «нежной английской розы», подобной героиням пьес Пинеро, Гертруда Кингстон давно бы стала ведущей лондонской актрисой. Она ворчала, что к нам слишком высоко взбираться, а я уверял, что это полезно для фигуры. Она хоть и не очень поверила, однако часто поднималась по нашим девяноста семи ступенькам. Ольга Брэндон, преодолев их, временно теряла дар речи – быть может, и к лучшему.

Ольга Брэндон жила поблизости. Она была настоящая красавица – уверенная, статная. В театре всегда играла королев, мучениц и греческих богинь, словно родилась для этих ролей. А вне сцены говорила с чудовищным простонародным выговором и ругалась как кавалерист. Она была чудесная и очень добрая. В конце концов ее постигла судьба многих. Мне запомнилась одна премьера в театре «Водевиль». В кулисах ждет своего выхода молодая актриса – ей сегодня предстоит играть свою первую большую роль. В руке у нее бокал. Стареющая Эмили Торн останавливается перед ней, загораживая дорогу.

– Дрожь пробирает, да? – спрашивает старшая актриса.

– Вот точно! – смеется молоденькая.

– А капелька бренди помогает собраться, успокоить нервы?

– Без этого, боюсь, не справлюсь, – отвечает девушка.

Эмили накрывает ее тонкую руку своей, и содержимое бокала выплескивается на пол – а большей частью на проходящего мимо рабочего сцены.

– Много я знала таких, как ты, молодых и перспективных, – произнесла Эмили, – и половина сгубили свою карьеру из-за выпивки. Кое-кого она в могилу свела. Научись обходиться без этого, деточка.

В квартире под нами жил брат драматурга Генри Артура Джонса. Он был директором театра и сам играл на сцене под псевдонимом Сильванус Дэннси.

С Марией Корелли я познакомился, когда жил в Челси. Мы часто виделись в гостях у

итальянки мадам Маррас, в Принсес-Гейт. Мария была очень хорошенькая, похожая на девочку. Как выяснилось, мы были ровесниками. Иногда в той же компании появлялась миссис Гарретт Андерсон – первая в Лондоне женщина-врач. Мы играли в разные игры: «найди туфельку», кошки-мышки и музыкальные стулья. Могу похвастать, что не раз сидел на коленях у Марии Корелли, хотя и недолго. Она работала по настроению и часто задерживала рукописи позже срока, оговоренного в контракте. Жила она вместе с приемным братом, Эриком Маккеем, сыном поэта. Случалось, когда литературный агент приезжал к ним домой и принимался рвать и метать, требуя очередной выпуск, они запирали Марию в кабинете; она поначалу колотила в дверь, а потом, успокоившись, садилась за работу.

Дружить с ней было нелегко. Нужно было соглашаться со всеми ее мнениями, а было их много, самых разнообразных. Меня восхищали ее смелость и искренность. Она умерла, когда я писал эту главу.

Артур Мейчен женился на моей близкой приятельнице, мисс Хогг. Как могла такая очаровательная барышня родиться с такой неблагозвучной фамилией – одна из загадок мироздания. Она тоже была завсегдатаем премьер и входила в число основателей клуба «Театралы», опередившего свое время, поскольку туда принимали женщин. Эми Хогг и сама была нарушительницей традиций: жила одна в квартирке напротив Британского музея, посещала чайные «Эй-би-си» и рестораны, общалась с друзьями-мужчинами – все это считалось неприличным. Она продавала вино с собственного виноградника во Франции хозяину ресторана «Флоренция» на Руперт-стрит. Мы с ней там часто ужинали за ее любимым столиком у окна и распивали бутылочку. «Флоренция» в то время была уютным небольшим заведением, где можно пообедать за шиллинг с четвертью и поужинать за два шиллинга. Там часто появлялся Оскар Уайльд – они с друзьями приходили поздно и занимали стол в дальнем углу. О нем уже ходили слухи, а внешность его спутников не способствовала их опровержению. Все притворялись, будто его не видят. Мейчен в молодости имел вид интеллектуала, а с возрастом сделался добродушным седовласым джентльменом – словно один из братьев Чирибл сошел со страниц «Николаса Никльби». Не могу назвать ни одного писателя, покойного или ныне живущего, который сравнился бы с ним в умении нагнетать атмосферу неизъяснимого ужаса. Как-то я дал Конану Дойлу почитать его «Трех обманщиков». Дойл не спал всю ночь.

– Ваш приятель Мейчен – действительно гений, – сказал Дойл, – но к себе в постель я его больше не возьму.

Мне запомнилась последняя встреча с его женой. Дело было в воскресенье, под вечер. Они жили в Верулем-билдингз, Грейз-Инн, на первом этаже. Окна выходили в огромный тихий сад, где в кронах вязов кричали грачи. Она умирала. Мейчен с двумя котами под мышкой бесшумно ходил взад-вперед, ухаживая за ней. Мы почти не разговаривали. Я ушел, когда закат наполнил комнату удивительным лиловым сиянием.

В нашу первую зиму в Челси замерзла Темза. В том году в Лондоне впервые появились чайки. На улицах звенели колокольчиками сани. Излюбленная трасса шла по набережной и вокруг парка Баттерси.

Наши друзья жили в Сент-Джонс-Вуд, у них были сады, кое-кто даже выращивал розы и зеленый лук. Они так хвастались, что становилось завидно. У Ольги Нетерсоул был коттедж с настоящим крылечком и плющом. У Льюиса Уоллера – шелковичное дерево, а Огастеса Гарриса я как-то видел с ружьем. Он сказал, что купил ружье, чтобы стрелять кроликов в своей «усадебке» близ Авеню-роуд. Мы нашли себе старинный дом за высокой оградой на Альфа-плейс. Поблизости жил Брет Гарт, у каких-то сильно высокопоставленных друзей по фамилии Ван дер Вельде. Кажется, старый джентльмен был послом, а его жена-американка знала Брет Гарта еще с молодости или что-то в этом роде. Брет Гарт оставался у них до самой

своей смерти. Он занимал в доме отдельные собственные комнаты. Когда мы с ним познакомились, волосы у него были золотые, а с годами побелели. Сам он был худощав, быстр в движениях, учтив и стеснителен, с мягким тихим голосом. Трудно представить его среди сентиментальных головорезов Ревущего Стана и Красного ущелья.

В Сент-Джонс-Вуд обитал и Зангвилл с семейством. Его брат Луис тоже писал книги, под псевдонимом «З. З.». Самая известная из них на сегодняшний день – «Мир и человек». Зангвилла обзывали «новым юмористом». Он издавал юмористический журнал «Ариэль» и открыл английского «Шекспира». В то время на каждом шагу открывали Шекспиров. Театральный критик Джейкоб Томас Грейн открыл голландского Шекспира, другой критик, не желая отстать от коллеги, откопал бельгийского Шекспира… В конце концов каждой европейской стране досталось по Шекспиру, кроме Англии. Зангвилл отказывался понять, почему Англию обделили, и разыскал Шекспира в Брикстоне. Судя по опубликованным отрывкам, Шекспир был не хуже других. В то время также вовсю обсуждали тему Бэкона, и опять-таки Зангвилл сделал открытие, что пьесы Шекспира были написаны другим джентльменом с тем же именем. С миссис Зангвилл, тогда еще мисс Айртон, я познакомился на обеде. Она была дочерью профессора, и мне поручили ее развлекать. Нечасто случается задеть женщину, преуменьшив ее возраст, но в тот вечер я сильно обидел мисс Айртон. Выглядела она лет на пятнадцать, и я очень старался разговаривать с ней соответственно. В моем характере есть некоторое мальчишество, и я льстил себя надеждой, что у меня отлично получается. Вдруг она спросила, сколько мне лет. Растерявшись, я ответил.

– Тогда почему вы разговариваете, как четырнадцатилетний?

Она назвала свой возраст – видимо, считая его очень солидным. Во всяком случае, она оказалась старше, чем я подумал. После этого мы нашли множество общих интересов. Меня всегда поражало ее сходство с леди Форбс-Робертсон. Надеюсь, ни та ни другая не обидятся – тут никогда не угадаешь. Один общий друг уверял, что я ему невероятно напоминаю мистера Асквита, а потом задумался и добавил: «Только ему не говорите, что я так сказал!»

Зангвилл – яркая личность. Он или очень нравится, или его хочется как следует стукнуть по голове дубиной. Мне он всегда был симпатичен. Нас объединяет сочувствие к безнадежным затеям и к тем, кого несправедливо обижают. Он мне как-то признался, что полжизни потратил на сионизм. Я не хотел ему этого говорить, но мне всегда казалось, главная опасность для сионизма – что он может в один прекрасный день осуществиться. Иерусалим для еврейской расы всегда был прекрасной мечтой: огненный столп, направляющий их в пути через века преследований. Каждый еврей, как бы ни был он беден, загнан, презираем, лелеял в груди тайное право первородства, великое наследие, которое мог передать своим детям. А реальный захолустный городишко на боковой ветке Багдадской железной дороги – да кому он нужен? Уж точно не сионистам. Их Иерусалим должен оставаться в облаках – земля обетованная вдали, за горизонтом. Подарив Палестину евреям, британское правительство разрушило последнюю надежду Израиля. Теперь остается объявить конкурс подрядчиков для восстановления Храма.

Один раввин мне как-то сказал, что жизненный путь лондонского еврея отмечен тремя вехами: нищий Уайтчепел, зажиточный район Мэйда-Вейл и преуспевающая Парк-лейн. Еврей-бизнесмен ничем не лучше своего конкурента-христианина. Все знакомые мне художники-евреи простодушны, как дети. Многие из них сбежали из Мэйда-Вейл и поселились по ту сторону Эджвар-роуд, в Сент-Джонс-Вуд. Соломон Дж. Соломон, державший мастерскую в районе Мальборо-роуд, кажется, первым из художников стал работать при электрическом свете – весьма полезное достижение в нашем туманном Лондоне. Он начал мой портрет, когда гостил у нас в Пэнгбурне, но постоянно жаловался, что у меня слишком много лиц. По его словам, я похож то на убийцу, то на святого. Незаконченный портрет так и остался у меня.

Кого-то он мне напоминает – не знаю только кого. Та же проблема была недавно со мной у де Ласло, но он нашел выход: незаметно перевел разговор на меня, и я принялся рассказывать о себе. Мой портрет его кисти так и лучится энтузиазмом.

Композитор Фредерик Коуэн устраивал чудесные концерты в своем доме на Гамильтон-террас. Однажды весной Сара Бернар сняла дом поблизости. Она привезла с собой ручного леопарда: судя по рассказам местных торговцев, зверь был с характером. Целый день дремал в кухне у огня, и пока мальчишки-посыльные скромно передавали кухарке провизию, только поглядывал на них вполне благожелательно из-под полуопущенных век. Но стоило какому-нибудь из них вручить конверт, да еще и с намерением дожидаться ответа, леопард вскакивал с таким леденящим душу рыком, что мальчишки улепетывали со всех ног.

Впервые я увидел Сару Бернар на ужине после очередной премьеры у Ирвинга, на сцене «Лицеума»: одинокая неприметная фигурка в стороне от всех. Она не знала ни слова по-английски, и ее никто не знал. (Сборища были неформальные: вы просто показывали свою карточку и проходили на сцену.) Она ничего не ела, только взяла бокал с вином. Я хотел всем ее представить, но она, видимо, обиделась, что ее не узнали и не суетились вокруг, стала жаловаться на головную боль, и я поймал для нее кеб. Я заметил у нее на глазах слезы, когда закрывал дверцу.

У Джозефа Хаттона был на Гроув-Энд-роуд дом с огромным садом, где он устраивал приемы по воскресеньям. Там можно было встретить самых разных людей – лордов и художников, актеров и телепатов, африканских царьков, беглых заключенных, журналистов и социалистов. Там я впервые услышал пророчества о правительстве рабочих и праве голоса для женщин. Там часто бывал неистовый русский нигилист Степняк[15] с мрачным лицом и ангельской улыбкой. Как-то в воскресенье я его встретил в омнибусе. Мы вместе прошлись от Аксбридж-роуд до Бедфорд-парка – оказалось, что мы идем в один и тот же дом. Дорога вела через пустырь и пересекала железнодорожное полотно. Миновали турникет; Степняк, увлеченный разговором, не заметил приближающегося поезда. Я еле успел поймать его за рукав. Несколько секунд он стоял, растерянно глядя вслед поезду, и остаток пути был непривычно молчалив. На следующее воскресенье его сбил насмерть тот же самый поезд на том же самом переезде. Говорили, что он выдал российской полиции какую-то тайну и ему предложили выбор: самоубийство или публичное разоблачение. Правды никто не знает до сих пор.

У нас была замечательная кухарка по фамилии Айзекс; она утверждала, будто состоит в родстве с какими-то важными людьми с той же фамилией. Не знаю, насколько это соответствовало действительности. Она подбивала нас совершать безумства и устраивать многолюдные обеды. У.Ш. Гилберт был прекрасным собеседником. Позднее в нем появилась какая-то горечь или озлобленность, но в девяностых он еще был добродушен. Помню, как актриса Мэй Фортескью стала рассказывать, что у древних греков был обычай вырезать застольные речи на сиденьях. Для этих надписей было какое-то специальное название, но она его забыла и обратилась к Гилберту:

– Как они назывались?

– Задним умом, надо полагать, – ответил Гилберт.

---

[15] Степняк-Кравчинский, Сергей Михайлович (1851–1895) – российский революционер-народник, с 1878 года, после убийства шефа жандармов Н.В. Мезенцева, скрывался за границей, где вел пропагандистскую деятельность в поддержку революционных преобразований в России. Занимался публицистической и литературной деятельностью, поддерживал близкие дружеские отношения с английской писательницей Этель Лилиан Войнич, автором романа «Овод», стал прообразом одного из героев романа Эмиля Золя «Жерминаль».

Они с Кроссом (или с Блэкуэллом, не помню точно) вели тяжбу о праве на отстрел дичи. Гилберт начал письмо так: «Возьму на себя смелость возразить Вам, общепризнанному специалисту по сохранению природных богатств»… В другой раз он рассказывал, как обедал вместе с американским антрепренером, который недавно открыл молодого талантливого драматурга. У американца не хватало слов, чтобы описать блестящие способности своего подопечного. Наконец он воскликнул:

– Я вам скажу, что он такое! Он как мистер Барри… – Последовала выразительная пауза. – Только с чувством юмора!

Барри, пожалуй, был самым молчаливым человеком из всех, кого я знал. Он мог просидеть весь обед, не произнеся ни слова. А потом, когда гости разойдутся и останутся один или два – или вовсе ни одного, – проговорить больше часа, заложив руки за спину и расхаживая по комнате. Однажды его соседкой по столу оказалась очаровательная, но очень пугливая барышня. Когда подали камбалу на гриле, Барри нарушил молчание:

– Вы бывали в Египте?

Барышня от неожиданности растерялась и не сразу смогла ответить. В ожидании следующей перемены блюд она повернулась к Барри и произнесла:

– Нет.

Барри продолжал спокойно есть. Приканчивая жаркое, барышня не выдержала.

– А вы? – спросила она с любопытством.

В серьезных глазах Барри возникло мечтательное выражение.

– Нет, – ответил он.

После чего оба вновь погрузились в молчание.

Барри, как и моя жена, бесконечно восхищался животными и птицами. Помню, он ей рассказывал, что ягнята гораздо умнее, чем принято думать. Однажды он, присев на перелазе, стал набрасывать будущий сюжет на старом конверте. Барри в тот период почти никогда не выбрасывал конверты. Джон Хэр, распорядитель театра «Гаррик», объясняя, почему отклонил пьесу «Любовная история профессора», упомянул, что половина ее была записана на оборотной стороне старых конвертов. Вряд ли половина, но от одной восьмой до одной шестнадцатой – могу поверить. Барри в то время был никому не известным юнцом.

– Откуда я мог знать, что этот балбес – гений? – ворчал Хэр. – Конечно, я принял его за помешанного!

Но вернемся к нашим баранам.

На лугу, возле которого сидел Барри, паслись ягнята. Один отбился от матери, повернулся туда-сюда и потерялся. Он блеял так жалобно, что Барри отложил рукопись и отвел ягненка к маме. Не успел он вернуться на свой насест, как другой ягненок поднял крик. Делать нечего – Барри снова отложил работу и отвел ягненка к матери. Так оно и продолжалось, но самое удивительное, что ягнята, потерявшись, уже не пробовали искать маму, а бежали сразу к Барри. Они-то экономили время, зато Барри поработать так и не дали.

Барри был самым непритязательным человеком, хотя иногда обидчивым. Как-то раз некая высокородная дама пригласила его в свой замок. Гостей собралось много – лорды и государственные деятели, миллионеры и магнаты. Барри отвели крохотную комнатенку в башенке, ведущей к помещениям для прислуги. Возможно, у бедной леди просто не нашлось других комнат. Барри промолчал, а к утру исчез. Никто не видел, как он уходил, и входная дверь была закрыта на засов еще с вечера. Барри собрал сумку и вылез в окно.

Меня выгнали с Альфа-плейс, чтобы освободить место для новой линии Центральной железной дороги. Нынче провал зияет на том месте, где когда-то стоял уютный дом с длинной узкой столовой и просторной гостиной окнами в тихий сад. Моя жена, в то время совсем еще

девочка, любила встречать гостей, стоя на верхней ступеньке лестницы, – так она казалась выше ростом. Уэллс тогда был застенчивым молодым человеком, Райдер Хаггард – довольно важным джентльменом, очень серьезно к себе относившимся. Только миссис Барри Пейн отваживалась его поддразнивать. Джордж Мур был простой и добрый, когда чувствовал себя среди своих, но те, кто не знал его близко, часто считали его позером: на людях он принимал весьма импозантный вид. Клемент Шортер и его жена, поэтесса Дора Сигерсон, Джордж Гиссинг с нервными руками и звучным голосом, Холл Кейн, Конан Дойл, Хорнунг… Список можно продолжать еще долго. Как бы не показаться слишком болтливым – лучше оставлю их до другой главы.

Из Сент-Джонс-Вуд мы переехали в Мейфэр – в маленький домик в ряду других таких же домов, в тупичке, с видом на Гайд-парк. Мне о нем рассказал Джордж Александр. Он жил в номере четвертом. Там я впервые встретил Марка Твена. Почти никто не знал, что он в Лондоне. Жил он скудно, экономил деньги, чтобы расплатиться с долгами издателям (повторялась история Вальтера Скотта). Наши дети познакомились в гимнастическом зале. Я обнаружил, что существует два разных Марка Твена: один – юморист, другой – поэт, гуманист и реформатор. И вот что любопытно: юморист был пожилым джентльменом с тусклым взором и медлительной монотонной речью, а поэт-гуманист-реформатор – азартным молодым человеком с выразительными глазами и голосом, полным нежности и страсти.

Говорят, человек всегда возвращается к своей первой любви. Я никогда не любил Вест-Энд – сытый, разряженный, скучный. А Ист-Энд с его узкими безмолвными улицами, где за каждым углом подстерегают тайны, с шумными магистралями, бурлящими пестрым разнообразием жизни, вновь стал моим излюбленным местом для прогулок. Я нашел «верфь Джона Ингерфилда» близ Старой лестницы в Уоппинге, а рядом, за железной оградой, – скромное церковное кладбище, где похоронены Джон и Анна. Однако чаще мои блуждания приводили меня к обшарпанному домику в переулке возле Бердетт-роуд, где прошло детство Пола Келвера.

Из всех моих книг работа над «Полом Келвером» доставила мне больше всего удовольствия – быть может, потому, что эта книга обо мне и о людях, которых я хорошо знал и любил.

С выходом этой книги произошел перелом в отношении ко мне критиков. Первый в моей жизни хвалебный отзыв дал Фрэнсис Гриббл, благослови его Бог, – а за ним последовали другие.

Мне, конечно, следовало продолжать в том же духе. Я мог стать уважаемым писателем – возможно, даже преуспевающим. Кто знает? Но стоило мне, как это называют, «подняться на вершину», как меня охватило единственное желание – поскорее убраться оттуда. Я вернулся к сочинению пьес. История повторялась. В самом начале, добившись успеха как юморист, я немедленно стал серьезен. Видимо, это какой-то вывих в мозгах. Ничего не могу с собой поделать.

Глава VII
Злоключения драматурга

Одна дама спросила меня, почему я не пишу пьес.

– Я уверена, мистер Джером, – прибавила она с ободряющей улыбкой, – вы могли бы написать пьесу.

Я ответил, что уже написал их девять, шесть поставлены на сцене, три имели успех в

Англии и Америке, а одна и сейчас идет в Театре комедии, скоро двухсотое представление.

Брови дамы поползли вверх.

– Боже мой! – сказала она. – Вы меня изумляете!

Джордж Роберт Симс рассказывал, как обедал однажды с друзьями в ресторане гостиницы «Савой». Когда пили кофе, он предложил сходить в театр, друзья идею поддержали. Он повел их на собственную пьесу, и она им почему-то не понравилась. В конец первого акта кто-то из друзей, обернувшись к Симсу, сказал:

– Нудновато, вы не находите?

– Да, пожалуй, немного, – согласился Симс.

– Пойдем лучше в «Эмпайр», – предложил кто-то еще.

Возражений не последовало. Все единодушно выбросили программки и дружной компанией покинули театр. Симс печально плелся сзади.

– Раньше меня злило, что из сотни зрителей едва ли один удосужится прочесть имя автора, – прибавлял он. – В тот вечер я был этому рад.

Первой моей пьесой была «Барбара». Говорят, в наше время режиссеры читают пьесы неизвестных авторов. В дни моей молодости все было иначе. Я прочел пьесу как-то вечером Роуз Норрис в ее квартирке в Челси-Гарденз, и она, добрый друг, сама отнесла рукопись Чарлзу Хотри и стояла у него над душой, пока он не дочитал. Он прислал мне приглашение прийти к нему в следующий вторник, в полдень – слово «полдень» было подчеркнуто. Хотри в то время ставил «Секретаря» в театре «Глобус». Я пришел без двадцати двенадцать и ходил взад-вперед по Холлиуэлл-стрит, пока Биг-Бен не пробил. Швейцар сказал, что мистера Хотри еще нет в театре. Я ответил, что подожду. Швейцар – добрая душа, жаль, я забыл его имя – придвинул мне стул к камину и дал почитать затрепанный экземпляр «Талисмана», сказав, что считает этот роман лучшим из произведений Вальтера Скотта. Хотри появился в четверть четвертого. Швейцар нас познакомил и объяснил, что произошло.

– Ах, прошу прощения! – сказал Хотри. – Я думал, сегодня понедельник.

Его первая жена рассказывала, что накануне свадьбы шафер потихоньку перевел ему часы вперед на час с четвертью, и в результате Хотри приехал в церковь за пять минут до начала церемонии; а в суде по делам о несостоятельности его прозвали «упокойный мистер Чарлз». Но он всегда так очаровательно извинялся, что его прощали.

Он сказал, что пьеса понравилась ему необыкновенно. В ней всего один недостаток: она слишком короткая. Я привожу здесь его слова как единственный в истории случай, когда режиссер сказал драматургу, что пьеса недостаточно длинна. Я пообещал дописать еще одну сцену.

– Мой брат Джордж договорится с вами об условиях, – объявил Хотри, пожимая мне руку на прощание. – Он захочет сразу купить права. Послушайтесь моего совета: не соглашайтесь. Уловка, рассчитанная на дилетантов.

«Продюсеров» мы тогда еще не знали. Это американское изобретение. Режиссер и автор обходились своими силами. По правде говоря, я так и не уяснил для себя разницу. Одним из первых был «Дот» Бусико, и до сих пор остается одним из лучших. Он даже слишком добросовестный. Его метод состоит в том, что на репетиции он сам исполняет все роли, актерам остается всего лишь копировать. Однажды он таким образом готовил к спектаклю Гертруду Кингстон. Прошло недели две, и вот Бусико, отведя ее в сторонку, спросил, как ей нравится роль.

– Какая роль? – спросила Гертруда Кингстон.

– Что значит – какая? – удивился Бусико. – Ваша роль – графиня!

– Ах, это, – ответила мисс Кингстон. – Я думала, ее играете вы.

Подозреваю, истина в любимой присказке дю Морье: хорошая пьеса сама себя ставит.

Мою Барбару играла Сисси Грэхем. С тех пор она почти не изменилась, и я нежно ее люблю, но она никогда не сравнится по красоте с матерью. У меня остались очень приятные воспоминания об их воскресных ужинах в Хаммерсмите. Должно быть, в молодости мое лицо выражало больше сочувствия к окружающим, чем я испытывал на самом деле. Даже малознакомые люди внезапно поверяли мне свои беды. На одном из таких ужинов я встретил актера Хенли – того, что был братом поэта Уильяма Хенли. Он сразу же отвел меня в уголок и выложил все тайны своей частной жизни. Он хотел, чтобы я решил за него: задушить ее или просто расстаться? Взвесив все обстоятельства дела, я выбрал второе. Вскоре он неожиданно уехал в Америку. Мне нравится думать, что я, быть может, оказал услугу обеим сторонам. Любопытно, что с ним стало. Актер он был блестящий – умел передать на сцене страсть, как никто. Следующим после него я поставил бы Маккиннела. Другим частым гостем на тех вечерах был Чарлз Уибли. Я в двадцать пять был твердолобым консерватором, а он – анархистом самого левого толка. Мы спорили до хрипоты. Джон Бернс проповедовал революцию; британской конституции грозила нешуточная опасность. Уибли рвался идти с протестом на Трафальгарскую площадь. Мы еле его удержали. На всякий случай я поступил добровольцем в отряд специальных констеблей. Там меня научили строиться в колонну по четыре и ворочать глазами направо и налево. Сейчас я, если не ошибаюсь, вице-президент лейбористской партии Оксфордского университета, а Уибли сделался одним из столпов государства и пишет для такого солидного издания, как журнал «Блэквуд».

«Барбару» играли на сцене, с перерывами, много лет и до сих пор ставят в любительских спектаклях. Следуя совету Чарлза Хотри, я не продал права, хотя искушение было велико – брат Чарлза, Джордж, поднял цену до ста фунтов.

Другую одноактную пьесу, «Феннел», я написал для Джорджа Гидденса, возглавившего театр «Новелти» – ныне «Кингсуэй». Вернее сказать, я адаптировал французскую пьесу Франсуа Коппе. В то время все театры требовали адаптаций французских пьес. Один из самых успешных английских драматургов, Сидни Гранди, откровенно говорил, что не написал ни одной оригинальной пьесы.

– Зачем голову ломать, когда можно попользоваться чужой?

Пьеса примечательна в основном тем, что открыла для лондонской сцены Аллана Эйнсворта. Он играл героя-любовника Сандро. Сверившись с текстом, я вижу, что описал его так: «порывистый, красивый, привлекательный молодой человек». Эйнсворт таким и был, но в день премьеры на него напал страх сцены. Стоя в кулисах, я видел, как он все сильнее нервничает. Когда пришло время произносить главный монолог, у него отшибло память – а я так гордился этим монологом! Столько сил приложил, чтобы как можно лучше передать поэтический текст Коппе английским белым стихом! Там говорилось о музыке, восходе, небесах и любви; речь на две страницы. Я бы еще простил, если бы он просто замолчал на середине – ну забыл и забыл. Но к моему ужасу, он продолжал декламировать. У него в голове застряло, что пока старик-отец не вернется домой, герой должен стоять посреди сцены и произносить стихотворные строки. И он произносил. Кое-где мелькали кусочки моего текста, но по большей части он говорил, что в голову взбредет, перемежая все это обрывками стихотворений, выученных, видимо, еще в нежном детстве. Я кричал Стюарту Доусону, исполнителю роли отца, чтобы он скорее шел на сцену и остановил Эйнсворта, но тот все же дочитал до конца, и с таким чувством, что в конце сорвал аплодисменты.

– Извини, я забыл точные слова, – сказал он мне, выйдя за кулисы. – Но я очень старался тебя не подвести!

«Ферма Вудбэрроу» – моя первая большая пьеса. Гертруда Кингстон поставила ее для

утреннего спектакля и сама сыграла роль авантюристки. Полезный был обычай – пробный прогон на утреннем спектакле. Жаль, что сейчас он забыт. Директор театра предоставлял помещение в обмен на право выбрать пьесу. Так же обычно подбирались исполнители на главные роли. За сотню фунтов можно было представить пьесу публике и оценить единственным по-настоящему надежным способом. Три пьесы из четырех оказывались пустышками, несмотря на дружелюбно настроенных зрителей, зато четвертая выигрывала главный приз. Чарлз Хотри предоставил нам Театр комедии. Благородного злодея сыграл Фредерик Гаррисон, ныне дуайен лондонских режиссеров, а маленькая роль слуги в исполнении Эрика Льюиса стала центральной ролью спектакля. Пьесу купил Джон Хэр; он как раз искал что-нибудь подходящее для молодого Сидни Брафа – красивого, талантливого и подающего большие надежды сына Лайонела Брафа, известного комедийного актера. Он был моим учеником в «Академии Саут-Ламбет-роуд. Для сыновей джентльменов». Не помню, как получилось, что в итоге пьесу приобрел Том Торн. Ею он открыл сезон в новом театре «Водевиль». Слугу сыграл сам Торн, а главного героя – Бернард Партридж.

Вначале на главную роль назначили Конвея. Вот еще одна печальная история! Он прославился в роли Ромео. Его партнершей тогда была Аделаида Нельсон – лучшей Джульетты я не видел, хотя несколько лет спустя Филлис Нильсон-Терри приблизилась к тому же уровню. Уже через неделю наших репетиций стало ясно, что беднягу Конвея придется заменить, и задача сообщить ему грустную новость легла на мои плечи. Я пришел к нему рано утром в гостиницу «Адельфи». Он стоял ко мне спиной, уткнувшись лбом в каминную полку.

– Я знаю, зачем ты здесь, – сказал он, не оборачиваясь. – Я сам виноват. Думал, сумею собраться. Может, потом еще раз попробую…

Сообщать актеру, что у него забирают роль, – приятного мало. Все стараются спихнуть такое поручение на кого-нибудь другого. Помню, в театре Терри была молоденькая актриса. Ей дали замечательную роль по рекомендации не слишком разумного друга, на условии, что репетиции будут пробными. Это был ее первый лондонский ангажемент. Мы все считали, что сообщить ей о нашем решении должен режиссер. Он отказался наотрез. Мы не отставали, и тогда он объяснил:

– Несколько лет назад у меня уже вышла похожая история. Актриса была хорошенькая, как ангел. Мы, как водится, сдуру выбрали ее из-за внешности. И способности у нее были – не хватало опыта. Роль оказалась ей не по зубам. Она все поняла, выслушала спокойно. Я зашел к ней вечером – она жила в однокомнатной квартирке в Челси, в районе Кингс-роуд. Мы посидели, поговорили о судьбах британского театра, она меня угостила кофе. Я радовался про себя – думал, дешево отделался. Ночью она утопилась. Возле моста Баттерси сошла по ступенькам в реку. Эта малышка чем-то на нее похожа. Пусть кто-нибудь другой ей скажет.

Ни у кого не хватило духу. Роль так и осталась за ней. Сыграла она из рук вон плохо.

Дэн Фромен написал мне, что остановился в гостинице «Виктория» и хочет к нам зайти, обсудить возможность постановки моей пьесы в Америке. Мы тогда жили на Альфа-плейс. Моя жена придумала коварный план: сперва хорошенько его накормить, а потом уж говорить о деле. Он принял наше приглашение, и мы почувствовали, что он уже у нас в руках. Обед был великолепен – икра, фаршированная дичь и всякие хитроумные французские кушанья. Два с половиной дня моя жена не расставалась с миссис Битон. Коктейлями я занимался сам, а потом подали шато-лафит и шампанское. Как сейчас вижу лицо жены, когда Фромен со своей обычной серьезностью объяснил, что пищеварение не позволяет ему обедать; можно ему немного салата, греночек без масла и стакан минеральной воды? Правда, потом он выкурил со мной сигару и заключил договор на очень хороших условиях.

В Америке Бернарда Гулда сыграл Эдвард Хью Содерн. Он влюбился в исполнительницу

роли, которую у нас играла Гертруда Кингстон, и пьеса еще не успела сойти со сцены, как они поженились. Не могу сказать, что роль свахи всегда мне удавалась. Я познакомил Дж. М. Барри с Мэри Анселл – и тоже в связи с постановкой «Фермы Вудбэрроу». У меня была собственная труппа, игравшая пьесу в провинции, и я взял Мэри Анселл на амплуа инженю. Барри в это время ставил «Плавучий дом» у Тула в старом театре «Фолли» на Кинг-Уильям-стрит и попросил меня рекомендовать ему актрису на главную роль. Многого он не требовал: девушка должна быть молода, красива, обаятельна, по возможности талантлива, блестяще играть в преферанс и непременно уметь флиртовать. В те дни подобное сочетание встречалось не так уж часто. На ум никто не шел, кроме мисс Анселл. Казалось бесчеловечным не дать ей шанса. Я послал за ней и отменил наш контракт, а при следующей встрече Барри, в свою очередь, представил ее мне как свою жену.

Во время постановки другой моей пьесы – «Путь ханжи» – главная героиня, Лина Эшвелл, вышла замуж за комика Артура Плейфера. В последний раз я его видел в Брайтоне. Мы оба остановились в гостинице «Старый корабль». Артур был с тогдашней своей женой и тремя детьми. Она была очень красивая, крепкая, веселая и хвасталась моей жене, что ни дня в своей жизни не болела. Через три недели она умерла, а Плейфер умер несколько месяцев спустя; в более сентиментальную эпоху сказали бы – от разбитого сердца. Он давно перебесился, стал солидным и чуточку растолстел. Там же мы встретили Хотри. Когда я жил на Парк-роу, часто по утрам, бреясь, видел в окно, как Чарлз Хотри бегает вокруг Гайд-парка в шортах и фуфайке; но это не спасло его от общей судьбы мужчин среднего возраста. Даже у меня фигура уже не та, что была когда-то. Миссис Плейфер откопала где-то фотографию двадцатилетней давности, снятую на обеде в клубе «Театралы». Мы трое стоим рядом – молодые, стройные, прямо-таки эльфы. Миссис Плейфер вырезала нас и назвала эту картинку «Три грации».

С братьями Фромен, Чарлзом и Дэном, приятно было вести дела. Все контракты они заключали на словах. Чарлз часто говорил, что не составлено еще такого договора, который умный человек не смог бы обойти. Под конец я и не старался получить от него подпись. Договорившись об условиях, мы просто пожимали друг другу руки. Он был от природы сентиментален, как большинство евреев. Будучи в Англии, много времени проводил в Марлоу – там сейчас стоит статуя в его честь. У меня был дом на холмах, а Хэддон Чемберс снимал коттедж в беркширской деревушке Бишем. В солнечный день случалось застать Чарлза сидящим на собственной могиле – вернее, на том месте, где, как он надеялся, когда-нибудь будет его могила: симпатичный кусочек английской почвы, шесть футов на четыре, под раскидистой ивой, что склонялась над рекой. Когда мы в последний раз виделись, он все еще вел переговоры по поводу этого участка. На следующий год он погиб, когда немецкая субмарина затопила «Лузитанию».

Читать свою пьесу режиссеру или директору театра – тяжелое испытание для автора. Как-то Аддисон Брайт в двенадцать часов ночи прислал мне записку, чтобы я немедленно явился к нему домой и прихватил с собой свою комедию «Дик Холвард» – в то время Содерн как раз поставил ее в Америке. Меня ждали сэр Герберт Бирбом Три и миссис Пэт Кэмпбелл. Три пригласил миссис Пэт в качестве «звезды» на открытие сезона в Театре Ее Величества, до него оставалось три недели, а пьесу еще не выбрали. Три припас полдюжины пьес, но миссис Пэт все их отвергла одну за другой. Чтение происходило мучительно. Три не сводил глаз с лица миссис Пэт, и ему явно было все равно, что за пьесу я принес. Я невольно следовал его примеру и плохо соображал, что читаю. Миссис Пэт то смеялась, то зевала, но большую часть времени сидела молча. Когда я закончил, уже светало. И все-таки миссис Пэт сказала, что ей нужно подумать. На лестнице Три поблагодарил меня за приятный вечер. Среди всех режиссеров, кому я читал пьесы, самый вежливый – Фредерик Гаррисон. Если пьеса ему нравится, он не

скупится на похвалы, а если нет, всегда дает почувствовать, что вина тут его, а не автора. Фромен до самого конца никак не показывал своего впечатления от пьесы. Оставалось надеяться, что он не заснул, хотя уверенности не было. Он презирал тех, кто притворяется, будто знает, чего хочет публика.

– Я отвечу, примут ли пьесу, после того, как увижу выручку за неделю, – говаривал он. – Другие, может, и скажут заранее, но они дураки.

Первое представление еще ничего не значит. На премьеры ходит особая публика. Они, как древние греки, жаждут новизны. А вот обычные зрители верны старым любимцам. Встретил я как-то Артура Ширли. В тот вечер в театре «Друри-Лейн» давали премьеру его новой оригинальной драмы.

Я спросил:

– Шансы на успех хорошие?

Он ответил:

– Неплохие. В пьесе три великолепных сцены.

– Замечательно! Думаешь, публике они понравятся?

– Должны, – ответил он. – Всегда нравились.

Мне приятно сообщить читателям, что пьеса продержалась до конца сезона.

Свою последнюю пьесу для Чарлза Фромена я делал совместно с Хэддоном Чемберсом. Мы получили за нее изрядную сумму, но спектакль так и не состоялся. Главным комическим персонажем мы вывели лондонского лорд-мэра, и Фромена это смутило. Он, как это свойственно иностранцам, считал, будто лорд-мэр Лондона – второе лицо в государстве после короля, и боялся, что его появление на сцене рядом с простыми смертными заденет чувства британской публики. Грустно это. Он был славный парень и не лишенный оригинальности. Мы думали, у него есть чувство юмора.

Хэддона Чемберса дамы называли «опасным», но моя жена считала, что они наверняка сами виноваты. Обе наши дочери его обожали. Старшая, почти тринадцати лет, говорила: главное – не давать ему отклоняться от серьезных тем. Они учили его играть в крокет, рассуждали о лошадях и религии, а он рассказывал им об австралийских беглых каторжниках и о детстве мадам Мельбы.

«Новые светильники вместо старых» я написал для Сисси Грэхем. Она поставила пьесу в театре Терри. Часть денег внес Горацио Боттомли. Мы все его любили. Он не раз приглашал нас на обед в театр «Гейети» и рассказывал о том, как в детстве продавал газеты, работая на своего дядюшку, Чарлза Брадло, и как скопил свои первые полкроны. Старого поверенного семьи играл Пенли. На репетициях у него получалось замечательно. Пенли был действительно прекрасным актером. Если бы он так и сыграл, как репетировал, на него посмотрели бы по-новому, но в последнюю минуту он струсил и на премьере был просто обычным Пенли, к которому все привыкли. Другие роли исполняли Фред Керр, Гертруда Кингстон и Бернард Партридж. Но самый удивительный участник той постановки – наш распорядитель, сам тоже игравший на сцене. Жаль, не могу вспомнить его имени. Оно достойно быть записанным в историю как имя человека, который обжулил Боттомли.

– Должно быть, он с самого начала подделывал бухгалтерские счета, – говорил потом Боттомли, скорее сокрушаясь, чем негодуя. – И так ловко, что я ничего не могу доказать, хотя все как на ладони! Каков мерзавец!

Позже он получил деньги от «Дейли мейл» за вранье о Ллойд Джордже. Возмущенная «Дейли мейл» обвинила его в мошенничестве. Если подумать, этот человек был не лишен чувства юмора.

Еще он был потрясающим оратором. Помню собрание акционеров, созванное ради

единственной цели – разоблачить и обвинить Боттомли. Половина присутствующих рвались его линчевать. Он говорил три четверти часа, со слезами на глазах, и к тому времени, как закончил речь, успел подсунуть им новую компанию. Бóльшая часть акционеров тут же на нее и подписалась. Боттомли был по-своему добродушен и прекрасный собеседник. Однажды в трудный период он мне одолжил тысячу фунтов, не требуя ни процентов, ни обеспечения.

Огастес Дейли повез «Новые светильники» в Америку. В спектакле играли Ада Рихан и Джон Дрю. Ада была великолепна в ролях страстных натур. Ее Катарина в «Укрощении строптивой» потрясала. В начале – торнадо, а к концу – легкий летний ветерок, шелестящий среди ив. А Джон Дрю в шекспировских ролях всегда напоминал мне «Янки при дворе короля Артура». Позже Дейли попросил меня адаптировать для сцены «Честь» Зудермана. До того дня меня изумляла лингвистическая образованность среднего драматурга, готового по первому требованию «адаптировать» со шведского, русского и любого другого языка. Сам я немецкого почти не знал, в чем и признался.

– Ничего страшного, – сказал Дейли. – Я вам пришлю подстрочник.

Для подстрочных переводов нанимали какого-нибудь безобидного иностранца, владеющего нужным языком, по шиллингу за страницу.

Заглушив слабый голос совести, я согласился покромсать пьесу Зудермана, лишь бы не обидеть миссис Гранди, царившую в то время на английской и американской сцене. Бедняжка! Сколько раз она, должно быть, перевернулась с тех пор в могиле! Джонс пошел еще дальше, адаптируя «Кукольный дом» Ибсена. В последнем акте Хельмер берет вину за подлог на себя, Нора бросается в его объятия с криком: «Муж мой!» – и тут опускается занавес. Оркестр играет «Я люблю Чарли». Таким было первое знакомство британской театральной публики с Ибсеном. Очаровательный автор, решили зрители.

«Макхаггиса» я написал в соавторстве с Иденом Филпотсом. Пенли согласился участвовать, но заболел и передал роль Уидону Гроссмиту. Наша героиня шокировала критиков тем, что ездила на велосипеде. В те дни это считалось неженственным. Ах, в те дни так много всего считалось неженственным… Наверное, трудно было тогда быть женщиной. Еще она курила сигарету. В нас, видно, дьявол вселился. Прежде сигареты курили только авантюристки. В последнем акте она сказала «черт». Два раза! Бедный Клемент Скотт чуть не выпал из своей «Дейли телеграф». Правда, и раньше некая дама на сцене говорила «черт» (кажется, миссис Хантли). Но то был перевод с французского! Никому и во сне бы не приснилось, что настанет день, когда миссис Пат Кэмпбелл чертыхнется. Но на дворе, говорят, век прогресса. Страшно подумать, что еще могут произнести вслух. Наша героиня стоила мне друга. По чистой случайности мы окрестили эту вертихвостку Эуреттой; точно так же звали и мою добрую приятельницу, актрису Эуретту Лоуренс. Она так и не поверила, что мы не нарочно. Никогда больше со мной не разговаривала. Мне до сих пор жаль. Имена для не совсем безупречных персонажей всегда выбираешь со страхом и трепетом. Когда поставили «Миссис Эббсмит», некая миссис Эббсмит покончила с собой. Она решила, что Пинеро откуда-то узнал ее историю и использовал в своей пьесе.

Нам с Филпотсом не повезло. «Макхаггис» пользовался успехом, но Пенли неожиданно закрыл свой театр. Его недомогание оказалось душевной болезнью.

Лучше всего в связи с «Макхаггисом» мне запомнилось, как Ривз Смит изображал жизнерадостного идиота. Великолепный был актер. Вскоре уехал в Америку, и они его уже не выпустили. Я встретился с ним, когда приехал туда читать лекции. Он играл вместе с Назимовой. Я прошел к нему за кулисы.

– Прости, – сказал я, как только гример покинул комнату, – но не слишком ли громко ты играешь?

Ставили Ибсена – если я правильно помню, «Строителя Сольнеса».

– Думаешь, я по своей воле? Здесь новый метод такой: все орут во всю глотку, кроме главной звезды. Зрители говорят: «Как она играет – негромко, естественно! Какой контраст!» Ловко. Это Джиллетт придумал.

Посмотреть на Аллу Назимову сбегался весь Нью-Йорк. Я не без труда узнал в ней ту тихую, непритязательную девочку, что когда-то вместе с мужем постучалась в наши двери (тогда они писали свою фамилию «Назимофф»). Они привезли рекомендательное письмо от наших друзей из России. У них вышли какие-то неприятности с охранкой, и они сбежали, едва успев собрать дорожную сумку. Алла говорила по-немецки, а ее муж – только по-русски. С виду совсем дети, причем он по-своему не менее красив, чем она. В тот первый вечер мы научили его одной английской фразе – сперва он произнес ее по-русски, не сводя глаз с моей жены. Алла перевела на немецкий, и тогда мы объяснили, как это будет по-английски: «Вы мне напомнили мою первую любовь». Он повторял, пока не научился произносить без ошибок. Позже несколько женщин говорили мне, что он, кажется, знает по-английски всего одну фразу. Мы стали его поддразнивать по этому поводу. Он ответил, что не врет, – все красивые женщины напоминают ему его первую любовь. Зато последняя любовь! Такой, как она, больше нет! И он, преклонив колено, поцеловал руку Аллы Назимовой. Он был славный, немного ребячливый. Я познакомил их с Три, и мы устроили для них спектакль-бенефис в театре «Хеймаркет». Позже я привлек к делу Фромена, он взял их под свое крыло и повез в Америку. Мальчик зачем-то вернулся в Россию и там погиб при погроме[16]. Когда мы встретились в Нью-Йорке, Алла первым делом спросила, как поживает «мадам Нидлс» – так она называла нашего фокстерьера. Они очень подружились и часто играли вместе в «найди туфельку». Мадам Нидлс выходила из комнаты, а мадам Назимова тем временем прятала свою туфельку и только потом открывала дверь. Всего один раз Нидлс не сумела найти туфельку, и то лишь потому, что Алла побрызгала на нее духами. Нидлс ясно высказала на собачьем языке, что так нечестно, и больше в тот вечер играть не захотела.

Мы с Филпотсом написали вместе еще одну пьесу – «Путь ханжи». Однажды вечером я прочел ее старому еврею, знакомому Фанни Браф, в его квартире на Пиккадилли. «Почитай ему после обеда», – посоветовала она. Милый сентиментальный толстяк так плакал в трогательных местах! Потом крепко пожал мне обе руки и тут же, не сходя с места, подписал договор. Все подробности он предоставил решать мне. Я выбрал Театр комедии и собрал труппу, не считаясь с расходами: среди прочих, там были Фанни Браф, Тедди Райтон, Сирил Мод и Лина Эшвелл в сиянии молодости и красоты. Бернард Партридж должен был играть бойкого журналиста, из тех, что все на свете знают и не стыдятся этого. Забавный персонаж, и Партридж сыграл бы его блестяще. Увы! Я послушался совета. Если автор начинает прислушиваться к советам, он пропал. На второй репетиции директор театра отводит вас в сторонку. Он обсудил пьесу со своей тещей. Теще очень понравилось, но она предлагает в одном месте кое-что изменить. Вернее, в двух. Вы объясняете, что для этих изменений придется переписать всю пьесу.

– Так перепишите! – отвечает он. – Это лучше, чем полный провал. Я для вашего же блага советую.

---

[16] Алла Назимова (Аделаида Яковлевна Левентон, 1879–1945) – американская актриса театра и кино, родилась в Ялте, училась у К.С. Станиславского в школе актерского мастерства при Московском Художественном театре. В 1904–1906 гг. Назимова гастролировала в Берлине, Лондоне и Нью-Йорке с легендарным русским драматическим актером Павлом Орленевым (1869–1932), их связывали бурные романтические отношения. В 1906 году Назимова подписала контракт с театральным продюсером Ли Шубертом, а Орленев вернулся в Россию. Автор «изобрел» его дальнейшую судьбу, видимо, для драматического эффекта.

Режиссер не согласен с тещей директора.

– Уберите совсем соперницу! Пьеса станет более легкой, и сэкономим на актерском составе. – Он берет вас под руку и задушевно продолжает вполголоса: – Если бы тут был только вопрос искусства, я бы сказал, что вы правы. К сожалению, мы вынуждены считаться с великой британской публикой. У меня на двадцать лет больше опыта…

И так далее.

Потом на репетицию заглядывает адвокат синдиката спонсоров. Споткнувшись о кошку, он добирается до сцены. Его вдруг осенило, что именно нужно переделать, чтобы спасти пьесу. Назавтра вас у выхода останавливает швейцар. Он тоже много думал, как бы вам помочь. Все они знают, чего хочет публика и как ей это дать, один только автор погряз в невежестве. Я однажды нечаянно услышал, как режиссер обсуждал со своим приятелем пьесу Барри.

– Все без толку, – жаловался режиссер. – Он не слушал моих советов! Конечно, какой-никакой успех пьеса имела, но вы представьте, как могло быть!

По поводу самой пьесы я научился стоять насмерть, но в режиссуре был еще новичком и прислушался к Джорджу Хотри. Он хотел как лучше. Он всегда хотел как лучше; отличный был парень во многих отношениях. Он откопал гения, которого буквально Господь создал специально для того, чтобы сыграть нашего журналиста. Партридж мой друг, он не захочет встать на пути к моему грандиозному успеху… к грандиозному успеху Филпотса… ко всеобщему грандиозному успеху. В двух словах печальная правда такова: я поговорил с Партриджем, и он, конечно, не стал спорить. Но он меня так и не простил, а мне всю жизнь было стыдно за эту историю.

Клуб драматургов создавали с надеждой, что он перерастет в профсоюз драматургов, нечто в духе французского *Société des Auteurs Dramatiques* [17]. Это было бы очень хорошо. Известный автор еще может хоть как-то постоять за себя, хотя и он не всегда уверен, что его не обирают, особенно когда имеет дело с синдикатами. А уж начинающих драматургов стригут как овец и безжалостно обманывают. Часто руководство театра покупает за несколько фунтов пьесу, на которой потом наживет десятки тысяч. Автору говорят: «Не нравится – забирайте свою пьесу», и молодой драматург, не чающий как бы увидеть поскорее свое произведение на сцене, подписывает бумаги. Случается, что автору повезет, и в будущем все окупится сторицей, а чаще пьеса оказывается его первым и единственным успехом. Раньше мы ворчали на актера-распорядителя, а теперь жалеем, что его уже не вернуть. У него были свои недостатки, но по крайней мере он был человеком искусства. Нынешние театральные боссы, что всем заправляют на английской и американской сцене, думают только о том, как угодить сиюминутным вкусам публики. Текст пьесы они воспринимают как сырье, которое можно кромсать, дополнять, перекраивать, – или поручить это дело «специалистам» по столько-то за каждый акт. Они бы и «Гамлета» сократили до полутора часов, добавили комические реплики для призрака, а под занавес Гамлет у них нежно обнимал бы Офелию.

Актеры и актрисы жалуются, что мало пишут пьес. «Где новые драматурги?» – недоумевают они. Ответ простой: для авторов, которые хоть немного себя уважают, дорога к сцене практически перекрыта. В свою прошлую поездку в Америку я спросил известного писателя, почему он не пишет для театра. В его таланте сомневаться не приходилось.

– Духу не хватает, – ответил он. – Я не смогу смотреть, как мою пьесу калечат и лишают всякого смысла дикари из синдиката. Просто сердце не выдержит.

Одно время в Клубе драматургов подумывали создать собственный театр. Идея была

---

[17] Общество драматургов (*фр.*).

вполне здравая, будь у нас побольше веры. Возможно, такой театр когда-нибудь еще появится. Задумано было так: десять – двенадцать ведущих драматургов, имеющих счет в банке, организуют компанию, берут в аренду театр и ставят в нем свои собственные пьесы. Впоследствии общество становится открытым для всех. Нам с Сесилом Рейли поручили собрать сведения о том, насколько такой план реален. Я отправился в Сити и выяснил, что за финансовой поддержкой дело не станет. Делец из Сити – прирожденный игрок, а театр в качестве вложения денег его особенно привлекает, поскольку дает немедленную прибыль. Мы могли бы снять «Савой» за восемьдесят фунтов в неделю. Я и сейчас считаю, что мы упустили прекрасную возможность. Главная опасность, что подстерегает вновь созданный театр, – нехватка пьес. У нас их были бы десятки, причем написанные опытными драматургами. А руководить театром – дело простое, проще некуда. Полгода, пока шла моя пьеса «Путь ханжи», я руководил Театром комедии. Все, что стоит об этом знать, я изучил в течение первой недели. Брэм Стокер, администратор у Генри Ирвинга в «Лицеуме», научил меня «бумажной работе». В то время на новую пьесу практически всегда поначалу ходили неохотно. Приходилось «добирать» публику. Обычно для этого каждое утро раздавали множество контрамарок. Достойные бедняки получали доступ в театр. В ложах и партере вечернее платье было обязательным, но значение этого термина весьма растяжимо, когда речь идет о женском наряде, и часто зрительный зал отчаянно напоминал паноптикум миссис Джарли. Брэм Стокер в те ранние годы очень старался поддерживать высокий стиль. Вооружившись «Книгой пэров Бэрка», он предоставлял бесплатный доступ в театр исключительно жителям Мейфэра и Кенсингтона, да, быть может, Бейсуотера – той его части, что ближе к парку. Мало кто отказывался от приглашения. Зрительный зал «Лицеума» блистал драгоценными украшениями, а вереница экипажей, дожидающихся владельцев, тянулась до самого Ковент-Гардена. Я придерживался того же метода, и репортеры «Морнинг пост» в поте лица перечисляли аристократов, оказавших накануне Театру комедии честь своим присутствием.

Вообще говоря, писать пьесы в соавторстве – большая ошибка. Как в старину на велосипеде-тандеме, каждый считает, что работает за двоих. Последним моим напарником был Джастин Маккарти, но та пьеса просто напрашивалась на то, чтобы быть написанной в соавторстве. Тема пьесы – реинкарнация. Герой и героиня встретили друг друга во времена Прометея, и он научил ее возжигать огонь. Миллион лет спустя они оказываются в Афинах. Он Сократ, она рабыня. Чем они занимались в промежутке, никого не волнует. Под конец они попадают в наши дни – то есть время, когда пьеса была впервые поставлена на сцене. Я обратился с этой идеей в Нью-Йорк, к Филлис Нильсон-Терри, и она страшно загорелась, но в результате ничего из нашей затеи не вышло. В этом беда автора-драматурга: год труда, и никакого результата. Или пьесу все-таки поставят, но осмеют и через год забудут. Правда, все бесчисленные неудачи окупает один невероятный успех. Но невезучие пьесы мы почему-то любим больше.

Первым моим соавтором был Аддисон Брайт. Мы написали пьесу для мисс Истлейк. Помню, как Брайт читал ее Уилсону Баррету в гримерной в Бирмингеме, после спектакля «Клавдий». Баррет еще не переоделся, и в икрах обеих ног у него торчало по длинной шляпной булавке – мисс Истлейк их воткнула, поднимаясь вслед за ним по лестнице, а он ничего не замечал, пока не попытался положить ногу на ногу. В первом акте героиня мисс Истлейк переживала большое горе – когда занавес опускался, она захлебывалась душераздирающими рыданиями. На репетициях она выходила в начале второго акта все еще в слезах. Брайт ей объяснял, что по пьесе прошло шесть лет и в авторской ремарке сказано: «Входит, смеясь и болтая».

– Я знаю, – отвечала она, по-прежнему заливаясь слезами. – Глупость такая! Ничего не

могу с собой поделать. Просто не успеваю прийти в себя.

Мы боялись, как бы то же самое не произошло и на премьере. На всякий случай переделали пьесу так, чтобы второй акт начинался в годовщину того давнего несчастья, и написали, что героиня входит «задумавшись».

Они с Анни Хьюз дебютировали в театре «Критерион», в один и тот же вечер, и обе с потрясающим успехом. Кажется, играли пьесу Маккарти. Когда я в прошлый раз видел мисс Истлейк, она содержала недорогой пансион на Гауэр-стрит. Из-за болезни бедняжка потеряла свою красоту и чудовищно располнела. Держалась она очень хорошо, даже лучше, чем прежде: не падала духом и не теряла жизнерадостности. Постоянно подшучивала над собой. В пьесе, которую я написал для Анни Хьюз, впервые на английской сцене фигурировал телефон. Об этом много говорили; критики обвиняли меня в ложном реализме. Сейчас я жалею, что сделал это, но наверное, кто-нибудь другой все равно бы додумался.

Я написал три пьесы для Мари Темпест. В двух она так и не сыграла, а в третьей сыграла и потом жалела, хотя сама была виновата. Ей хотелось серьезную пьесу – я и написал серьезную. Прочел ей, она была в восторге. Пьеса называлась «Эстер Кастуэйс». Мари в роли героини была великолепна, и на премьере ей бешено аплодировали. Но светская публика, разумеется, осталась недовольна. Мы могли бы это предвидеть – актрисе ни за что не позволят сменить привычный образ. На репетициях мы с ней не ладили. Я ходил в красном костюме. Мне нравилось, а она почему-то раздражалась. Я был упрям и отказывался расстаться с костюмом, хотя Мари предлагала даже купить его у меня, чтобы сжечь. В этой пьесе на сцену впервые вышла моя дочь, и выступила удачно. Мари она нравилась. Мари вообще любила опекать молоденьких девушек и всегда была мила с женщинами, а вот с мужчинами, насколько я понял, у нее не ладилось. Жаль, что привычное амплуа приковало ее к игривым ролям и платьям с рюшечками, – она могла бы стать великой актрисой. Я начал немного лучше понимать женскую психологию после того, как Лила Маккарти мне рассказала, что, получив новую роль, прежде всего мысленно наряжает свою героиню. По ее словам, невозможно понять, что думает и чувствует женщина, пока не представишь себе, как та одета. От одежды идешь вглубь. Точно так же ко мне пришел Незнакомец из рассказа «Жилец с четвертого этажа». Я следовал за чуть сутулой фигурой по улице, где клубился туман. Незнакомец то и дело останавливался, разглядывая двери домов. Лица его я не видел. Мне не давало покоя то, как он одет. В самой одежде ничего необычного не было, и я не понимал, почему она кажется мне примечательной. Дойдя до угла, он затерялся в тумане, а я все думал: обернись он, какое у него было бы лицо? Бродя по зимним улицам, я не мог выкинуть его из головы. Постепенно из этой причудливой одежды вырос мой персонаж.

«Мисс Гоббс» (или «Поцелуй Кейт», как пьеса называлась первоначально) поставил в Америке Чарлз Фромен с Анни Расселл в роли Кейт и очаровательной миссис Гилберт в роли тетушки. Эта пьеса впервые принесла мне хорошие деньги, если джентльмену позволительно упоминать такие подробности. Она была хорошим детищем, благослови ее Бог. Княгиня Павлова представила ее в России, а сейчас показывает в Италии. В Германии «Мисс Гоббс» имела большой успех. Я тогда жил в Дрездене. Один из саксонских придворных чинов привез мне в большом конверте поздравления от кайзера, так что пьеса, видимо, была не совсем плоха. И вот пример того, насколько простые люди не догадывались о надвигающейся Великой войне: мою пьесу «Большая игра» давали в театре «Хеймаркет» за шесть недель до того, как заговорили пушки. Действие происходит в Германии, один из центральных персонажей – немец, очаровательный старый профессор. Немецкие студенты в белых шапочках поют немецкие народные песни и пьют светлое пиво. Специально для этого спектакля написали музыку в немецком стиле. Главный герой учился в Германии, а возлюбленный матери героини,

ее соответчик по делу о разводе, был австрийцем. Целый месяц мы репетировали, не подозревая, что правительства Европы все как одно ведут тайные приготовления, которые обрекут нашу пьесу на провал. Настоящий заговор!

Пьесу «Фанни и трудности с прислугой» я написал для Мари Темпест. Когда закончил, она уже была занята в другой постановке, а Фромен не хотел ждать, и мы отдали роль Фанни Уорд. На мой взгляд, из нее вышла совершенно восхитительная «Фанни», а дворецкий в исполнении Чарлза Картрайта был выше всяких похвал. Горничную играла Альма Мюррей. Я не видел ее почти двадцать лет. Она одной из первых показала Ибсена на лондонской сцене. Если бы не это, могла бы уже иметь свой собственный театр и быть одной из ведущих актрис, но в те времена Ибсена люто ненавидели. Актеров, запомнившихся в ролях из его пьес, не прощали. Почему-то «Фанни» провалилась в Лондоне, и Фанни Уорд повезла спектакль в Америку. Там пьеса имела громкий успех под названием «Леди Бэнток». Американцы обожают красивые названия. Потом ее переделали в музыкальную комедию, и в таком виде она продержалась на сцене четыре сезона. Я согласен с Гамлетом: актеры не должны произносить больше речей, чем задумано автором, – но, признаюсь, шуточка, придуманная американским актером, исполнившим роль режиссера из мюзик-холла, довольно затейлива. Он видит на столе Фанни раскрытую Библию, оставленную дворецким и дядюшкой. Перелистывает страницы с несколько удивленным видом. Его приятель спрашивает:

– Что за книга?

– Не знаю, – отвечает он. – Что-то о евреях.

«Фанни» перевели и поставили на сцене почти во всех европейских странах, кроме Португалии.

«Кухарку» я сперва назвал «Знаменитость», а если бы с самого начала назвал «Кухарка», режиссер непременно пожелал бы переделать в «Знаменитость». Эта пьеса доказала мне, увы, что отзывы критики никак не влияют на успех или неуспех спектакля. Больше ни одно из моих произведений не удостоилось таких безудержных похвал. Раскрыв наутро газету, я глазам своим не поверил. Обычно, если премьера прошла не совсем катастрофически, пишут, что спектакль «спасли» актеры, но на этот раз критики благосклонно упомянули и автора. Мы решили, что пьеса продержится рекордно долгий срок. Я заказал новый фрак. А нужно бы мне вспомнить слова Чарлза Фромена и дождаться сборов за неделю. Но за границей и «Кухарку» тоже ждал успех, так что я утешился известной пословицей насчет пророка.

Репетиции – мучительное время. У всех нервы на пределе. Дружбу всей жизни может сгубить вопрос о том, должен ли актер, прежде чем признаться героине в любви, отступить на три шага вправо и остановиться в центре сцены, взявшись левой рукой за спинку стула, или ему следует открыть свои чувства, стоя на коврике перед камином и опираясь левым локтем на каминную полку. Автор считает, что нужно встать на коврик, – только так он сможет передать героине всю глубину и силу своей страсти. Режиссер убежден, что истинный джентльмен вначале обойдет вокруг стола и будет говорить, спрятавшись за спинку стула. Ситуацию спасает актер: он «чувствует», что сделать это можно, только находясь за дальним левым углом стола.

– Ну что ж, мой мальчик! Если для вас это так важно… – говорит режиссер. – В конце концов вам играть.

– А знаете, – подхватывает автор, – пожалуй, он прав. Так действительно лучше.

Репетиция продолжается, и через пять минут вспыхивает новый спор: будет ли естественней для отца проклясть любимую дочь до или после того, как она снимет шляпку?

В старину в моде было движение. Герой и героиня вели пылкий диалог, сидя по разные стороны рояля. По истечении минуты постановщик восклицал:

– Так, дорогие мои, давайте-ка шевелиться! Больше жизни! Вы же не приклеены к стульям!

Герой с героиней вставали и менялись местами.

В наши дни маятник качнулся слишком далеко в сторону другой крайности. Помню, как-то на репетиции исполнительница главной женской роли вдруг вскочила и затопала ногами.

– В чем дело? – спросил режиссер.

– Ничего страшного, через минуту буду в порядке, – отвечала она. – Просто ноги затекли.

Самое жуткое испытание выпало на мою долю в связи с музыкальной комедией, которую я написал для Артура Робертса, – он тогда играл у Левенфельда в Театре принца Уэльского. Австриец Левенфельд сколотил состояние на торговле элем фирмы «Копс». Двадцать лет назад этот безалкогольный напиток пользовался большой популярностью, пока налоговая служба не установила, что алкоголя в нем содержится больше, чем в обычном пиве, какое подают в трактирах. Левенфельд очень обижался на лондонских критиков за то, что они не берут чеки.

– Почему нет? – негодовал он. – Объявление в солидной газете стоит сто фунтов. Я дал бы критику десять – и ему выгодно, и мне экономия.

Он не сомневался, что такое время еще придет.

Артур Робертс отвел меня в сторонку.

– Напиши мне роль с капелькой пафоса. Ну, ты понимаешь, что я имею в виду. Веселую, но с двойным дном. Чтобы зрители потом говорили: «Я всегда знал, что Артур умеет насмешить, но черт возьми, я не думал, что от его игры могут быть слезы на глазах!» Понимаешь, о чем я?

Я уехал за город и взялся за работу. Сюжет казался мне интересным. Там были моменты, когда, если сыграть как надо, перехватывает горло. Правда, заканчивалось все хорошо. Персонажа я сделал трактирщиком, получившим в наследство отель. Робертс на чтении не присутствовал. На первой репетиции он отвел меня в уголок и сказал:

– Слушай, у меня идея по поводу роли. Пусть я буду молодой фермер. – Он блестяще изобразил сомерсетширский деревенский выговор. – Такой вот простачок. И во втором акте…

– Не получится, – возразил я. – Ты владелец гостиницы в Мейденхеде.

– Отлично! Ты просто уменьши гостиницу и назови ее фермой!

Я пытался его урезонить, но он уперся. Просто сам не свой был, так хотел сыграть фермера. По его описанию роль выходила забавной и небанальной. Я просидел одну-две ночи и превратил персонажа в фермера. Худо-бедно провели пару репетиций, и тут его вновь озарило. Он захотел быть детективом, выдающим себя за официанта-итальянца.

– Что тут трудного? У старухи стащили драгоценности, я влюблен в дочку. Бестолковые полицейские не могут поймать вора, и я берусь за расследование ради возлюбленной.

Для этого требовалось переписать половину акта. Я переписал. Три дня спустя Артур пожелал стать французским маркизом, который в эмиграции вынужден давать уроки англичанам в Сохо.

– Как ты не понимаешь? – горячился он. – Тут будет место пафосу! Я заставлял зрителей смеяться, теперь я заставлю их плакать. Разнообразие, вот что нам нужно!

Самого спектакля я так и не увидел. Говорили, что Артур совершенно очаровал публику. Критики очень хвалили его разносторонность. За меня пьесу дописывал Адриан Росс (Артур Роупс). Он работал потрясающе. Записывал сцену – и очень хорошую сцену, – пока Артур Робертс разыгрывал ее прямо перед ним. Назавтра Артур забывал все вчерашнее, и Роупс писал для него новую сцену.

«Жильца с четвертого этажа» я написал для Дэвида Уорфилда. Вначале это был рассказ. Издатель Джон Мюррей подал мне мысль сделать из него пьесу, а когда я увидел Уорфилда в

«Учителе музыки», мне показалось, что он – идеальный актер для этой роли. В нем нет того достоинства и властности, как у Форбс-Робертсона. Его Незнакомец побеждал бы мягкостью и убеждением. Во время американского турне я попросил своего литагента, мисс Марбери, связаться с Беласко, импресарио Уорфилда. В пульмановском вагоне где-то между Вашингтоном и Нью-Йорком я обрисовал ему свою идею. Она его захватила. Мы оба не были уверены, как пьесу примут зрители. Мне казалось, я смогу написать так, чтобы не задеть ничьих чувств. Беласко решил довериться мне, и, вернувшись в Англию, я приступил к работе. Писать было нелегко: пьеса была из тех, которые нужно не придумать, а прочувствовать. Я жил в пустынной части Чилтернских холмов, вокруг расстилались бескрайние просторы – это помогало настроиться на нужный лад. И вот наконец пьеса готова. Я вернулся в Америку для постановки «Сильвии» – пьесы, которую я написал для Грейс Джордж, – и взял с собой рукопись «Четвертого этажа». Поздно вечером в театре Беласко в Нью-Йорке я прочел пьесу Уорфилду и Беласко. Мы были одни в здании, а после отправились ужинать в клуб Уорфилда. Было уже три часа утра, и в ресторане не нашлось ничего съедобного, кроме маринованных огурцов и холодной говядины. Мы сами не замечали, что говорим шепотом. Пьеса произвела сильное впечатление. Подозреваю, что позже Беласко струсил. Мы заключили договор на следующее утро в кабинете мисс Марбери. Беласко попросил меня, когда вернусь в Англию, встретиться с художником Перси Андерсоном – пусть нарисует эскизы действующих лиц. Когда он работал над рисунками, к нему в мастерскую в Фолкстоне зашел живший по соседству Форбс-Робертсон. Форбс заинтересовался рисунками, и Андерсон показал ему пьесу.

Форбс написал мне, если вдруг договоренность с Беласко почему-либо отменится, чтобы я обращался к нему. Письмо пришло на следующий день после того, как я получил письмо от Беласко: он давал понять, что хотел бы, если возможно, освободиться от контракта. Вместо ответа я отправился к Форбс-Робертсону на Бедфорд-сквер и прочел рукопись им с женой. Форбс тоже занервничал, но Гертруда Элиот отмела все сомнения, и это решило дело.

Мы собрали, по-моему, идеальный состав исполнителей. Эрнест Хендри в роли старого букмекера, Йен Робертсон в роли майора, Эдвард Сэсс в роли еврея, Агнес Томас в роли миссис Шарп и Хейди Райт в роли молодящейся дамы – все были великолепны. Маленькую служанку сыграла Гертруда Элиот. Я поначалу опасался, что красота и изящество будут ей мешать, но она успешно преодолела эти недостатки и даже на репетициях сумела наделить бедную замарашку одухотворенностью, совершенно ее преображавшей. На гастролях в провинции эту роль играла моя дочь, а позже и в Лондоне, во время войны. Это были две лучшие Стейши на моей памяти. Планировалось, что Вивьен будет играть Лила Маккарти. Поскольку Гренвилл-Баркер был в Америке, Лила обратилась за советом к Бернарду Шоу. Он прочел пьесу и сказал, что за такую роль надо хвататься обеими руками. Она надеялась, что сумеет отделаться от текущего ангажемента, но не получилось, и пришлось нам искать другую актрису.

– Ищи кого-нибудь покрасивее, – сказал Форбс. – В пьесе шесть персонажей женщин. Четыре из них уже немолоды, а моей жене приходится маскироваться. Должна же быть хоть одна красавица!

Я вспомнил об Алисе Кроуфорд. Время уходило. Мы отправили ей телеграмму. Нам сообщили, что она только что уехала на бал в отель «Пиккадилли».

– Поезжай туда, – сказал Форбс.

Я отправился, в чем был, – в синем саржевом костюме с воротничком, который не менял с восьми утра, и в коричневых ботинках. В бальном зале я произвел фурор. Скорее всего меня приняли за полисмена в штатском. Я углядел Алису Кроуфорд и вызвал ее в коридор. За ней вышел некий джентльмен и спросил, не может ли он быть чем-нибудь полезен. Кажется, он

решил, что за меня нужно внести залог.

Пьесу поставили в Харроугейте. Публика вообразила, что это фарс. Им же сказали, что пьесу написал автор «Троих в одной лодке»! Вечером мы с Робертсонами ужинали в печали. Зато в Блэкпуле пьесу приняли восторженно. Форбс телеграфировал мне:

«Ничего страшного. В Блэкпуле все поняли, понравилось».

На премьере в Лондоне, когда опустился занавес, последовало мертвое молчание и продолжалось так долго, что все решили – пьеса провалилась. Моя жена заплакала. И вдруг загремели овации и крики «браво». Жена утерла слезы.

Меня самого там не было. Я избегал ходить на премьеры своих пьес с тех пор, как Уиллард поставил одну из них в театре «Гаррик». Мне показалось, что зрители единодушно аплодируют, но стоило выйти на поклоны, как меня освистали. Говорят, если хочешь слышать аплодисменты, терпи и свистки. Может, это и логично, но неразумно. Все равно что сказать: если ты не против, чтобы тебя хлопали по плечу, терпи, если дадут пинка под зад. Вспоминается премьера одной из пьес Джонса. Мнения зрителей разошлись. Джонс не вышел на поклоны, и правильно сделал. Выйдя на улицу, я нечаянно услышал слова одного критика с галерки:

– Мог бы выйти на казнь, как мужчина!

Уильям Томас Стед по воскресеньям собирал в своем доме на Смит-сквер интересных людей. Вскоре после премьеры «Четвертого этажа» я получил от него приглашение обсудить «Евангелие от Джерома». В другой раз мы обсуждали, какова главная движущая сила человечества, и пришли к выводу, что это ненависть: ненависть одной нации к другой, религиозная вражда, политическая рознь. Тогда как раз набирало силу движение суфражисток, и к списку добавилась ненависть между полами. Стед жил и умер убежденным спиритуалистом, несмотря на то, что единомышленники однажды сильно его подвели. Они уговорили его издавать ежедневную газету, уверяя, что успех ей обеспечен. Затея с треском провалилась, но Стед их простил.

Форбс-Робертсон сомневался, везти ли «Четвертый этаж» в Америку. На этом настояла его свояченица, знаменитая американская актриса Максин Элиот. В ее театре в Нью-Йорке пьеса и шла поначалу.

Мэтисон Лэнг повез пьесу на Восток. В Китае после спектакля к нему подошел поблагодарить весьма почтенный мандарин.

Он сказал:

– Если бы этой ночью я задумал совершить злое дело, я бы не смог. Пришлось бы отложить до завтра.

Глава VIII
Я становлюсь редактором

«Лентяй. Под редакцией Джерома К. Джерома и Роберта Барра. Ежемесячный иллюстрированный журнал. Цена шесть пенсов». Идея принадлежала Барру, название – мне. Барр превратил британскую редакцию издательства «Детройт фри пресс» в процветающее предприятие, и ему захотелось самому что-нибудь издавать. Решив привлечь к работе известного автора, он поначалу колебался между мной и Киплингом. Выбрал меня, думая, – как он говорил позже с горечью, – что мной легче управлять. Его отпугнул упрямый подбородок Киплинга. Киплинг к тому времени уже два года жил в Лондоне и совсем недавно женился на своей секретарше – очень красивой девушке с затаенной грустью в глазах.

Писатели признавали силу его таланта, но из-за задиристого характера он завел множество врагов. Читатели и критики в те времена были очень ранимы. Киплинга обвинили в грубости и непочтительности. Говорят, его так и не произвели в рыцари, поскольку королева Виктория обиделась на него за то, что он ее назвал «Виндзорской вдовушкой». Впрочем, он не много потерял. Лорд Чарлз Бересфорд часто рассказывал историю, – и те, кто хорошо его знал, охотно верили, – как однажды король Эдуард сказал ему:

– Помните Л.? Того типа из Хомбурга? На днях я его произвел в рыцари.

– Так ему и надо, поганцу, – ответил Бересфорд.

Что касается тиражей, «Лентяй» имел большой успех. Коммерческим директором у нас был некий Уильям Данкерли. В справочнике «Кто есть кто» он говорит о себе, что «обратился к писательству для отдохновения от бизнеса и обнаружил, что это занятие намного приятнее». Сейчас он пишет стихи под псевдонимом Джон Окснем. У нас была симпатичная контора поблизости от Стрэнда, на Арундел-стрит, и по пятницам мы устраивали чайные вечера, известные под названием «В гостях у Лентяя». На них собирался литературный Лондон. Помощником редактора был Джордж Браун Бургин. Он уже тогда был жаден до работы, а позже его аппетит, кажется, еще усилился. Ему ничего не стоит выдавать в год по три романа. Я однажды написал за день две тысячи слов, и потом неделю приходил в себя. Уэллс потрясает еще больше. Он заканчивает новую книгу раньше, чем дочитают предыдущую; излагает всемирную историю, пока средний школьник зубрит даты, и изобретает новую религию быстрее, чем ребенок выучит молитвы. У него поставлен стол возле кровати. Если накатит вдохновение, он просыпается среди ночи, заваривает себе кофе, пишет главу-другую и снова засыпает. В виде отдыха от серьезной работы он может опротестовать результаты парламентских выборов или провести конференцию по проблемам образовательной реформы. Как у него не случится короткого замыкания в мозгу – великая научная загадка. Я раз в письме пожаловался ему на усталость. Он пригласил меня на пару дней к себе в Фолкстон – отдохнуть, подышать морским воздухом. «Отдыхать» поблизости от Уэллса – все равно что попытаться уснуть, свернувшись калачиком в самом центре урагана. Если он не объяснял устройство Вселенной, то учил меня сложным новым играм, которые сам изобрел и от которых у меня ум заходил за разум. В районе Саут-Даунс встречаются довольно крутые холмы. Мы поднимались на них со скоростью четырех миль в час, непрерывно разговаривая. В воскресенье вечером разразилась буря, хлестал дождь пополам со снегом. Уэллс объявил, что прогулка будет нам полезна – по крайней мере проснемся. Как только миссис Уэллс отвернулась, мы прихватили с собой мальчишек, напялив на них дождевики.

– Повеселимся! – приговаривал Уэллс.

Его сыновья были отчаянные ребята и бодро смеялись, но продвигаясь против ветра вверх по холмам Ли, мы заметили, что мокрый снег сечет им лица. Тогда мы пристроили их к себе за спины – мальчишки шли, обхватив нас за пояс, а мы брели вперед, нагнув голову. И все равно Уэллс говорил не умолкая. Но однажды матушка-природа его победила. Это случилось, когда он гостил у меня в Гулдс-Гроув, близ Уоллингфорда. Мы решили взобраться на уединенный отрог Чилтернских холмов. На середине подъема Уэллс выдохся и не говорил ни слова, пока мы не достигли вершины и не просидели там минут пять. Внизу виднелись башни Оксфорда, а за ними – Котсуолд. Саутгемптонский залив сверкал серебряной искоркой на горизонте. Под ногами у нас лежала заросшая травой, но прямая как стрела, древняя римская дорога, что ведет от Гримс-Дайка к развалинам форта на Синодунских холмах и дальше, на север.

Не помню, то ли к Уэллсу, когда я гостил у него в Фолкстоне, то ли ко мне, когда он гостил у меня в Уоллингфорде, явилась компания специалистов, подыскивающих подходящее место для строительства города-сада. Едва услышав словосочетание «город-сад», Уэллс взял

дело в свои руки и двадцать минут объяснял старому джентльмену, как нужно строить города-сады, в чем заключается фатальное несовершенство уже существующих городов-садов и как именно следует финансировать города-сады и управлять ими. Старый джентльмен несколько раз пытался вставить слово, но Уэллс не дал себя перебить.

Когда он наконец закончил, старик сказал:

– Идеи у вас правильные, но они неосуществимы на практике.

– Если идеи правильные, ваша задача – сделать так, чтобы они осуществились, – ответил Уэллс.

Говорят, Шоу отдыхает, только когда работает. Однажды Шоу мне сказал, что у него на все случаи жизни заготовлены всего три речи. Одна – о политике (включая религию), другая об искусстве (и о жизни вообще) и третья – о себе самом.

– Люди думают, что я сочиняю новые речи, а я просто повторяю снова и снова то, что уже говорил много раз. Если бы еще они меня слушали! Мне надело разговаривать, – сказал Шоу. – Я бы говорил в десять раз меньше, если бы ко мне прислушивались.

Он утверждал, что красноречию можно научиться в одной из двух школ: театр «Лицеум» (времен Ирвинга) и Гайд-парк. Шоу учился в Гайд-парке, стоя на табуретке. Есть только один способ одолеть Шоу, когда он говорит с трибуны. Тягаться с ним в остроумии безнадежно. Выход один: заставить его стать серьезным. Тогда он, случается, теряет почву под ногами. Мысль его стремительна, как молния. Помню, в самом начале кинематографического бума к нему пришел тогдашний президент Клуба театралов, очень серьезный молодой человек.

– Мистер Шоу, – сказал он, – мы просим вас выступить на заседании нашего клуба по вопросу: грозит ли театральному актеру вымирание?

– Вы не сказали, какому именно актеру, – ответил Шоу. – И почему вы говорите об этом как об угрозе?

Шоу – самый добрый человек на свете, но он беспощаден. Его любимый вид спорта, по его же собственным словам, – публичные выступления, а любимый способ отдыха – думать. Однажды он мне признался, что иногда слишком увлекается думанием. Как-то он в Алжире ехал на машине и захотел сам сесть за руль. Во время езды из очередных раздумий возникла идея пьесы.

– Что скажете? – спросил он, обернувшись к шоферу, и далее принялся излагать сюжет.

Шофер часто высказывал ценные и весьма здравые замечания по поводу его пьес, но на этот раз вместо того, чтобы поддержать Шоу, буквально сел на него и вырвал руль из рук.

– Вы уж извините, мистер Шоу, – сказал он потом, – пьеса чертовски хорошая, прямо не хочется, чтобы вы разбились раньше, чем ее напишете.

Шоу, увлекшись, не заметил, что едет прямо к пропасти.

Конан Дойл тоже отличался невероятной работоспособностью. Он мог, сидя за письменным столом в уголке собственной гостиной, написать рассказ, пока вокруг смеялись и болтали человек десять гостей. Ему так даже больше нравилось, чем сидеть одному в кабинете. Иногда, не отрываясь от работы, он произносил какую-нибудь реплику, показывающую, что он слышит наш разговор, – и при этом перо в его руке ни на миг не останавливалось. Тем же талантом обладал Барри. В ранней молодости он был репортером провинциальной газеты и, дожидаясь, пока ему выдадут задание, устраивался на стуле, поджав ноги, и среди редакционного шума и гомона преспокойно строчил что-нибудь мечтательно-поэтическое.

У Конана Дойла вся родня была полна жизненной энергии – и духовной, и физической. Как-то раз мы поехали в Норвегию с Дойлом и его сестрой Конни. Эффектная девушка, могла бы позировать для статуи Брунгильды. Она вышла замуж за романиста Хорнунга. Другая сестра вышла за священника по фамилии Ангел, славного и некрасивого. Они жили недалеко от нас в

Уоллингфорде, а их сосед был тоже священник, по фамилии Чорд. Этот Чорд позже переехал в Горинг, и там его соседом оказался опять-таки священник, на этот раз римско-католической церкви – отец Ад. Видно, Провидение подстраивает такие штучки для какой-то мудрой цели.

Плавание до Норвегии было бурным. Конни Дойл наслаждалась непогодой. Такая уж она была; у нее только щеки разрумянились и волосы очаровательно завились. Добрая душа, она искренне сочувствовала несчастным дамам, страдавшим от морской болезни. То и дело врывалась к ним в каюты – выяснить, не может ли она чем-нибудь помочь. Казалось бы, одно ее присутствие должно их подбодрить. Ан нет, они, наоборот, только злились.

– Конни, уйди! – простонала одна ее подруга, когда я проходил мимо открытой двери. – Как на тебя посмотрю, тошно становится!

Сам Дойл тоже всегда бурлил энергией. На корабле он начал учить норвежский и от успехов стал чересчур самодоволен. Однажды, в крохотном пансиончике в горах, он зарвался. Мы приехали туда в *stoljas* – крохотных повозках на одного человека, запряженных удивительно выносливыми лошадками размером с ньюфаундлендскую собаку. Они способны пробежать в день пятьдесят миль и остаться резвыми, как в начале. Нам оставалось преодолеть еще миль двадцать пути. Пока мы обедали, вошедший в комнату молодой офицер что-то сказал по-норвежски. Само собой, мы направили его к Дойлу. Дойл встал, поклонился и что-то ответил. Мы все наблюдали за разговором. Норвежец был явно очарован, а Дойл вещал по-норвежски, будто на родном своем языке. Когда офицер ушел, мы спросили, о чем шла речь.

– Да так, о погоде, о состоянии дорог и о том, что у него какой-то родственник повредил ногу, – беспечно ответил Дойл. – Я, правда, не все понял.

И он заговорил о другом.

Когда мы после обеда вернулись к повозкам, то увидели, что лошадка Дойла куда-то исчезла. Оказалось, что Дойл «одолжил» ее офицеру, поскольку у того лошадь захромала. Хозяин заведения, он же официант, слышал весь разговор. Дойл сказал: «Конечно, с удовольствием». И потом еще повторил. Также он употребил норвежское выражение, соответствующее нашему: «Не за что».

Другой лошади ближе десяти миль найти было невозможно. Один участник нашей компании решил задержаться на пару дней – ему понравились виды – и уступил Дойлу свою повозку. Но до конца поездки Дойл значительно меньше говорил по-норвежски.

В Норвегии проказа до сих пор остается вполне реальной угрозой. Причина – несвежая рыба. По берегам фьордов жители всю долгую зиму питаются в основном консервированной рыбой. Поскольку Дойл – врач, он получил разрешение посетить один из крупных лепрозориев и взял меня с собой. Тот, кто не видел этого, не может в полной мере понять весь ужас предостерегающего крика: «Прокаженный!» Больше всего меня поразило бесконечное терпение несчастных изуродованных людей, смирившихся со своей судьбой. Над входом мы увидели несколько текстов из Священного Писания, и среди них: «Вовек милость Его». Когда мы уходили, поблагодарив нашего гида за интересную экскурсию, звонил колокол к вечерней службе и обитатели лепрозория группами брели к стылой серой часовенке.

Дойл интересовался оккультными явлениями. Однажды он рассказал мне любопытную историю. Возможно, сейчас он бы не согласился с теми выводами, которые тогда из нее извлек. Ему вместе с еще одним членом Общества спиритических исследований поручили отправиться в Сомерсет, в некую старинную усадьбу, для изучения, как тогда говорили, «феномена» – «истории с привидениями», сказали бы во времена наших бабушек. В доме жили отставной полковник с женой и их единственная незамужняя дочь лет тридцати пяти. С некоторых пор они постоянно слышали по ночам странные звуки: глухие стоны, переходящие в рыдания, и скрежет, словно по полу волочили цепь. Звуки то стихали, то раздавались снова. По словам

старого джентльмена, слуги пугались до смерти и почти все уволились. Даже собаки нервничали. Дойл и его друг никому не говорили, что они от Общества, – полковник делал вид, будто встретил в Лондоне приятелей и пригласил погостить. Даже жене и дочери он не сказал правды, считая, что женщины не способны утаить секрет. Сам полковник всю эту историю называл ерундой и полагал, что во всем виноваты крысы, но здоровье его жены пошатнулось. Было заметно, что на самом деле он встревожен сильнее, чем старается показать.

Дом стоял на отшибе. Дойл с другом приехали к обеду. Вечером они сыграли пару робберов в вист с полковником и его дочерью. Бридж тогда еще не изобрели. Старая леди наблюдала за игрой и вязала. Семья казалась на редкость крепкой и любящей. Дойл и его друг ушли к себе пораньше, сказав, что от свежего воздуха их тянет ко сну. До утра ничего необычного не происходило. На вторую ночь Дойл проснулся около двух и услышал в точности такие звуки, как рассказывал полковник: тихие стоны, переходящие в пронзительный вопль, и громыхание цепей. Он мигом вскочил с кровати. Своего друга, чья очередь была караулить, он нашел в галерее над прихожей, откуда, судя по всему, и доносились звуки. Почти сразу появились полковник с женой, через несколько минут к ним присоединилась дочь. Старая леди едва владела собой, дочь принялась ее утешать, причем сказала, что она ничего не слышала, наверняка это просто игра воображения. Но когда старики вернулись в свою комнату, девушка призналась, что говорила все это, только чтобы успокоить мать. Она залилась слезами, и Дойлу пришлось пустить в ход профессиональные врачебные навыки. На следующую ночь они устроили засаду. Как и подозревал Дойл, оказалось, что призраком притворялась дочь полковника.

Она не была безумна и твердила, что горячо любит отца и мать. Сама она никак не могла объяснить свои поступки. Дойл с другом пообещали не выдавать ее – при условии, что все это прекратится. Загадочных звуков больше никто не слышал. Живые загадочнее покойников.

Мне, лентяю, утешительно от блистающих примеров трудолюбия и целеустремленности перейти к Уильяму Уаймарку Джейкобсу. Он мне сам говорил, что может ухлопать (его собственное слово) целое утро, конструируя одно-единственное предложение. Если напишет за месяц рассказ в четыре тысячи слов, он считает, что заслужил отпуск; а если не всегда этот отпуск себе устраивает, так только потому, что слишком устал. Я ему посоветовал нанять секретаршу. Мне это пошло на пользу: девочка стала моей совестью. Просто стыдно при ней бездельничать, притворяясь, будто думаешь. Она зевает, ерзает, каждые пять минут извиняется – ей показалось, я что-то сказал. Девушки умеют, не раскрывая рта, так запугать мужчину, что он как миленький примется за работу.

– Попробовал, не помогло, – сказал мне позднее Джейкобс. – Я поручил это Нэнси. (Нэнси была его свояченица.) – Не хотел позориться перед посторонними. Как чувствовал, что все равно ничего не выйдет. Она требовала, чтобы мы начинали ровно в десять, а я до полудня ни на что путное не способен.

Он сказал, что совсем бросил бы писательство, если бы не ночной сторож. Джейкобс истощил все свои запасы сюжетов. Неделями ломал голову, но ничего нового не придумывалось. И вдруг в полном отчаянии он схватил перо и написал: «“Кстати, о женщинах”, – сказал ночной сторож…»

Дальше дело пошло без сучка без задоринки. Ночной сторож болтал без умолку, только записывай.

Мне нравилось говорить с Джейкобсом о политике. Он всегда был неподражаемо честен.

– Не уверен, что я хотел бы наибольшего счастья для наибольшего числа людей, – сказал он мне как-то.

Мы ехали по Беркширским холмам в повозке, запряженной моей славной ирландской

лошадкой. Дело было еще до появления автомобилей.

– Насколько я понимаю, хорошего в мире не хватает на всех поровну, а мне нужно больше других.

На самом деле это неправда. Для полного счастья Джейкобсу довольно трубочки, двух стаканчиков шотландского виски в день и партии в кегли трижды в неделю. Но он страшный упрямец. Я его спросил, почему он боится социализма. Я обещал и даже взялся лично гарантировать, что при социализме ему будет обеспечено выполнение всех его скромных желаний.

– Не надо мне ничего обеспечивать! – рассердился он. – Даже думать противно, что какие-то умники будут за меня решать, как сделать меня счастливым. Да провались они все!

По мере того как набирало силу движение суфражисток, миссис Джейкобс становилась все более воинственной. Мужья тогда жили в постоянном страхе и трепете. Английские тюрьмы были переполнены дамами, что прежде были столь же добры, сколь и прекрасны. Миссис Джейкобс заключили на месяц в Холлоуэй за то, что она разбила окно почты. Джейкобс, как полагается преданному мужу, вооружившись медицинскими справками, добился приема у начальника тюрьмы и со всем подобающим случаю красноречием объяснил, что миссис Джейкобс не переживет тягот заключения. Начальник преисполнился сочувствия, ненадолго удалился, а вернувшись, объявил:

– Спешу вас обрадовать, мистер Джейкобс, оснований для беспокойства нет. Ваша супруга за неделю своего пребывания у нас прибавила восемь фунтов.

Она всегда все делает назло, сказал по этому поводу Джейкобс.

Опыт редакторской работы научил меня, что любой художественный текст можно оценить по первым двадцати строчкам. Если в них ничто не привлекло внимания – значит, дальше читать незачем. Я здесь говорю о начинающем авторе, хотя на мой взгляд, то же самое относится и к известным писателям. С помощью этого метода я успевал рассмотреть все присылаемые мне рукописи. Сопроводительные письма я взял за правило не читать. Чаще всего именно в них и содержалась самая драматичная часть повествования. Автор перепробовал все и вот обратился ко мне как к последней надежде. Он – единственная опора вдовой матери, он содержит младшего брата-калеку, неужели нельзя как-нибудь все-таки опубликовать его произведение? Несчастные торговцы на грани разорения, прослышавшие, что Редьярд Киплинг получает по сто фунтов за рассказ, – но они согласны и на меньшую сумму! Жены мелких клерков, мечтающие о новых портьерах… Пылко влюбленные, жаждущие увеличить свой доход, чтобы можно было наконец жениться, – фотографический снимок будущей невесты прилагается. Большинство, по всей вероятности, жулики, но многие из этих историй вполне могут быть подлинными. Наш мир полон страданий. И все почему-то уверены, что литература – последнее прибежище честных бедняков. С этим сталкиваешься на каждом шагу. Друзья заводят со мной разговор о своих сыновьях: славные мальчики, но им постоянно не везет, непонятно почему. Бедняжкам ничего не остается, кроме как заняться литературой. Не соглашусь ли я встретиться с ними, подсказать, к кому следует обратиться?

Признаю, для писательской работы не нужно специального образования. Первая книга, первая пьеса может оказаться ничуть не хуже последней, а то и лучше. Мне приятно думать, что я открыл немало новых авторов.

Джейкобса я обнаружил однажды в субботу под вечер. Задержался на работе, чтобы в одиночестве разгрести накопившуюся груду рукописей. Уже половину одолел, ничего хорошего не попадалось, я устал физически и пал духом. Стены комнаты словно размылись в тумане. Вдруг я услышал чей-то смех. Удивленно огляделся: никого. Я был в комнате один. Тогда я взял в руки лежавшую передо мной рукопись – дюжину страниц убористым почерком.

Перечитал и написал «У.У. Джейкобсу, эсквайру», чтобы он пришел побеседовать. Потом я свалил оставшиеся рукописи в ящик стола и пошел домой с чувством, что рабочий день прошел удачно.

Джейкобс явился в понедельник. Он выглядел совсем мальчиком: застенчивый молодой человек с мечтательным взглядом и тихим голосом. Даже сейчас против света он может сойти за двадцатипятилетнего – во всяком случае, в шляпе. Не так давно миссис Хамфри Уорд шепотом спросила меня на каком-то банкете:

– Кто этот мальчик слева от меня?

Я ответил, что этот «мальчик» – У.У. Джейкобс.

– Боже мой! – воскликнула миссис Уорд. – Как это ему удается?

Я заключил с ним контракт на серию коротких рассказов. Он страшно боялся, вдруг рассказы не оправдают моих ожиданий. Я еле его уговорил. Рассказ-образец он до меня посылал в десяток журналов, и все возвращали рукопись с обычными редакторскими комплиментами и сожалениями. Думаю, позже они сожалели искренне.

В Уоллингфорде мы жили в старом деревенском доме. Вильгельму Завоевателю какой-то приятель из Уоллингфорда открыл городские ворота. Здесь Завоеватель впервые перешел через Темзу и на радостях сделал для Уоллингфорда послабление. В городе до сих пор звонят колокола, объявляя комендантский час, но не в восемь вечера, а в девять. Когда ветер дул с запада, очень хорошо было слышно. А потом сразу наступала тишина.

Дом находился на месте бывшего монастыря. Возле него и сейчас растут древние тисы. Один угол сада мы прозвали Закутком. Его окружала густая тисовая изгородь, в которой постоянно копошились птицы, а раскидистая орешина защищала от солнца. Там приятно было работать. Любопытно было бы прибить на зеленой арке у входа табличку с перечислением всех писателей, кто здесь в то или иное время трудился над своими произведениями: Уэллс, Дойл, Зангвилл, Филпотс и другие. Зангвилл здесь писал рассказы о гетто, хотя много времени тратил, играя с птицами, – он выкапывал червяков из земли острием карандаша и кормил молодых дроздов.

Дом стоял уединенно на западном склоне Чилтернских холмов. В нем было две входные двери. Нужно было всегда помнить, с какой стороны дует ветер: если откроешь не ту дверь, сквозняк распахнет и вторую и пойдет гулять по всем комнатам. Все успеет перевернуть вверх дном, пока с ним сладишь. Мне нравилось жить там одному зимой, самому о себе заботиться, и чтобы никто не мешал думать. Совам тоже это нравилось. Какие только звуки не мерещились в их голосах! Однажды ночью я вышел из дома с фонарем в полной уверенности, что слышал детский плач. Помню, как я читал там ночью повесть Уэллса «Остров доктора Моро» – рукопись поступила в редакцию, когда я уже собирался уходить, и я сунул ее в сумку. Лучше бы я этого не делал! Я горько пожалел, что начал чтение, но оторваться уже не мог. Ветер выл, как семь фурий, а мне слышались вопли терзаемых зверей. Я обрадовался, когда наступил рассвет.

Уильям Локк жил в Уоллингфорде, в одноэтажном домике у реки, пока не женился. Работал он обычно по ночам. Мы часто видели огонек на другом берегу. Его будущая жена снимала комнату у нашей старой служанки. Локк рассказывал моим дочерям о семье Мюнхгаузен – потомках знаменитого барона. Он с ними встречался во Франции. Если верить его рассказам, семейный порок не обошел и наследников. Они, например, чрезвычайно гордились тем, что в их роду из поколения в поколение передается праща, с помощью которой царь Давид некогда победил Голиафа. Локк сам ее видел – простенькая такая самодельная штуковина. Мы как-то взяли его с собой на регату в Хенли. Поселились в доме шорника у самого моста. Погода стояла ужасная. Дождь лил всю неделю, и мы постоянно ходили

промокшие насквозь. Я одалживал Локку свою одежду. Он выше меня, и руки-ноги у него страшно длинные. С нами были еще студенты из Оксфорда, они его прозвали Диком Свивеллером. Он и правда напоминал беднягу Дика.

Одним из наших соседей в Уоллингфорде был Эрнест Джордж Хенем, известный под псевдонимом Джон Тревена. Он писал неплохие романы. Среди лучших – «Дрок Беспощадный» и «Гранит». Девушка, с которой он был обручен, умерла, но Хенем по-прежнему говорил о ней как о живой. Разговаривал с ней за работой, ходил вместе с ней на прогулки. Он выстроил себе дом вдали от всех, высоко на плоскогорье Дартмура. Какое-то время жил там один, а потом неожиданно женился на своей машинистке.

По-моему, в отношении славы, как и других сторон человеческой жизни, очень многое зависит от везения. После Гарди я бы назвал Идена Филпотса величайшим из ныне живущих английских романистов; к тому же Гарди не хватает чувства юмора. Но Идену, видно, остается подождать, пока его оценят посмертно. Как-то он гостил у нас, и мы вместе отправились на пикник. Высадились у Дорчестерского шлюза и поднялись на Синодунские холмы – римляне когда-то стояли здесь лагерем над рекой. До сих пор сохранились остатки укреплений, можно различить и следы геометрически правильных улиц. А еще до римлян, во времена друидов, здесь была крепость бриттов. Сейчас это место отмечает небольшая роща, знаменитая во всей округе. «Зеленая корона, венчающая холм». Пока закипал чайник, мы рассуждали о том, как опасны костры. Дождя не было уже несколько недель, и трава пересохла. Раз начав разговор на эту тему, мы уже не могли от нее отвлечься. В роще тут и там попадались сухие деревья – случись что, они вспыхнут как порох, а от них загорятся остальные.

После чая мы собрались раскурить трубки. Филпотс стоял с коробком в руке. Я ждал, чтобы попросить у него огоньку. Шведские спички – важная статья экономии для большинства мужчин. А он вдруг сунул коробок в карман и, повернувшись ко мне спиной, пошел вниз по склону. Я окликнул его, но он не ответил. Позже я нашел его у ворот шлюза – он сидел и курил.

– Знаешь, что со мной сейчас было? – спросил он. – Какой-то бесенок подговаривал меня поджечь трухлявое дерево, у которого мы стояли. Одна спичка – и вся роща сгорит дотла. Если бы я не ушел, этот бес меня точно уговорил бы.

Любовь к природе для Филпотса – что-то вроде религии. Интересно, есть ли в этой религии дьявол?

Карикатуры для «Лентяя» рисовал шотландец Мартин Андерсон, работавший под псевдонимом Циник. У него была прелюбопытная старомодная мастерская на Друри-лейн. Там он и жил вместе с сестрами. В его мастерской можно было встретить Рамсея Макдональда. Приятный молодой человек – мы все такими были тридцать пять лет назад. Любил делиться своими познаниями. Стоило навести разговор на Карлейля – мог говорить полчаса без перерыва. Он вставал на пороге, держа в одной руке шляпу, а другой придерживаясь за ручку двери, и таким образом за ним всегда оставалось последнее слово.

Еще один сотрудник «Лентяя» – Гилберт Паркер. В 1895 году он женился и стал досточтимым сэром Гилбертом Паркером, баронетом, членом парламента. Возможно, во мне говорила ревность, но у меня было отчетливое ощущение, что после женитьбы он начал держаться чуточку более внушительно, чем требовалось. Вспоминается один вечер в клубе «Дикарь». Сэр Гилберт оказал нам любезность заглянуть туда по пути на какой-то великосветский прием. Добродушно здороваясь со всеми по очереди, он в конце концов добрался до Оделла, старого актера-комика; сейчас он в богадельне – той самой, где полковник Ньюком отозвался на последней перекличке[18]. Оделл был великолепным рассказчиком, одним

---

[18] См. роман У.М. Теккерея «Ньюкомы, жизнеописание одной весьма почтенной семьи, составленное Артуром

из лучших в клубе. Сэр Гилберт положил ему руку на плечо.

– Непременно приходите как-нибудь меня повидать, Оделл! – сказал он. – Выберите день и напишите мне. Адрес знаете. Б…-Корт.

– Буду счастлив, – ответил Оделл. – А какой номер дома?

«Лентяя» мне показалось мало. Я задумал новое еженедельное издание – нечто среднее между журналом и газетой. Вложил в дело собственные деньги, кое-как собрал недостающую сумму. Дадли Гарди нарисовал для нас эскиз рекламного плаката. Это был первый случай, когда известный художник снизошел до плаката. Рисунок прославился под названием «Девушка в желтом». Девушка словно выходила прямо из стены. Если плакат висел высоко, вы пугались, как бы она не свалилась вам на голову; если низко – как бы не отдавила вам ноги. Сейчас, я думаю, журнал «Сегодня» совершенно забыт, но хоть это и нескромно, я все же скажу, что за два пенни это было отличное чтение. Первое произведение, которое мы печатали отдельными выпусками, – повесть Стивенсона «Отлив». Сам я никогда не читаю книги отдельными выпусками в журналах. Месяц – слишком долгий перерыв, уходит настроение. А неделя – в самый раз: помнишь, что было раньше, и с нетерпением ждешь развития событий. Стивенсон тоже так думал. Когда мы с ним познакомились, он был болен и мечтал поскорее вырваться из Англии. Разговорить его было трудно, зато когда начнет, уже не остановишь. В этом отношении он мне напоминал Барри. Возможно, это такая шотландская черта. Стивенсон был мягким и очень скромным человеком. Словно не догадывался, что он – выдающаяся личность, а если и догадывался, то никак этого не показывал.

Энтони Хоуп сотрудничал и с «Лентяем», и с «Сегодня». Даже жаль, что он получил наследство. Если бы не это, мог писать и по сей день. В области литературы бедность – единственный надежный меценат. Хоуп работал очень методично. Его «контора» находилась напротив Савойской часовни, поблизости от Стрэнда. Он приходил туда ровно в десять, работал до четырех, запирал дверь и удалялся к себе в Блумсбери. Я познакомился с ним в доме молодой четы по фамилии Болдри – с тех пор они постарели и мы очень с ними сдружились. Болдри и Холла Кейна, случалось, припозднившиеся грешники ночью на улице принимали за Иисуса Христа. Сейчас Болдри похож на Моисея, а Холл Кейн сойдет в лучшем случае за Шекспира. Альфред Лис Болдри был художником – да он и сейчас художник, хотя больше известен как критик. Его жена, в то время худенькая девочка, еще красивее, чем теперь, была ведущей танцовщицей в театре «Гейети», значилась в программке под именем Лили Линдхерст. Она мне по секрету призналась, что послужила прообразом Долли из знаменитых «Диалогов Долли». Энтони Хоуп не сказал ей этого прямо, но намекнул. Он был большой проказник. Позже десятки очаровательных женщин доверительно сообщали мне то же самое.

Иллюстрации для журнала «Сегодня» рисовали Дадли Гарди, Заубер, Фред Пеграм, Льюис Баумер, Хал Херст, Обри Бердслей, Равенхилл, Сайм, Фил Мэй. Я же говорю – прекрасный был журнал, и всего за два пенни. Под конец жизни Фил Мэй с трудом раскачивался для работы. Он обещал, клялся всеми известными богами, а потом забывал о своих обязательствах. У меня в редакции был очень полезный курьер, обладавший особым даром: сидеть и ничего не делать. Мог так просидеть часами. Его звали Джеймс.

Я говорил ему:

– Джеймс, пойдите в мастерскую к мистеру Филу Мэю и скажите, что пришли за рисунком, который он обещал мистеру Джерому в прошлую пятницу. Дождитесь, пока не получите.

Пенденнисом, эсквайром».

Если Фила Мэя не оказывалось на месте, Джеймс ждал, пока он появится. Если Фил Мэй оказывался занят, он ждал, пока тот освободится. Выжить его из мастерской можно было одним-единственным способом: дать ему рисунок. Обычно Фил Мэй отдавал первый попавшийся под руку листок. Иногда попадался тот самый обещанный мне рисунок, а чаще – эскиз, предназначенный совсем другому редактору. Тогда начинались трудности с тем, другим, редактором. Но Фил Мэй не боялся трудностей – он к ним привык.

Он был ужасным водохлебом. Его жена рассказывала, как однажды проснулась ночью от звука бьющейся посуды. Оказалось, Фил Мэй искал воду. В графине вода кончилась.

– Возьми из кувшина, – посоветовала миссис Мэй. – Он полный, я с вечера наливала.

– Из кувшина я все выпил, – ответил Мэй.

Прежде чем переехать в Лондон, он работал у торговца картинами в Ливерпуле. Они плохо ладили. Насколько можно догадаться, обе стороны были не совсем правы. Старик потом тоже приехал в Лондон и обосновался на Бонд-стрит. Как-то, зайдя в редакцию, он раскрыл мне методы работы торговцев произведениями искусства.

– Не найдете ли мне журналиста, который хоть чуть-чуть разбирается в искусстве? – спросил он.

– Я думаю, это нетрудно, – ответил я. – Они обычно во всем разбираются. А что именно вам нужно?

– Особых знаний от него не потребуется. Надо написать статью о Реберне[19]. Я ему объясню, что нужно сказать, а он пусть все это оформит поэффектнее, и побольше заголовков! А вы его статью опубликуйте в «Сегодня».

– Погодите-погодите! – перебил я. – Насколько я знаю, этот Реберн уже умер. Зачем мне все это нужно?

– Я же вас не даром прошу! – ответил он. – Пришлите ко мне того, кто у вас там отвечает за объявления, и мы обо всем договоримся.

Я начал понимать.

– Значит, вы покупали картины Реберна?

– Реберн в этом сезоне пойдет нарасхват. Мы только ждем, пока американцы подтянутся.

Еще один интересный взгляд на прессу продемонстрировал Барни Барнато. По случаю его приезда из Южной Африки мы предложили читателям журнала «Сегодня» краткую историю его жизни – без очернительства, надеюсь, но и ничего не смягчая. Через два дня после выхода статьи Барнато явился в редакцию. Выглядел он не слишком внушительно, однако держался весьма дружелюбно и расположился в кабинете со всей непринужденностью.

– Я прочел вашу статью, – объявил он, видимо, находясь под впечатлением, что я сам ее написал. – Вы допустили пару неточностей.

В его маленьких глазках играли лукавые искорки.

– Я всегда дружил с прессой, – продолжал он. – Вот, я пометил ошибки – здесь и здесь. Нужно написать другую статеечку, с поправками. Торопиться не обязательно, спешки никакой нет.

Он встал, пыхтя подошел к столу и положил передо мной мелко исписанный листок бумаги. Я взял бумагу в руки – под ней оказался чек на предъявителя, на сумму в сто фунтов.

Барнато хоть и подрастерял форму, был некогда кулачным бойцом. К тому же я не одобряю насильственные методы. Я просто вернул ему чек, а листок бумаги скомкал и

---

[19] Реберн, Генри (1756–1823) – шотландский художник-портретист, ученик Джошуа Рейнольдса, член Королевской академии художеств.

выбросил в мусорную корзинку. Барнато посмотрел на меня не с гневом, а скорее с грустью. Тяжело вздохнув, он достал из жилетного кармана на необъятной груди авторучку и, склонившись над столом, хладнокровно что-то вписал, после чего снова подтолкнул ко мне чек. На этот раз там стояла сумма в двести фунтов, причем поправка подтверждалась инициалами.

Я, в свою очередь, пододвинул чек к нему, гадая, что он теперь сделает. А он только пожал плечами.

– Сколько вам надо?

Вопрос прозвучал так миролюбиво, что я невольно расхохотался. Пришлось объяснить, что так не делается, – по крайней мере в Лондоне.

Маленькие хитрые глазки снова блеснули.

– Ну извините, – сказал Барнато. – Без обид.

И протянул мне пухлую руку.

Очень много для «Сегодня» сделал Барри Пейн. Он написал для моей газеты «Мужа Элизы» – на мой взгляд, лучшую свою вещь. Его серию коротких заметок, тоже специально для «Сегодня», мы назвали «De Omnibus»[20]. Это были раздумья о жизни и обо всем на свете кондуктора лондонского омнибуса, с небольшими добавлениями от кучера.

Конечно, хорошо, что омнибусов больше нет – лошадей было ужасно жаль, – но неизменного краснолицего кучера вспоминаешь с ностальгией. Его язвительные замечания, выкрикиваемые с высоты козел, были неотъемлемой чертой лондонских улиц. Помню, однажды пытается кучер подогнать омнибус к обочине в начале Слоун-стрит, возле магазина Харви и Николса. Вдруг нас оттер в сторону «роскошный экипаж», как пишут в газетах, – запряженный парой гарцующих гнедых, которыми правит великолепное создание в синей с золотом ливрее. Наш кучер, наклонившись, обратился к нему громко и дружелюбно:

– С добрым утром, садовник! А кучер, что, опять заболел?

Кондуктор, тоже добрая душа, относился к пассажирам по-человечески. С нынешним кондуктором автобуса никому и в голову не придет разговаривать запросто.

Обидное прозвище «новый юморист» впервые пустили в ход как раз по адресу Барри Пейна. Все началось с его скетча в журнале «Гранта» – простенькой истории под названием «Любовь сардинки».

Ле Гальен – еще один из моих так называемых молодых людей. А меня они называли «шефом». «Шеф на месте?» – спрашивали они у барышни в приемной. Условность, конечно, и все-таки я испытывал гордость, когда слышал это. Ле Гальен был в те дни удивительно хорош собой, и у него хватало мужества придерживаться собственного стиля в одежде. Помню, как-то на утреннем спектакле он сидел в первом ряду бельэтажа, я – в партере. Леди рядом со мной долго его рассматривала, а потом спросила:

– Кто эта красавица?

В обществе укоренилось мнение, что женщины красивее мужчин. Это чисто мужское заблуждение, возникшее из полового инстинкта. Надеюсь, что сами женщины в это не верят. В животном мире самцы – любимцы природы, и человеческий род не исключение. Однажды в Мюнхене некий юноша явился на бал в наряде своей сестры. Девушка получилась очаровательная, но он чересчур заигрался. Результатом стала дуэль между двумя его собратьями-офицерами на следующее утро в Английском саду. Один из них был убит.

Томаса Гарди, *O.M*.[21], никак нельзя было принять за знаменитость. Он сам рассказывал,

---

[20] Обо всем (*лат.*).

[21] Order of Merit – Орден Заслуг, одна из высших наград Великобритании.

что одна его знакомая, очень юная барышня, считала, что *O.M* . означает «Old Man»[22], и страшно обижалась на короля Эдуарда. Орден учредили специально ради Джорджа Уоттса – он отказывался от всех других наград. В последний раз я видел Томаса Гарди на вернисаже в Королевской академии художеств. Он беседовал с супругами Болдри. На следующий день в газетах, как полагается, напечатали список присутствовавших знаменитостей. Там были перечислены прославленные хористки, кинозвезды, американские миллионеры. Томаса Гарди никто не заметил.

Он жил за высокой стеной в непритязательном доме, который построил для себя давным-давно среди холмов по ту сторону Дорчестера. Мы навестили его там незадолго до войны. Его жена была в отъезде, а у служанки как раз случился выходной, поэтому дверь открыла секретарша. Жена вскоре умерла, и секретарша стала второй миссис Гарди. День был жаркий, мы вышли прогуляться в саду. Поначалу Гарди кажется незначительным, но постепенно за простотой и скромностью проступает истинная суть. В своих стихах он проявляет себя как один из самых глубоких мыслителей нашей эпохи, чего никак не ожидаешь, глядя на безобидного джентльмена с добрыми светлыми глазами. Приближалось время чая, и Гарди с барышней принялись шептаться. Оказалось, миссис Гарди, не предполагая, что могут явиться гости, перед отъездом заперла лишние чайные принадлежности в шкаф. Мы здорово повеселились, отыскивая дополнительные чашки и ложечки. Со мной были жена и дочь – всех вместе пять человек. В конце концов мы набрали разномастной посуды и все-таки сели за стол.

Лет тридцать назад в Лондоне появился любопытный клуб – клуб Омара Хайяма. Я в нем не состоял, но довольно часто приходил как гость. Зимой мы обедали в ресторане гостиницы Андертона на Флит-стрит, а летом отправлялись в какую-нибудь сельскую таверну. Поэт Уильям Шарп был членом клуба, так же как и Фиона Маклауд – поэтесса, автор «Бессмертного часа», в некотором роде мистификация. Похоже, многие участвовали в связанных с этим розыгрышах. Джордж Мередит пишет в письме Алисе Мейнелл, отправленном из Бокс-Хилла: «На той неделе заходила мисс Фиона Маклауд, очень красивая дама. Сидела, не поднимая на меня глаз». Я знаю одно: Шарп не скрывал, что он и Фиона Маклауд – одно и то же лицо. Как-то после клубного обеда, на сей раз в Кавершеме близ Рединга, мы прогуливались в саду и я обмолвился, что восхищаюсь этой дамой и мечтаю раздобыть ее книги. Шарп засмеялся:

– Сказать по правде, Фиона Маклауд – это я. Думал, вы знаете.

Он рассказал, что когда речь идет о писательстве, в нем уживаются две совершенно разные личности, вот Шарп и решил их разделить.

Я пишу свои воспоминания в крохотной комнатке, где много лет назад Эдвард Фицджеральд переводил рубаи Омара Хайяма. Окно выходит на деревенскую улицу. По ней еще ходят те, кто ходил здесь тогда. Миссис Скарлетт, хозяйка нашего дома и одновременно владелица местного магазинчика, вспоминает его как «лысоватого» джентльмена с бакенбардами и высоким лбом. Он носил цилиндр, лихо сдвинув его на затылок, крылатку с бархатным воротником и черный старомодный шейный платок. По мнению миссис Скарлетт, мистер Зангвилл немного на него похож. Поначалу мистер Фицджеральд пугал местных рыбаков своей привычкой гулять ночью по берегу, разговаривая вслух сам с собой. Он любил работать в развалинах старой церкви на прибрежных утесах. Еще несколько лет назад они бросались в глаза четким силуэтом на фоне неба, а сейчас камни частью разметало по берегу, частью унесло в море – ничего не осталось. Там он сидел, прислонившись спиной к остаткам

---

[22] Старик (*англ.*).

крепостной стены, и работал все утро напролет, пока миссис Скарлетт – ей в те дни ничего не стоило взбежать по крутой тропинке – не позовет его обедать. Об этом укромном уголке никто не знал, но однажды его друзья-яхтсмены зашли в магазинчик миссис Скарлетт пополнить запасы, и тайна вышла наружу.

Разумеется, лавка миссис Скарлетт служила центром общественной жизни в деревне. Здесь постоянно бурлили сплетни и разговоры, но Фицджеральд умел с ними бороться. Сдвинув, по обыкновению, цилиндр на затылок, он шумно врывался в компанию болтающих дам.

– Ах, миссис Скарлетт, вы тут обсуждаете что-то интересное, я уж знаю! Расскажите, расскажите!

Дамы, переглядываясь, принимались уверять, что разговаривали о сущих пустяках.

– Нет-нет! Не скрывайте от меня! – упорствовал Фицджеральд. – Я тоже хочу послушать!

Дамы одна за другой вспоминали, что дома их ждут неотложные дела, и с извинениями расходились. Позже довольно было миссис Скарлетт знаками намекнуть, что Фицджеральд дома. Он обычно работал, сидя у окна в мягком кресле (а это не так-то легко) и держа блокнот на коленях. Дамы делали покупки, понизив голос до шепота, и быстро удалялись.

Журнал «Сегодня» погиб, убитый судебным иском о клевете от некоего мистера Самсона Фокса, предпринимателя, чью деятельность несколько сурово раскритиковали в разделе городских новостей. Я мог по крайней мере похвастаться, что разбирательство по этому делу было самым долгим и одним из самых дорогостоящих за всю историю Суда королевской скамьи. В конце концов все свелось к вопросу: можно ли добывать бытовой газ из воды? Через тридцать дней пришли к единодушному выводу, что это пока неизвестно, и судья в заключительной речи благожелательно сообщил, что наилучший способ покончить со всеми разногласиями – пусть каждая сторона оплатит свои издержки. Для меня сумма составила девять тысяч фунтов, для мистера Самсона Фокса – одиннадцать. Выйдя в коридор, мы пожали друг другу руки. Мистер Фокс объявил, что отправляется в Лидс, чтобы свернуть шею своим поверенным, и надеется, что я сделаю со своими то же самое. Но, на мой взгляд, было уже поздно.

Масштабы катастрофы осознаются не сразу. В первый момент находишься в каком-то оцепенении и вообще ничего не чувствуешь. Было лето, мои отдыхали в деревне. Я пообедал в одиночестве в каком-то ресторанчике в Сохо, а потом пошел в театр. Помню тупую ноющую боль под ложечкой и постоянно пересохшее горло.

Конечно, мне пришлось продать и «Лентяя», и «Сегодня». «Лентяй» достался друзьям Барра, а большую часть моей доли акций «Сегодня» выкупил Боттомли. Но «Сегодня» с самого начала был задуман как журнал одного редактора, и после моего ухода он постепенно сошел на нет.

Я всю жизнь мечтал быть редактором. Когда мне исполнилось шесть лет, мама подарила мне письменный столик, и я начал издавать газету совместно с моей незамужней теткой. Тетка носила букли – по три кудельки с каждой стороны, и снимала их, когда склонялась над столом.

Первый номер газеты очень понравился маме. Она сказала отцу:

– Я уверена, малышу предназначено быть проповедником.

– Это одно и то же, – сказал отец. – Газета – кафедра проповедника нового времени.

Может, и так.

Глава IX
Автор за границей

Сравнительно рано я оказался в роли иностранца. Мы с приятелем, тоже клерком, копили деньги целую зиму и на Пасху отправились в Антверпен. Поехали пароходом от Лондонского моста: двадцать шесть шиллингов билет в обе стороны, включая питание. В Антверпене мы по совету второго помощника поселились в гостинице неподалеку от Плас-Верт. За пять франков в день нам предоставили жилье, завтрак в восемь утра, обед в двенадцать и ужин в шесть тридцать, к которому подавалось полбутылки вина.

Я не стремлюсь заново пережить свою молодость, но ту поездку очень хотелось бы повторить еще разок – и в том же возрасте.

На следующий год мы почтили своим визитом Булонь. В этот раз мы самостоятельно отыскали небольшую гостиницу в Верхнем городе, где и жили за семь франков в день на полном пансионе. Как раз в то время английские художники открыли для себя Этапль. Дадли Гарди одним из первых оценил красоту невысоких дюн, залитых предвечерним светом. Я пристрастился к поездкам на континент. Оказалось, что, зная язык хотя бы чуть-чуть, можно рискнуть отклониться от избитых путей, и тогда отпуск обходится намного дешевле, чем в Англии. На десять шиллингов в день можно жить припеваючи. Зангвилл рассказывал, что с комфортом путешествовал по Турции, располагая парой десятков заготовленных фраз и карманным словариком. Знакомый профессор-языковед во Фрайбурге подсчитал, что словарный запас крестьянина из Шварцвальда составляет триста слов. Разумеется, в случае какого-нибудь спора понадобится больше, но для тихой спокойной жизни вполне хватает двадцати глаголов и сотни существительных. Один мой знакомый поехал на этюды в Швецию, зная по-шведски только числительные от одного до девяти. Не прошло и месяца, как он обручился с девушкой-шведкой, не знавшей ни слова по-английски. В Остенде в разгар сезона при известной экономии можно жить в свое удовольствие на одиннадцать франков в день, только нужно избегать больших отелей на самом побережье. Душок от этих отелей и обедающих там людей впервые подтолкнул мой живой юношеский ум к социализму.

Париж сильно переоценивают. Половину Лувра надо бы отправить на барахолку. В дождливый день, да при восточном ветре в этом городе даже и не весело, а улицы в нем совсем неинтересные, хотя прямые и широкие – несомненно, их строили с таким расчетом, чтобы расстреливать граждан было удобнее. И дороги во Франции тоже слишком прямые. Помню, как-то в Бретани мы брели целый день под палящим солнцем, а перед нами до самого горизонта тянулась раскаленная белая дорога без единого деревца. Казалось, что мы вообще не двигаемся. Все те же семь миль до горизонта, и больше смотреть не на что. Должно быть, где-то поблизости были разбросаны фермы и деревушки, но их приходилось додумывать, как события в греческой пьесе. Местные жители гордились этой дорогой. Хвастались, что армейский корпус может маршировать по ней колонной по тридцать человек в ряд, не смещаясь на шаг ни вправо, ни влево. Сами они, впрочем, ею не пользовались. За весь день мы повстречали хорошо если десяток человек, причем половина из них были заняты ремонтом этой самой дороги. Мой друг-автомобилист говорил, что путешествовать по Франции на машине – чистое разорение. Каждый день лопаются шины – из-за скорости.

– А разве обязательно ехать так быстро? – спросил я.

– Мальчик мой, – ответил он, – ты видел эти дороги? По ним невозможно ехать медленно.

Лучше всего в Париже предместья. Жаль, что Монмартр перестраивают. Я не уставал любоваться видами, и жилье там было дешевое. Во время моего первого знакомства с Парижем перемещаться по городу можно было в громадном неповоротливом омнибусе, запряженном тремя могучими жеребцами. А если захочется разыграть знатного вельможу, к вашим услугам

фиакр – полтора франка за поездку или два франка в час, и еще *pour-boire* [23] двадцать сантимов. Но кучера уж очень жестоко обращались с полумертвыми недокормленными лошадьми.

Самая интересная часть Франции – Прованс. Лучше всего ехать через Блуа и район замков. С томиком Дюма в кармане можно воображать, будто вы перенеслись во времена Короля-Солнца, а добравшись до Оранжа и расставшись с железной дорогой, слышишь поступь римских легионов. Я так и не нашел домик Тартарена в Тарасконе, но король Рене все еще является в сумерках со свитой своих придворных. Когда я впервые посетил Авиньон, лет тридцать пять назад, в папском дворце шли ремонтные работы. В мой прошлый приезд, за год до войны, они еще продолжались и, по-моему, не слишком сильно продвинулись. Быть может, британские рабочие не настолько ленивее других, как принято считать. Да в солнечном, сонном Провансе все движется медленно – или совсем не движется. Я любил бывать там летом, пока не начался наплыв туристов. Мы, англичане, привычны к крайностям. Как-то после завтрака в прохладном погребке я пошел прогуляться по Ле-Бо-де-Прованс. Дома там вырублены прямо в скалах, на которых стоит город, – сколько еще сохранилось этих скал. Из массивной двери выбежал малыш, явно собираясь пройтись вместе со мной. За ним выскочила мать, подхватила ребенка на руки и обратила на меня полный ужаса взор.

– Mon Dieu![24] – вскричала она. – Гулять в такую жару! Месье, должно быть, сам дьявол! Или англичанин!

В другой раз я в Санкт-Петербурге совсем не холодным (как мне казалось) зимним утром отправился гулять без шубы и произвел сенсацию на Невском проспекте.

В России со мной произошел любопытный случай, после чего я уверовал в возможность передачи мыслей на расстоянии. Я гостил у моих друзей Жаринцовых[25]. Генерал Жаринцов был первым губернатором Порт-Артура, а мадам, на мое счастье, взялась переводить мои книги и прославила мое имя в России. К ним заглянул знакомый, и разговор зашел о политике. Мадам Жаринцова пересказывала по-русски наш с ней вчерашний разговор об Индии. Вдруг она запнулась, изумленно глядя на меня.

– Прошу прощения! – сказала она. – Должно быть, я вас неправильно поняла. Но вы-то как узнали, что именно я говорю?

Оказывается, я, сам того не замечая, перебил ее и поправил какую-то ошибку. По-русски я знаю всего лишь несколько фраз, которым она же меня и научила, – достаточно, чтобы в одиночку ходить по городу. Произнесенных слов я понять не мог, но ее мысли каким-то образом передались мне.

Русские очень бурно проявляют свои чувства. Сойдя с поезда в Петербурге, я увидел, что меня встречает целая делегация. Все они бросились ко мне с оглушительным ревом. Один бородатый великан оторвал меня от земли и расцеловал в обе щеки, а потом бодро перекинул следующему – тот еле успел поймать. Все по очереди меня целовали. Мне показалось, что их была целая сотня; может быть, на самом деле меньше. Они бы и по второму кругу начали, но

---

[23] Букв.: чтобы выпить (*фр.*), т. е. «на чай».

[24] Боже мой! (*фр.*)

[25] Жаринцов, Дмитрий Федорович – генерал-майор, инженер-гидротехник, член комиссии Главного управления водяных и сухопутных сообщений. Жаринцова, Надежда Алексеевна – литератор и переводчик, многие годы прожила в Англии, переводила стихи русских поэтов на английский и произведения Джерома К. Джерома и Уэллса на русский.

мадам Жаринцова их разогнала. С тех пор я сочувствую младенцам. Умом понимаешь, что все делается любя, однако еще минута, и я бы разрыдался. Привыкнуть к этому я так и не смог.

В России выведена особая порода фокстерьеров – их используют на медвежьей охоте. Маленькие отважные собаки подбираются к медведю сзади и, кусая за пятки, выгоняют его из берлоги. Друзья, живущие в Царском Селе, подарили мне такого щеночка. Ему было одиннадцать недель. Повзрослев, он стал самым маленьким и самым свирепым псом из всех, какие у меня были. Имя его – забыл, как оно звучит по-русски, – означало «семь чертей», но я его для краткости звал Питер. Он оказался неоценимым спутником на пути из Петербурга в Берлин. Его стараниями к нам в купе никто не совался, и мы оба смогли хорошенько выспаться. Были, конечно, жалобы, но в те времена в России для всех официальных служащих существовал твердый тариф. Железнодорожным сторожам и билетерам – по рублю, станционным смотрителям – по два, а городовому с саблей – иногда и до пяти.

На вокзале в Берлине меня встречала жена. Питер лежал, свернувшись в гнездышке из моей шубы. Девяти дюймов в длину, беленький, с голубыми глазками и казался полусонным – он это умел. Не успел я предупредить, как жена наклонилась поцеловать его. К счастью, у нее оказалась хорошая реакция; это спасло ее нос от неминуемой гибели. Помню, с каким восторгом два года спустя она прибежала утром в спальню и объявила, что Питер позволил ей его поцеловать. Я не верил, пока своими глазами не увидел.

При всех своих сумасбродствах он к нам по-своему привязался. Часто сидел у меня на столе, пока я работал, и засыпал не иначе как на чем-нибудь из нашей одежды. Годились и шляпки девочек – он затаскивал шляпку в кресло и сворачивался внутри. На бурю возмущения у него был один ответ: «Что мое, не отдам; что возьму, не отнимут». Что ж, по крайней мере мои дочери отучились разбрасывать свои вещи. В деревне он держался поближе ко мне, а город сбивал его с толку. Потерявшись, он не пытался меня найти, просто садился посреди улицы – там, где в прошлый раз меня видел, – и громко выл. В Мюнхене его прозвали «английский пес, хозяина зовущий». Полицейские стучались ко мне в дверь с сообщением, что он вопит на такой-то улице, и чтобы я поскорее его забрал. Главная беда его жизни состояла в том, что большие собаки обычно не желали с ним драться, а мелких он презирал. Видимо, сказывалась наследственность. По мнению Питера, достойный противник – это некто размером приблизительно с медведя. Однажды во Фрайбурге он убедил огромного датского дога обратить на себя внимание. Пока Питер скакал перед ним, норовя вцепиться в горло, дог шагал вперед как ни в чем не бывало. Тогда Питер побежал следом и тяпнул его за ногу. Дог обернулся. У Питера вся шерсть встала дыбом от восторга. Наконец-то нашелся джентльмен, готовый оказать ему любезность! Но жизнь сурова и к людям, и к собакам. Дог оказался проворнее, чем ожидал Питер. Он внезапно нагнул голову и схватил Питера за шкирку. Когда я подбежал к ним, дог как раз донес Питера до середины мостика через ручей. Питер болтался в воздухе, отчаянно ругаясь. Дог оперся передними лапами о перила и заглянул вниз. Там никого не было. Дог плюхнул Питера в ручей. Потом дождался, пока голова Питера покажется над водой, и потрусил прочь.

Берега ручья были облицованы камнем. Питеру пришлось проплыть с полмили, прежде чем он сумел выбраться на берег. Полгода спустя, когда мы уезжали из Фрайбурга в Дрезден, Питер все еще разыскивал того дога.

Дрезден, пожалуй, самый удобный для жизни город во всей Европе, хоть зимой, хоть летом. До войны там обитала довольно значительная английская колония. У нас были клуб и собственная церковь, с долгами и сборами на орган, совсем как дома. *Gemütliche* [26] город, как

[26] Уютный (*нем.*).

говорят немцы, и очень дешевый. В оперу, лучшую в Европе, ездят на трамвае. И он не высадит вас посреди лужи за четверть мили от входа, а доставит прямо к дверям. А когда вы выйдете после спектакля в десять вечера, когда как раз остается время не спеша поужинать и к полуночи забыться сладким сном, трамвай будет вас ждать. Лучшие места стоили шесть марок. Наряжаться не обязательно – как встал из-за чайного стола, так и поехал. Наряжались только родственники саксонского короля. (Добродушный старик. Однажды прислал ко мне нарочного, сообщить, что ему очень понравилась моя книга «Трое на велосипедах».) Единственное правило, касающееся одежды, – чтобы дамы снимали шляпки в зрительном зале. Нет нужды трогать ее за плечо и умолять со слезами на глазах, да еще неизвестно, снизойдет ли она до вашей просьбы. За соблюдением этого правила следил джентльмен у входа, в форме, напоминающей мундир фельдмаршала. Даму никто не принуждал. Если желает, может остаться в шляпке и спокойно ехать домой. А вот если желает послушать оперу, пусть шляпку снимет и оставит в гардеробе. Пользование гардеробом обходится всего в два пенса, и зеркал там видимо-невидимо. В Германии заботятся о таких вещах. И еще одно правило неизменно изумляет англичан в стране гуннов – запрет бросать мусор на улицах. Я однажды брал интервью у турецкой знаменитости и среди прочего спросил, что его больше всего поразило в Англии. Мы всегда задаем этот вопрос. Обычно отвечают: красота наших женщин, или восхитительные английские газоны, а этот невежа ляпнул, ни на секунду не задумываясь: «Мусор!»

Саксонцы – простые, добрые люди. Мы прожили в Дрездене два года и завели много друзей. По воскресеньям у всех по очереди устраивали музыкальные вечера. Заходили студенты прославленной консерватории, вооруженные каждый своим любимым инструментом, бывали и полноправные участники оркестра. Там училась скрипачка Мари Холл – застенчивая, робкая девочка. И Миша Эльман[27] тоже.

Военные там были как боги. Их любили и боялись. Офицеры в кричаще ярких мундирах, бряцая саблями, шествовали по тротуару по двое-трое в ряд, сметая с дороги встречных без разбора, – мужчин, женщин и детей. Впрочем, в частной обстановке они вели себя почти по-человечески. Во время маневров нас посетил кайзер. В Саксонии популярность его была не слишком велика, а после этого визита стала еще меньше. Из окон второго этажа некоего загородного домика открывался прекрасный вид на поле военных действий. Пять часов утра. Кайзер не желает ждать ни минуты. По его приказу выбивают дверь, кайзер поднимается по лестнице, проходит прямо в спальню и распахивает окно. Досточтимый герр со своей досточтимой фрау еще лежали в постели и, несмотря на свое возмущение, вынуждены были там оставаться, пока кайзер не соизволил удалиться, все так же громко топая и без единого слова извинений. Должно быть, он так и уродился бестактным тупицей.

Зимой в Дрездене чудесно кататься на коньках. Каждую ночь замерзший пруд в Большом саду подметали и заливали водой. Во второй половине дня здесь играл военный оркестр, а в уютном ресторанчике подавали чай с пирожными. Часто приезжала кататься кронпринцесса Луиза Саксонская – очаровательная женщина. Она свободно общалась с людьми и была любима всеми классами, кроме своего собственного. Однажды она увидела, как я выписываю пируэты на льду, и послала за мной. После мы часто с ней катались. По натуре она

[27] Эльман, Михаил Саулович (1891–1967) – известный американский скрипач, род. в Киевской губернии; обучался в Петербургской консерватории, приобрел мировую известность после европейского турне в 1904 году. В 1911 году переехал в США, где основал знаменитый Струнный квартет Эльмана.

принадлежала к богеме и, как всякий художник, вечно давала пищу для сплетен. Напыщенная важность саксонского двора, должно быть, воспринималась ею как тяжелый кошмар. Вовсе не обязательно верить всему дурному, что о ней рассказывали. Один мой хороший знакомый, доктор-ирландец, оказался замешан в эту историю. Ему дали сорок восемь часов на то, чтобы убраться из Дрездена, прихватив все свои пожитки, включая семью. Это его разорило – в городе у него была солидная практика. Позже стало известно, что он ни в чем не был виноват, – разве только в излишней болтливости. Но королевский двор во гневе разил направо и налево. Доктора звали О'Брайен. Он сам знал за собой свою сугубо национальную слабость. Однажды я его попросил поддержать резолюцию, которую собирался предложить в клубе.

– Дорогой Джей, не надо! – взмолился он. – Не проси меня выступать! Если я начну говорить, меня уже не остановишь! И один Бог знает, что я могу ляпнуть!

Такого рода трудности были у нас в Пен-клубе, в комитете драматургов, с еще одним ирландцем, Джорджем Бернардом Шоу. Обычно он был просто образцовым членом комитета, но время от времени извечный порок давал себя знать.

– Кстати о музыкальных бокалах, – перебивал он выступающего. – Когда ставили мою пьесу, вышла такая история… Сейчас расскажу!

Рассказывал он с неизменным остроумием, нисколько не рисуясь, одна история тянула за собой другую… Председатель Картон демонстративно клал перед собой на стол часы, но Шоу, разогнавшись, не замечал никаких намеков. Наконец Картону приходилось пустить в ход председательский молоток.

– Прошу прощения, дорогой Шоу! Не сомневаюсь, все здесь, как и я, с удовольствием дослушали бы ваш рассказ до конца, но…

И он указывал на листок с повесткой дня.

– Простите! – отвечал Шоу. – Вы совершенно правы! Так о чем мы говорили?

После близкого знакомства с Германией мне было бы смешно, если бы не было так противно слышать, как немцев выставляют грубыми и зверскими. На самом деле это самый добродушный народ на свете. В Германии практически нет случаев жестокости к животным. Барбаросса когда-то приказал бросить свой походный шатер, потому что на крыше свили гнездо ласточки. В каждом немецком парке непременно имеется специальная кормушка, где суровые смотрители в серых форменных костюмах утром и вечером накрывают стол для «певцов», как здесь принято выражаться. В Германии любят птиц. В Шварцвальде специально устанавливают на верхушке печной трубы колесо от телеги, чтобы аисты могли устроить там гнездо. Кошки здесь не в чести, потому что здоровая кошка, в любой стране, убивает в среднем сотню птиц за год. Никогда не понимал, как может человек, любящий птиц, держать у себя кошку. Единственное, в чем я мог бы упрекнуть немцев как нацию, – чрезмерное увлечение патриотизмом. Здесь, по большей части, истоки всех их безумств. Пример – студенческие клубы дуэлянтов. Чтобы быть готовым сражаться за родину, немецкий юноша должен приучиться терпеть боль и ранения – для этого и служат поединки со всем их кровавым антуражем. Я пару раз присутствовал на таких дуэлях во Фрайбурге и с ужасом поймал себя на том, что меня будоражит запах крови. Скрывающийся в нас хищник не чужд ни одной нации; он рыщет по всему миру. В Англии его выпускают порезвиться на футбольное поле или на боксерский ринг – там он почти безвреден. Мой секретарь, ездивший со мной во Фрайбург, молодой человек по имени Джордж Дженкинс, научил тамошних ребят играть в футбол. Им страшно понравилось; когда мы уезжали, они проводили по три матча в неделю. Старые седые профессора качали головами: новшество плохо сказывалось на количестве поединков. Юноша, которому предстоит играть за свою команду в субботу, не захочет рисковать, что ему выколют глаз в пятницу. Дамы, конечно, все были против нас. Милая фрейлейн искренне гордится, если

ее кавалер появляется в обществе, сплошь обмотанный бинтами, и шарахается от любимого, когда он приходит с футбольного поля растрепанный и весь в грязи. Вместе с Киплингом она считает его чумазым болваном и уверяет, что сражения – куда более привлекательная игра… по крайней мере для зрителей. Впрочем, женщины и поэты (за исключением истинно великих) от природы кровожадны. Уильям Эрнест Хенли и даже милый Стивенсон соловьями разливались о том, как благотворна кровавая баня для цивилизации. Другое последствие увлечения футболом во Франкфурте – там стали пить меньше пива. Студенческие попойки – еще одно печальное свойство немецкого патриотизма. Каждый истинный немец с самого нежного возраста должен быть способен выхлебать больше пива, чем его сверстник из любой другой страны. Они превращают себя в раздутые пивные бочонки во славу святого Михаила. А мальчишка, увлеченный футболом, заботится о дыхалке и ложится спать трезвым. Пожалуй, мы в Англии слишком много значения придаем спорту, но во всяком случае, это не худшая из возможных ошибок. Неплохо, если бы французские мальчишки серьезнее относились к спорту.

Неподалеку от Фрайбурга стоит на берегу Рейна небольшой город-крепость под названием Брейзах. В Средние века жителям Альтбрейзаха, должно быть, нелегко было поддерживать уровень патриотизма на должной высоте – каждые несколько лет город переходил из рук в руки. То Франция его захватит, и, конечно, все добрые горожане обязаны славить Господа за то, что сделал их французами, и рваться умереть за Францию. Не успеют привить детям ненависть к Deutscher Schwein[28], глядь, они уже опять немцы. Бог на сей раз взял сторону кайзера, и оставшиеся в живых обитатели Альтбрейзаха восславляют Unserer Gott[29]. До следующей победы французов, когда им придется спешно восхвалять Notre Dame[30] и объяснять детям, сколь почетно погибнуть за Францию; и так триста лет подряд. Чтобы быть патриотами, горожанам пришлось развить у себя быструю реакцию.

Теннис во Фрайбурге тоже начал входить в моду при нас. В то время там было всего два теннисных корта – а когда я в прошлый раз был в городе проездом, насчитал не меньше сотни. Рыженькая девчушка, которую я учил игре, стала чемпионкой Германии среди женщин.

Мюнхен – хороший город, но климат там безобразный. Я раньше думал, что только мы, англичане, вправе жаловаться на погоду, но путешествуя, убедился, что наша погода – лучшая в Европе. В Германии, случалось, дождь шел шесть недель подряд без перерыва. Во Франции я, ложась спать, ставил кувшин с водой для умывания поближе к пылающему очагу, а утром неизменно оказывалось, что огонь угас и в кувшине вместо воды – кусок льда. В Голландии всегда дует холодный ветер. А в Италии вообще нет зимы.

– У вас в холодной Англии, – говорят итальянцы, – шесть месяцев в году люди жмутся к каминам, чтобы согреться. У нас в Италии даже каминов нет. Сами посмотрите!

И действительно, каминов нет. Итальянцы носят с собой железное ведерко с кучкой горящих угольев. Не знаю, как от них можно согреться, – разве что сесть на ведерко? Я, впрочем, не пробовал. Двое моих друзей умерли от холода в Италии. А уж в России… Англичане, что ворчат по поводу родного климата, пожили бы там с полгодика – не важно, летом ли, зимой ли. В любом случае это их излечит.

Главное занятие в Мюнхене – наряжаться. Там всегда у кого-нибудь праздник, а все прочие присоединяются к веселью, если больше заняться нечем, а чаще всего как раз нечем.

---

28 Немецким свиньям (*нем.*).

29 Господа нашего (*нем.*).

30 Богоматерь (*фр.*).

Христиане отмечают церковные праздники и дни святых. В Мюнхене святым раздолье. Их там видимо-невидимо, и у каждого свой особенный день, заканчивающийся танцами. Для людей мирского склада устраивают цеховые праздники, студенты проводят шествия, а люди искусства – балы-маскарады. На эти блистательные балы приходят толпы народу, а извозчиков в городе вчетверо меньше. В дождливый вечер на улице можно встретить богов и богинь в непромокаемых плащах, фею в галошах или Сократа с Буддой под одним зонтиком. В ясную ночь бал выплескивается на улицу. Возвращаешься домой спать, а тебя вдруг подхватит компания рыцарей-тамплиеров и увлечет на ведьминский шабаш.

Пиво в Германии – большой соблазн. Его коварство в том, что оно не ударяет в голову, поэтому не замечаешь, что перебрал. Однажды я привел знакомого шотландца в «Хофброй».

– Видишь того солидного типа за столиком напротив? – спросил он. – Похож на профессора. Он уже выпил семь здоровенных кружек пива – я считал.

Мимо как раз проходила подавальщица. Я спросил ее:

– Сколько кружек выпил мой друг?

– Шесть, – ответила она.

– Ты отстал на одну кружку, – сказал я ему. – Нужно добавить.

Я заказал еще кружку, и мой приятель ее выпил, хотя продолжал утверждать, что она всего лишь третья. Полная нелепость!

Неподалеку от Мюнхена есть прославленная пивоварня, там пиво делают особым способом. Процесс занимает год, затем в Мюнхене развешивают плакаты с объявлением, что пиво готово, и все население города снимается с места. За неделю пиво выпивают досуха. Заведение закрывается до следующей весны. Меня предупреждали, что пиво это крепкое – *heftig* . Но не сказали, насколько *heftig* ! По примеру знакомых я нанял экипаж, взял с собой детей и гувернантку. Жена накануне уехала в Англию, навестить больную подругу. Наша гувернантка, родом из Дрездена, слыхала об этом пиве и просила быть осторожнее. Клянусь, я был осторожен! Девочкам дали по кружке. Я им объяснил, что это не обычное пиво, к которому они привыкли, поэтому добавки не будет. День был жаркий. Девочки отмахнулись от моих предостережений и гордо выпили все до дна. Гувернантка – очаровательная, возвышенного образа мыслей девушка, за всю свою жизнь, кажется, ни разу ничего не нарушившая, выпила одну кружку и пригубила другую. Сам я решил перестраховаться и ограничился всего лишь тремя. Когда я только приступил к третьей, моя старшая дочь вдруг сказала, что ей хочется домой, встала, повернулась кругом и снова села. Младшая смахнула со стола стакан, уронила на его место голову и с довольным вздохом погрузилась в сон. Я посмотрел на фрейлейн Ланкау.

– Главное – не привлекать внимания, – сказала гувернантка. – Сидите на месте, как будто ничего не случилось, а я уведу наших бедняжек и вызову экипаж. Вы чуть погодя тихонько идите за нами.

Я сам не мог бы придумать более разумного плана. Гувернантка взяла сумочку, встала и тут же вновь села – практически одним движением.

– Лучше вы берите детей и идите к экипажу, – сказала она. – Потом вернетесь за мной. Держите девочек покрепче и идите прямо вперед. Давайте! Никто не смотрит.

Я человек с острым умом и притом весьма наблюдательный. Еще раньше я заметил человека простонародной внешности и могучего сложения, который три раза прошел мимо нашего столика, и каждый раз сопровождал другого спутника, а возвращался один. Сейчас он как раз направлялся в обратную сторону порожняком. Я жестом поманил его.

– Если вы, фрейлейн Ланкау, и ты, дорогая Элси, возьмете этого джентльмена под руку… вернее, под руки, я уверен, он окажет вам любезность и проводит до экипажа. А я здесь посижу, присмотрю за младшенькой, пока он не вернется.

Он отечески обнял одной рукой фрейлейн Ланкау, другой Элси. Это получилось у него совершенно естественно.

Несколько минут спустя он появился вновь и так бережно поднял младшую девочку, что она даже не проснулась. Собственно говоря, она не просыпалась до вечера. Я ухватился за локоть этого великодушного человека, и мы двинулись к выходу. Усадив меня в экипаж и укутывая пледом, он обмолвился о том, что стоимость услуги – четыре марки. Я дал ему пять и от всей души пожал ему руку.

– Конечно, очень печально, что у милой миссис Джером заболела подруга, – промолвила фрейлейн Ланкау, когда экипаж тронулся. – И все-таки тут, быть может, вмешалось само Провидение.

С этими словами она заснула.

Бедная фрейлейн так верила в Провидение! Она умерла от голода во время блокады[31].

Когда мы были в Мюнхене, там пользовался большой известностью художник Франц фон Ленбах. У него была очаровательная дочка лет шести. Мать ее находилась в отъезде, и малышка с крайне серьезным видом выполняла в мастерской обязанности хозяйки. Многие посетители порывались ее поцеловать, но такие попытки она пресекала, решительно выставляя крохотную ручку.

В Мюнхене я встретил еще одну интересную личность – величественную рыжеволосую даму, жену барона; в то время бароны в Германии встречались на каждом шагу. Она жила на тихой тенистой улочке у реки, и мало кто догадывался связать с ней имя семнадцатилетней Клотильды фон Рюдигер, о которой говорила вся Европа. Мередит рассказал ее историю в своей книге «Трагические комедианты». Безумная, невероятная страсть. Она – из древнейшего знатного рода. Он – еврей, народный трибун, предводитель бунтующих масс. Аристократическая родня сперва не желала верить в происходящее, затем пришла в ярость, как и следовало ожидать. Идеальный материал для исторического романа, однако действующие лица живут в наши дни. Героиня – преданная, экзальтированная, бросает вызов привычному миру ради любви. Герой дерзок и великолепен. В последней главе убит высокородным соперником, которого строгие родители выбрали дочери в женихи. Все как полагается. Читатель готовится проливать слезы. И внезапно – любопытнейший эпилог. Клотильда фон Рюдигер отдает свою руку князю Ромарису – тому самому жениху, что убил на дуэли ее возлюбленного. Мередит ее понимает и потому способен простить, однако мы все равно остаемся в недоумении. Разговариваешь с ней, тактично избегая таких тем, как религия, политика и секс, беседуешь об опере, расспрашиваешь о ее жизни в Америке, отвечаешь на вопросы, положить ли в чай лимон и тому подобное, и никак не можешь мысленно отрешиться от унылой гостиной с потертой, фабричного изготовления мебелью, чтобы вспомнить пламенную юность этой женщины, некогда переполошившей высший свет.

Снобизма в Европе почти нет. Должно быть, одна из причин – огромное количество титулованных особ. В Мюнхене мы близко познакомились с очаровательным итальянским князем, чья родословная восходит к Карлу Великому. Его жена, сама из княжеского рода, устраивала журфиксы по четвергам. Жили они недалеко от нас, в трехкомнатной квартире. Его

---

[31] Имеется в виду блокада германских портов, установленная Великобританией во время Первой мировой войны (1914–1918). В результате от голода умерли почти 800 тысяч жителей.

всегда можно было встретить утром в четверг близ Театинерштрассе с корзинкой, выбирающим изысканные пирожные и печенье к вечернему приему. За покупками вообще обычно ходил князь. У него это так замечательно получается, объясняла княгиня. Сама она больше увлекалась готовкой. Другая наша знакомая, австрийская графиня, выиграла карету в лотерею. Вначале экипаж, видимо, предназначался для цирка: весь желтый с золотом, похож на карету нашего лорд-мэра в миниатюре. Графиня, однако, не находила тут ничего смешного. Держа спину очень прямо, она совершала круг по Английскому саду в своем роскошном экипаже, запряженном взятой напрокат древней костлявой клячей, и с кучером в шоколадного цвета ливрее восемнадцатого века. Наша Dienstmädchen [32] состояла в родстве с Dienstmädchen графини; так мы и узнали, что ради таких прогулок бедная леди отказывала себе во многих маленьких радостях. Главная прелесть этого выезда состояла в том, что не заметить его было невозможно. В любой толпе он мгновенно привлекал все взоры. Кавалеры приподнимали шляпы, дамы склоняли прелестные головки. Невыразительное лицо старой графини преображалось, и она милостиво расточала ответные любезности.

В Брюсселе до войны была большая английская колония. Жизнь в этом городе очень дешева, если знать язык и уметь быстро считать в уме. Поначалу новоприбывшие при знакомстве с соотечественниками часто теряются.

– Мистер и миссис Иксли-Некто, знакомое имя, – шепчете вы на ухо жене. – Где мы с ними встречались?

– Никак не вспомню, – отвечает жена. – В лицо я ее точно знаю.

Опыт учит не задавать прямых вопросов, а разузнать позже окольным путем.

– В лицо знаете! – смеется ваш приятель. – Еще бы не знать! Ее фотографии две недели печатали во всех газетах. Любопытное дело о разводе. Трое соответчиков. Их прозвали «Тройственный союз». Иксли, кажется, играл там главную роль. Во всяком случае, они поженились. Милые люди. Дают очень приятные обеды.

Еще один обладатель смутно знакомого имени оказывается бывшим предпринимателем – считается неделикатным уточнять его предыдущий адрес. За две зимы в Брюсселе я познакомился с тремя джентльменами, каждый из которых, по его собственным словам, был раньше известен как «Наполеон финансового мира». Похоже, несчастливая фамилия.

Также сильно сбивает с толку обычай брюссельских торговцев заходить в дома новых жильцов и оставлять свои карточки. Причем на карточке нет никаких поясняющих надписей, только имя и адрес. Мы с женой добросовестно составили список. Насколько мы могли судить, джентльменов не сопровождали дамы, но быть может, в Германии так принято? В воскресенье около полудня мы отправились с ответными визитами. Семья, с которой мы начали, жила над бакалейной лавкой. Очень милые люди, но почему-то мы никак не могли избавиться от ощущения, что нас не ждали. Жена, решив, что дело в строгой религиозности, извинилась за то, что мы пришли в воскресенье. Но нет, совсем напротив: они с жаром нас уверили, что это для них самый удобный день, и очень просили, если мы вновь надумаем их навестить, делать это исключительно в воскресенье. Они предложили угостить нас чаем, но мы объяснили, что у нас в планах еще несколько визитов, и, посидев ради приличия минут двадцать, ушли.

Следующее семейство из списка обитало над обувным магазином под названием «Международный обувной эмпориум». Дверь квартиры выходила на боковую улочку. Месье спал, но мадам его разбудила, потом позвали детей и старшая девочка сыграла на фортепьяно. Мы не задержались надолго, да нас и не уговаривали остаться. Мадам, заметно растроганная,

---

[32] Горничная (*нем.*).

поблагодарила за нашу доброту. Нас проводили до двери, и дети махали вслед платочками, пока мы не свернули за угол.

– Если ты намерена обойти всех, – сказал я жене, – лучше возьми извозчика. А я пойду домой. Не люблю я эти светские мероприятия.

– Зайдем еще к одним, – попросила жена. – Хоть посмотрим, где они живут.

Оказалось, что над кондитерской. Фамилия, третья в нашем списке, значилась на вывеске.

– Выпьем здесь чаю, – предложила жена.

Идея оказалась удачной. Нас угостили превосходным чаем и восхитительными булочками с кремом. Мы просидели там полчаса.

– Оставим свои карточки или заплатим по счету? – спросил я жену.

Она ответила:

– Если карточки, то нам придется пригласить их на обед.

В каждом из нас таится доля снобизма. Я предпочел заплатить по счету.

Когда мы жили в Брюсселе, король Леопольд пользовался там всеобщей нелюбовью. Как раз в то время выяснилось, какие ужасы творились в Конго. Из уважения к бельгийцам надеюсь, что это тоже повлияло на общественные настроения. Когда королевская карета проезжала мимо, люди задергивали шторы. По улицам за королем следовала толпа, крича и улюлюкая. Брата его, графа Фландрского, напротив, любили. Этот чудаковатый старый джентльмен часто прогуливался по авеню Луизы и заговаривал со встречными, оказывая особое предпочтение англичанам. От Брюсселя до Ватерлоо можно не спеша прокатиться на велосипеде – через Суаньский лес, где когда-то бродил в раздумье старина Фома Кемпийский. Замечательное развлечение – привести туда англичанина и позвать с собой знакомого гида-бельгийца, отставного сержанта, чтобы он рассказал в подробностях о битве. Вам покажут Бельгийского льва, гордо озирающего поле сражения с высоты своего постамента на вершине пирамидального холма, и расскажут, как восемнадцатого июня 1815 года бельгийская армия разгромила французов, при поддержке немцев и нескольких англичан.

Одну зиму мы для пробы провели в Лозанне. В швейцарских городах зимой скучновато. Из нашей виллы на холме вид открывался потрясающий, но по вечерам хотелось пойти в кафе или в театр. Дипломат-литератор Освальд Кроуфорд с женой останавливались в «Бо-Риваже». Именно там он изобрел бридж-аукцион. Я часто приходил к нему играть. Старая разновидность игры ему надоела, и он с помощью знакомых офицеров-французов разрабатывал новую идею. В ту зиму я невзлюбил больных. Они буквально заполонили «Бо-Риваж». Люди глотали семь разных видов пилюль перед обедом, а потом сидели и ковыряли вилкой еду в тарелке. Прелестные барышни, заманив вас в уголок, делились подробностями своих затруднений с почками, а ваш партнер по картам внезапно прерывал игру, чтобы весьма реалистично изобразить, какие спазмы с ним приключились ночью. Не сразу и вспомнишь, какие сейчас козыри.

Жизнь за границей сильно повысила мою самооценку. Оказалось, что меня повсюду знают и относятся, как говорили в ранневикторианских романах, с совершеннейшим почтением. Я задрал нос и выбросил из головы реки помоев, которые обрушивали на меня английские литературные журналы. Если и вправду как судят иностранцы, так рассудят и потомки, говорил я себе, то у меня есть все шансы стать замечательным писателем – посмертно.

Если уж говорить о современниках, оказалось, что Филпотса тоже много читают за границей, особенно в Германии и Швейцарии. Зангвилла знают в литературных кругах любой страны. Зато Барри, к моему удивлению, очень мало известен. Однажды я заговорил о нем в России.

– Вы имеете в виду мистера Пейна? – спросил кто-то из гостей.

Шоу пока еще туда не добрался. Уэллс к тому времени уже пользовался популярностью во Франции, а Оскар Уайльд был прямо-таки знаменит. О Киплинге говорили скорее как о политике, а не поэте. Читали Стивенсона и Хаггарда. Но о тех, кого Флит-стрит считает истинно великими, там и слыхом не слыхали.

Глава X
Автор и спорт

Мои высокообразованные друзья со склонностью к статистике утверждают, что в идеально организованном мире каждый будет работать не больше двух часов в день. Меня крайне беспокоит, чем же я тогда займу оставшиеся двадцать два часа? Положим семь часов на сон, еще три – на еду; не представляю, как можно их растянуть еще больше и не заболеть от обжорства. Остается четырнадцать часов. Какому-нибудь буддисту-созерцателю это, должно быть, пара пустяков. Он способен справиться с такой задачкой буквально стоя на голове – и скорее всего так и сделает. Однако среднему христианину придется трудно. Мне советуют освободившееся время посвятить самосовершенствованию, развивать свой ум. Но не всякий ум может развиваться бесконечно. Боюсь, мой ум в процессе зачахнет. Не исключено, что вместо самосовершенствования я просто рехнусь. Быть может, конечно, страхи мои беспочвенны. В пьесе Шоу «Назад к Мафусаилу»[33] некий юноша спрашивает одного из древних, не утратил ли он способность радоваться жизни, на что тот отвечает вполне в духе миссис Уилфер: «Дитя, даже минута того упоения жизнью, какое вкушаем мы, убила бы тебя». После чего, согласно авторской ремарке, «торжественной поступью удаляется через рощу». А молодые люди «помрачнев, провожают его взглядом». Точно так же, должно быть, смотрел злосчастный мистер Уилфер. Что ж, возможно, к этому и придем. Подобно дорожных дел мастеру, что иногда сидел и думал, а иногда просто так сидел, мы в конце концов усвоим привычку четырнадцать часов в день предаваться ничегонеделанию, без всякого вреда для своей печени. Но такие высоты достигаются постепенно, а пока приходится иногда и развлекаться.

Я сам немало времени потратил на развлечения. У Джорджа Гиссинга есть рассказ о жизни бродяги. Я так и не понял, задуман рассказ как комический или трагический. Молодой бродяга весьма возвышенного образа мыслей любит птичек и цветы, стихов не пишет – ему лень записывать, – но мыслит стихами. Пользы не приносит, как и большинство из нас, зато и вреда от него никакого. К несчастью для всех, он пробуждает любовь в сердце добродетельной девушки. Она принимается его перевоспитывать: объясняет, что праздность – грех, а труд облагораживает. Ради нее он берет сколько-то денег взаймы и заводит бакалейную лавку. Дальше больше, лавка постепенно превращается в сеть универсальных магазинов, и в конце концов герой становится жирным капиталистом. Когда совесть подталкивает меня к письменному столу, я напоминаю ей об этом рассказе. Если сяду за стол, я напишу еще больше книг и пьес; того и гляди, стану известным писателем или директором театра.

Таланту незачем бегать от работы. Его к ней тянет. Шоу никогда не тратит времени впустую. Холл Кейн такой же. Отправился он на зиму в Швейцарию. Сразу представляешь себе, как он, играя в керлинг, носится по льду со шваброй или без шапки мчится с горки на санях с криком: Achtung![34] А находишь его в кабинете на верхнем этаже гостиницы, где он в

[33] Цитаты из пьесы приведены в переводе С. Сухарева.

[34] Зд.: Берегись! (*нем.*)

тишине предается усердному труду. Однажды я вытащил его на свежий воздух. Кейн жил тогда в Санкт-Морице, в гостинице «Палас», а мы с племянницей остановились в Давосе. Шел снег, кататься было невозможно, однако дьявол всегда найдет занятие для праздных ног. Мы решили пойти потормошить Холла Кейна в разгар работы над новой книгой. Это был роман «Христианин». Часто хорошая книга оказывает влияние на самого автора. Кейн встретил нас приветливо, а когда я предложил прогуляться после обеда, кротко ответил, что будет очень рад.

Он сказал, что знает короткую дорогу до Понтрезины. В результате мы увязли в снегу по пояс.

– Теперь я знаю, где мы! – сказал Кейн. – Мы в ложбине. Надо было свернуть направо.

Мы немедленно свернули направо и оказались в снегу по шею.

– Я бывал в Понтрезине, – заметил я. – Не так уж там интересно.

– И то правда, – согласился Кейн.

Застрять в сугробе легче, чем выбраться из него. Смеркалось, когда мы доплелись до Целерины. Кейн отправился к себе по шпалам, а мы с племянницей побрели на станцию. Все еще валил снег.

– Это не шутка, – сказал я племяннице, когда мы уже сидели в поезде. – Мы могли замерзнуть насмерть. Такое случается.

Моя племянница Нелли – набожная девушка и преданная поклонница Холла Кейна.

– Я бы, может, испугалась, – промолвила она, – если бы с нами не было мистера Кейна. Я совершенно уверена, что его оберегают свыше.

Раньше Санкт-Мориц был уютным тихим городком с единственной, по сути, гостиницей – «Кульм». Мы с женой остановились в «Паласе», когда его только-только открыли. С нас брали по семь франков в день, включая все услуги. Говорят, с тех пор цены выросли. Постояльцев набралось едва ли с десяток, в том числе один генерал в отставке, служивший раньше в Индии, – он страстно любил кататься на коньках.

– Сорок пять лет на коньках не стоял, – доверительно сообщил он мне в первое же утро. – А раньше недурственно катался. Надеюсь, навык быстро вернется.

Спортивный старикан заказал себе специальные щитки на случай падения: два для коленок, два для локтей и один для затылка.

– Нос можно и руками прикрыть, – объяснял он. – А оставшееся уязвимое место можно уже и не беречь. В моем возрасте кости важнее.

Джейкобс из всех видов спорта предпочитает кегли. Говорит, в них можно играть, не разгорячаясь и не теряя достоинства. Филпотс с женой неплохо играли в теннис в былые дни, в Илинге – не будем уточнять, сколько лет прошло с тех пор. Лаун-теннис в то время только-только изобрели. Не было единого стандарта на ракетки, играли кто во что горазд. Особо увлеченные сами конструировали свои ракетки – в форме фасолины, или изогнутые буквой S, чтобы мяч отбивать с подкруткой. Регулировать размер и форму ракеток начали уже в эпоху братьев Реншоу. Было время, когда те из нас, кто старался следовать за модой, играли в крахмальных рубашках со стоячим воротничком, а девушки – в платьях со шлейфом, который придерживали на бегу. У.Ш. Гилберт, большой оригинал, устроил у себя корт на двадцать футов длиннее обычного. Забыл, как он это обосновывал, – его объяснения были такими же длинными, как и корт. Упрямый он был невероятно. Помню, один приятель ужасно его разозлил, крикнув посреди игры, как будто раньше не замечал особенностей корта:

– Слушай, Гилберт, мы здесь в теннис должны играть или баллады Бэба разыгрывать?

Теннис – единственная подвижная игра, в которую можно играть до старости. Гольф я всегда считал скорее лечебной процедурой, а не просто игрой. Одного моего друга полугодичный курс гольфа совершенно излечил от сенной лихорадки. И от большинства

нервных болезней отлично помогает. Раньше доктора рекомендовали «умеренные физические упражнения», а сейчас прописывают гольф. По-моему, гораздо разумнее. Я видел прямо-таки великолепную теннисную партию в исполнении четырех участников, чей суммарный возраст составил двести сорок лет. У меня в Монкс-Корнер, близ Марлоу, был первоклассный корт. Уход за травяным кортом – очень трудоемкое дело. Говорят, в Уимблдоне каждой травинке на центральном корте присвоено собственное имя. Я до такого не дошел, но едва ли случался день, чтобы я не провел хоть полчаса, ползая по корту на карачках. Уилфред Батделей, три года подряд становившийся чемпионом Англии, говорил, что это лучший из частных кортов, на которых ему приходилось играть. У нас бывали хорошие игроки. Мой сосед, художественный критик Болдри, устроил у себя корт с бетонным покрытием. Наши корты соединялись короткой тропинкой через лес и оба были укрыты от дождя, так что, если не случалось наводнения, мы всегда могли поиграть. Миссис Ламберт Чемберс – очаровательный партнер, она умеет успокоить и ободрить. На первый взгляд кажется, что теннис – очень простая игра. Как-то летом у нас гостил чемпион Италии. У него была невозможная подача – он ухитрялся закрутить мяч в обратную сторону, и тот, упав вплотную к сетке, отскакивал назад. В Уимблдоне срочно придумали новое правило: при подаче мяч должен двигаться только вперед. В ходе игры этот хитрый удар по-прежнему допускался. Отбить его невероятно трудно, разве что с лёта, и то не всегда удается. Кэтлин Маккейн с сестрой часто у нас бывали. Семья останавливалась на лето в Хамблдоне, в домике сторожа при шлюзе, оттуда легко можно доехать на велосипеде.

Дойл отличался во всех видах спорта, но больше всего, пожалуй, в крикете. Мне крикет никогда не давался. Ему нужно учиться с самого раннего возраста, а у меня в детстве такой возможности не было. Барри был крикетист душой. Помню матч в Шейре, в Суррее – мы там одно лето снимали коттедж. В те дни это была тихая старосветская деревушка. Вокруг тянулись бесконечные пустоши, где проезжая дорога постепенно сужается до едва заметной тропинки и в конце концов теряется в траве. Десять миль пройдешь, пока встретишь живого человека, у которого можно спросить дорогу, и то десять шансов к одному, что он не сможет ответить. Матч организовал Барри – он был прекрасным капитаном команды. Предполагалось, что играть будут холостяки и незамужние девицы против женатых пар. Но за несколько дней до игры у одного из женатых жена сбежала с одним из холостяков, и из соображений такта был объявлен матч литераторов против журналистов. Бургин, в то время младший редактор «Лентяя», отбил мяч на подаче, если не ошибаюсь, Морли Робертса, но от силы удара перекувырнулся через голову и вскочил, сжимая мяч в руке. Бургин утверждал, что мяч не коснулся земли и потому должен считаться отбитым. На мяче ясно виднелось пятно грязи, но Бургин утверждал, что оно там было и раньше, – он отчетливо разглядел пятно, пока мяч летел на него. Не помню, чем закончился спор.

Дойл увлекался всеми зимними видами спорта. Он одним из первых ввел в Швейцарии моду на лыжное катание – до тех пор оно было популярно исключительно в Норвегии. Весь Давос приходил посмотреть, как Дойл и еще несколько энтузиастов бегают на лыжах. Все любят наблюдать за лыжником-новичком. Как я убедился на собственном опыте, сломать шею, катаясь на лыжах, практически невозможно. Быть может, способ этого добиться существует; в таком случае это единственный способ, которого я не испробовал. Я впервые встал на лыжи лет примерно в сорок пять. Правда, у меня было преимущество – я хорошо катался на коньках и знал все о старых добрых снегоступах. В конце концов я и на лыжах научился ходить, но будь у меня возможность повторить все сначала, не стал бы с этим так тянуть. Обратное сальто и шпагат – упражнения, которые легче даются в молодости.

Однако дело того стоило. В последний раз я катался на лыжах в Арозе, в первый год войны. Собралось довольно странное смешанное общество. Американки скользили на коньках

рука об руку с немецкими офицерами. Французы, немцы, итальянцы летели с горки на одних салазках, уцепившись друг за друга. Добродушный джентльмен из Санкт-Петербурга, утверждавший, что состоит в родстве с царем, давал по утрам уроки русского трем австрийкам из Вены – они опасались, что после войны им придется говорить на этом языке. Все мы замечательно ладили друг с другом. Спорт бесстыдно интернационален.

Наступил последний день моего отпуска. Ароза – отличное место для катания на лыжах. Я успел немало потренироваться и был в хорошей форме. Наняв мальчика из деревни для сопровождения, я стал подниматься по склону Вайсхорна. Ни один опытный лыжник не пойдет в горы в одиночку. Очень легко, свалившись, оказаться в такой позе, из которой своими силами встать анатомически невозможно. День выдался идеальный. Ночью был снегопад, и снег не успел подмерзнуть. Два часа мы карабкались вверх и наконец, добравшись до ровного участка, расчехлили лыжи, чехлы обвязали себе вокруг пояса, затянули ремешки и помчались. Я часто завидовал ласточкам, когда они с распростертыми крыльями скользят по воздуху, едва не касаясь земли. Сейчас я завидую еще больше, потому что знаю это ощущение. Есть только одно еще чудеснее, называется неблагозвучным словом «трамплин». По сигналу лыжник начинает тихо катиться вниз, лыжи параллельны друг другу, ноги слегка согнуты в коленях. Укатанная лыжня постепенно становится круче. Сосны все быстрей проносятся мимо. Вдруг деревья расступаются в стороны: лыжня, прямая как стрела, ведет прямо вперед и… обрывается. А затем великолепный прыжок в пустоту. Лыжник летит, раскинув руки. Долгим ли кажется ему промежуток времени, пока земля не рванется навстречу? И вот он уже несется через толпу восторженно вопящих зрителей к финишному флажку. Не так уж сложно, хватило бы только храбрости.

Одна из самых серьезных опасностей, подстерегающих лыжника, – напороться на засыпанную снегом изгородь. Обычно это кончается переломом лодыжки. А однажды я набрел на человека, на корточках застывшего у пропасти, – его лыжи слегка высовывались за край. Он не решался пошевелиться, погрузив руки в снег у себя за спиной в виде единственной зацепки. Впрочем, учитывая, с какими трудностями сталкивается лыжник на каждом шагу, остается удивляться, что несчастные случаи так редки. Да будь они и в двадцать раз чаще, все равно я советовал бы молодежи испробовать этот вид спорта, невзирая на риск.

Чего следует опасаться, так это переутомления. Как и верховая езда, катание на лыжах дает непривычную нагрузку на специфические группы мышц. Пока они как следует не разработаны, избегайте долгих забегов. Впервые я встал на лыжи в Вилларе. Некий каноник Сэвидж собрал компанию для лыжной прогулки и пригласил меня. Я предупредил, что всего лишь новичок. Он замахал руками: все будет прекрасно, они за мной присмотрят. Мы отправились в восемь утра. На обратном пути я обнаружил, что не держусь на ногах. Кое-как поднимаюсь ценой невероятных усилий и тут же снова падаю. Уже в сумерках я свалился в сугроб и потерял лыжи. Ремешки отстегнулись. Я беспомощно смотрел, как мои лыжи плавно скользят вниз по склону. Кажется, без меня у них получалось намного лучше. Я, проникшись к ним ответной неприязнью, поначалу тоже радовался, что мы расстались – пока не сообразил, что теперь у меня на ногах всего лишь пара тяжелых башмаков. Совершенно измученный, я не мог самостоятельно выбраться. Я стал кричать во всю силу легких. Быть может, ее осталось слишком мало, а возможно, каноник с компанией слишком далеко ушли вперед и потому не услышали. К счастью, добрый христианин по имени Арнольд вспомнил обо мне и вернулся. Я упомянул этот случай на следующий день в разговоре с каноником, но его чувство юмора оказалось тоньше моего. Он только посмеялся.

Меня никогда особенно не привлекала английская школа катания на коньках. По-моему, ее изобрел человек с деревянной ногой. Я эту школу освоил – во всяком случае, достаточно,

чтобы о ней судить. В ней нет радости. Признаю, она трудна. Так же трудно танцевать в смирительной рубашке. Какой смысл заниматься чем-то лишь потому, что оно противоречит законам природы? Крутить пируэты, растопырив руки и ноги, словно русская балерина, – не самое благопристойное занятие для пожилого джентльмена средней упитанности. А я с удовольствием катался на коньках до пятидесяти восьми.

Катание на санках с хорошо подготовленной горки быстро теряет свое очарование. Очень точно это занятие описывает китаец: «Вз-зик! А потом исё одна миля пёхом». Новички иногда вылетают с трассы на повороте, совершая при этом различные забавные кульбиты. Хорошо, что это случается довольно часто, иначе зрители заскучали бы. Помню, одна дама в Мюррене пыталась править санями при помощи шеста футов двадцати в длину, используя его наподобие руля. Получалось плохо. На каждом бугорке шест подскакивал в воздух, и тогда приходил черед зрителей выделывать кульбиты, отчаянно ругаясь. Бобслей – совсем другое дело. Тут нужны отвага и умение. Однажды Гарольд Фримен, президент Давосского тобоганного клуба, будучи пилотом, сломал руку в самом начале гонки, однако продолжал править до самого финиша. Представляю, каково это – провести сани по всем крутым поворотам трассы в горах над Клостерсом, когда в твою плоть вонзается обломок кости. С обычными санками хорошо гулять в долине. Ровные участки преодолеваешь пешком, в редких деревушках заходишь в таверну покурить и выпить кружку пива, а там, где дорога идет под уклон, скользишь себе, любуясь пенящимся потоком далеко внизу. Весьма увлекательное занятие – уворачиваться от саней, груженных лесом. Тяжеловозы косятся на вас кроткими глазами и звякают бубенцами. Дети, выйдя из школы после уроков, загораживают вам путь. Вы грозите им кулаком и мчитесь прямо на заслон, зная, что в последний миг они разбегутся. Но готовьтесь потом получить град снежков в спину! То и дело обгоняете пышнотелую фермершу, сидящую очень прямо, зажав между колен корзину с куриными яйцами, и торжественно обмениваетесь с ней кратким: «*Grüss Gott!* »[35]. Наконец добираетесь в сонный город у самого устья долины, выпиваете чашечку кофе, – быть может, со стаканчиком шнапса, – и домой, в миниатюрном поезде, переполненном общительными крестьянами. Если достанется место у печки, дремлете всю дорогу.

Альпинизм в Швейцарии скоро совсем уйдет в прошлое. На каждую гору проложат железную дорогу. Главное удовольствие было – обсудить потом свое восхождение за кувшином вина в общей комнате деревенской гостиницы, слушая мудрые советы проводников, обмениваясь впечатлениями с другими альпинистами, расписывая встреченные вами опасности и чудесные спасения. Кому все это нужно теперь, когда в любой момент вашу волнующую сагу может прервать какой-нибудь спортсмен в гетрах и свитере безумной расцветки, бодро заявив: «Да-да, мы сегодня туда прокатились поездом девять сорок пять. Вид недурен, но кормили отвратно»?

Я всего один раз непосредственно столкнулся с несчастным случаем. При переходе через ледник мой друг Фрэнк Мэтью сорвался в пропасть. Мы были связаны веревкой, так что этот легкомысленный тип чуть и меня за собой не утянул. Разумеется, проводник нас обоих удержал, но сколько потом пришлось возиться, вытаскивая Фрэнка! Я хотел идти дальше, но Фрэнк отнесся к происшествию очень серьезно, и мы помогли ему дохромать до дома.

Фрэнк Мэтью был племянником великого проповедника трезвости – Теобальда Мэтью, известного как «отец Мэтью». Фрэнк писал для «Лентяя» очаровательные рассказы на ирландскую тему. Если бы продолжал, наверняка составил бы себе имя в литературе. Увы! Он

---

35 Бог в помощь! (*нем.*)

получил наследство и удачно женился.

Очень опасен спуск по заснеженному склону. Как-то мы с Мэтью решили подняться на Шайдег. Гостиницу тогда еще не построили, был всего лишь маленький домик. Мы мечтали поесть, но старик хозяин оказался не в состоянии кого-либо обслуживать: он плакал и едва держался на ногах. Только что он увидел в подзорную трубу, как три человека один за другим слетели в пропасть – одну из тех, которых так много на Юнгфрау. Их тела нашли несколько дней спустя. Это были трое молодых итальянцев, рискнувших отправиться в горы без проводника.

Фотограф-любитель – проклятие Швейцарии. Ладно бы еще они вас снимали в удачные моменты. Как-то в «Сфере» опубликовали чудесную фотографию, на которой мы с дочерью кружимся на коньках в Гриндевальде. Прелестная получилась картинка! Но как правило, фотографа-любителя не привлекает красота. Я еще в самом начале своего увлечения лыжами заметил – когда что-нибудь получается изящно и плавно, фотоаппарат всегда смотрит в другую сторону, а стоит шлепнуться на спину, дрыгая ногами в воздухе, и первое, что увидишь, придя в себя, – десятки направленных на тебя «кодаков». Бедняге Редьярду Киплингу так и не дали потренироваться по-человечески. Мы с ним вместе оказались как-то зимой в Энгельберге. Киплинг делал первые шаги и на лыжах, и на коньках. Куда бы он ни пошел, фотолюбители толпами следовали за ним по пятам. Должно быть, он чувствовал себя как комета, пытающаяся оторваться от собственного хвоста.

Однажды я с утра повел его кататься на лыжах. Место я нашел заранее – примерно в миле от отеля, идеально для начинающего. Мы вышли ни свет ни заря, но какой-то балбес все-таки нас увидел и рассказал остальным. Не успели мы пристегнуть лыжи, как пол-Энгельберга уже стекалось к нам.

Киплинг – сильный духом человек. Я поражался его терпению.

Он только вздохнул:

– Могли бы разок дать мне фору. Успел бы хоть лыжи надеть.

Энгельберг слишком низко расположен для хорошего катания. Когда случилась оттепель, я от скуки организовал любительский спектакль. Участвовали дети Киплинга, мальчик и девочка, очень славные. Маленький Киплинг играл суфражистку, а мисс Киплинг – жену уличного торговца. Сам Киплинг исполнял сразу две роли – рабочего сцены и помощника режиссера. Я встретил миссис Киплинг впервые после ее замужества. Она все еще была красива, хотя волосы совсем побелели. В ее глазах еще в девичестве всегда виднелась печаль. Были там и Хорнунги со своим единственным сыном, Оскаром. Миссис Хорнунг, урожденная Конни Дойл, оставалась по-прежнему жизнерадостной, только чуть располнела. Оба мальчика позже погибли на войне.

В Англии как раз в это время проходили выборы. Постояльцы отеля все время пытались втянуть нас с Киплингом в политические дебаты. Думаю, один я там не принадлежал к числу закоренелых консерваторов. Киплинг со мной был неизменно вежлив, чего нельзя сказать о желчных старых полковниках из Челтнема и свирепых пожилых леди из Бата. И все же это было неплохое развлечение в дождливую погоду. Конан Дойл в своих мемуарах называет меня «вспыльчивым и нетерпимым в вопросах политики». Я очень удивился, прочтя такую формулировку. Точно то же самое я сказал бы о Дойле. Видимо, тут дело в том, что терпимость – другое название равнодушия. Если человек убежден, что его взгляды, будь они распространены повсеместно, принесут неоценимое благо человечеству, то противоположное мнение он неизбежно сочтет следствием глупости или первородного греха. Даже Сократ, если верить Платону, отличался изрядной нетерпимостью.

Случись мне спорить с Сократом, я бы, пожалуй, предпочел, чтобы он сразу назвал меня

тупицей и дело с концом, чем по своему страшно раздражающему методу шаг за шагом доказывал бы мою тупость. Готов поспорить, Фрасимах считал Сократа самым нетерпимым человеком на свете. Если Дойл сумеет вызвать дух Фрасимаха, пусть спросит, прав я или нет. По-настоящему терпимыми (и то не во всем) мы станем, только когда поймем, что цель жизни человека – внутри него, а не вне, и что так называемый прогресс движется не по направлению к истине, а вокруг да около.

Проселочных дорог больше нет. Вместо них теперь шоссейные дороги, по которым ездят автомашины. Но рулевое колесо – плохая замена для вожжей. Это я говорю как кучер со стажем. Весело было править упряжкой славных лошадок, знакомых и любимых. Они понимали, что сами тоже участвуют в игре, и заботились о том, чтобы эта игра не была скучной. Один мой знакомый в былые времена, желая отвлечься от мыслей о делах, приказывал подать двуколку, запряженную парой лошадей цугом, и катил по Пиккадилли и Бродвею, а потом домой через Ричмонд-Хилл и Брентфорд. А сейчас он выводит из гаража авто, и всего забот – поглядывать, нет ли поблизости полисмена. Разве тут отвлечешься? Каретой четверкой править интересно, хотя по сравнению с двуколкой немного пресновато. Две передние лошади идут в паре, и если только они не сговорились заранее и не назначили какой-нибудь условный сигнал, не смогут внезапно обернуться и посмотреть на вас. А передняя лошадь в паре, идущей цугом, может и довольно часто так делает, и тут приходится резвее щелкать кнутом, иногда еще и прибавив пару крепких словечек. Разумеется, вышколенной парой легко править, но такие упряжки – удел богатых, да и, в сущности, намного веселее, когда лошади у вас – не бездушные механизмы, и приходится напряженно следить за ними, пытаясь угадать их мысли по движению ушей. Был у меня ирландский конек. Им и править-то не нужно было, достаточно в общих чертах дать понять, куда я направляюсь. Он сам находил дорогу через оживленный городок в базарный день, давая мне возможность сосредоточиться на второй лошади. Но это – если он был в хорошем настроении. Когда же настроение у него было плохое, он становился сущим чертенком. Однажды летом у меня гостили приятели из Оксфорда. Лошади весь день провели в конюшне, и ребята предложили прокатиться на двуколке при лунном свете. Мы не взяли с собой моего старого кучера, да он и не выказывал особого стремления участвовать в прогулке.

– Я бы на вашем месте, сэр, приглядывал за малышом, – напутствовал он меня, вручая вожжи. – Не нравится мне, как он копытом бьет.

Началось все очень неплохо. Пат шел ровно и, казалось, дремал, но я-то знал, что на уме у него одни пакости. Его настроение передавалось мне через восемнадцатифутовые вожжи. Надеясь охладить его пыл, я свернул на узкую дорогу меж крутых откосов. Конек по-прежнему казался полусонным, но я ему не доверял. Дорога шла извивами. Вдруг на повороте он задрал голову, прижимая уши. Я заорал:

– Держитесь!

В следующий миг мы во весь опор помчались вверх по склону. Делать нечего, пришлось позволить второй лошади следовать за этим бесом. Сама по себе она была смирного нрава, но ирландец всегда ее заражал своим бунтарством. Двое пассажиров вылетели из коляски, но успели уцепиться за борта и кое-как забрались обратно. По правде говоря, без них мне было бы легче. Когда мы перевалили через вершину откоса, они принялись восторженно вопить, подбадривая лошадей. Мы пронеслись через засеянное поле пшеницы на скорости двадцать миль в час. Заметив открытые ворота, я стал править туда. Мы пересекли неширокую дорогу и проломились через живую изгородь на той стороне. И конечно, в этой изгороди преобладали колючие разновидности кустарника. Двоих идиотов у меня за спиной, как я понял, не поцарапало. Они во все горло распевали «Анни Лори». Все так же галопом мы проскакали через поле для гольфа в Юэлме, состоящее, как мне показалось, из одних песчаных ям. У

Икнилд-Корнера я кое-как изловчился вернуть лошадей на дорогу, которая в этом месте идет в гору и на протяжении полутора миль поднимается на четыреста футов. У Суинкомба Пат согласился на мое предложение остановиться и полюбоваться видом. Домой возвращались через Неттлбед, легкой рысью. Особого урона мы не понесли, не считая потери шляп и временной недееспособности моего левого глаза. Мои оксфордские друзья столпились вокруг Пата, осыпая его похвалами. Младший из приятелей, чья матушка нещадно его баловала, предложил не сходя с места купить лошадь за любую цену, какую я назову. Он загорелся идеей завести собственную пару.

Бедняга Пат! С появлением автомобилей пришлось его пристрелить. Прежде он никогда и никому не позволял себя обгонять, и вот в один печальный день на дороге возле Хенли закончилась его последняя скачка. Всего несколько дней не дотянул до двадцати лет, хотя вы ни за что бы ему столько не дали. Он прожил хорошую жизнь.

Править парой – значит напрашиваться на неприятности, рано или поздно. Я десять лет ездил на двуколке парой – и зимой, и летом, по пересеченной местности. Видимо, постоянные чудесные спасения внушили мне уверенность, что со мной ничего не может случиться. И вот однажды утром, заворачивая спокойно за угол на скорости восемь миль в час, я налетел на кучу камней – их с утра привезли для ремонта дороги. Двуколка опрокинулась, и бедняжка Норма Лоример сломала ногу. Они с Дугласом Слейденом у нас гостили. Слейден в тот день остался дома, писать рецензию, о которой ему напомнили телеграммой, – что доказывает, как мудро ставить долг выше развлечений. К счастью, мы не успели далеко уехать. Какие-то рабочие пришли к нам на помощь. Я на велосипеде доехал до Уоллингфорда и вызвал телеграммой костоправа, а когда собрался вернуться домой, обнаружил, что сломал лодыжку и даже не заметил сгоряча. Помню, мы мальчишками забирались в парк при дворце Александры: влезали на дерево и спрыгивали по ту сторону ограды. Однажды я сорвался и напоролся на острия прутьев решетки. Поначалу я ничего не почувствовал, кроме сильного желания удрать от полисмена, возникшего словно из-под земли. Уже дома мама заметила, что у меня рука располосована. Природа, хоть и беспощадна, предоставляет нам обезболивающее. Хладнокровная жестокость – изобретение человека. Мисс Лоример пробыла у нас месяц. Она совершенно меня простила. Говорила об этом происшествии так, словно я дал ей удобный предлог устроить себе приятные каникулы. И все же я радовался своему перелому. Было бы как-то гадко отделаться простыми извинениями. Мы с ней играли в крокет на костылях.

Убийство никогда меня не привлекало. Я этим не горжусь. Как заметил Гилберт, с моральной точки зрения нет разницы между судьей, приговорившим человека к смерти, и добросовестным исполнителем, который этого человека повесил. Если мне нравится есть фазанов (а я это люблю), должно нравиться и стрелять их. Будь мы все обязаны сами забивать животных, которых употребляем в пищу, пожалуй, вегетарианство было бы значительно популярнее, чем сейчас. И все же найдется немало таких, кому доставляет удовольствие зарезать свинью. Только они и едят бекон с полным правом. Был у меня знакомый фермер в Оксфордшире – простая душа. Он владел правом охоты на небольшом поле, а в центре поля росла буковая рощица в три акра. На много миль вокруг жили богачи, тратившие сказочные суммы на разведение фазанов.

– Нет, сам я фазанов не развожу, – сказал он мне как-то в день большой охоты, облокотившись на ограду своего участка. – Мне хватает того, что Бог пошлет.

Я не считал, но на глазок за время нашего разговора не меньше сотни птиц укрылись в рощице от охотников.

– Они умнее, чем люди думают, – рассудительно прибавил фермер. – Знают, что найдут здесь вдоволь зерна и никто не тронет их, бедняжек… До самого Рождества.

Охота с собаками была бы отличным видом спорта, если бы не судьба лисы. Пока отважное маленькое создание спасается бегством, еще есть надежда, что в азарте оно не чувствует страха и боли, но когда лисицу вытаскивают из норы – это просто хладнокровная жестокость. Лисе тоже нужно дать шанс. Почему люди, называющие себя спортсменами, поддерживают подобную традицию, для меня загадка. Неправильно это.

Довод о том, что собакам необходимо поощрение, – чистая софистика. Вы еще скажите, что мой терьер не станет гоняться за кроликами во вторник из-за того, что какому-то кролику посчастливилось удрать от него в понедельник. Если бы так! Сколько полукрон я бы сэкономил в свое время.

Верховой езде я учился у лейб-гвардейцев в Найтсбриджских казармах. То была суровая школа, зато основательная. Обучение считалось законченным не раньше, чем ученик будет способен ездить без седла любым аллюром, не натягивая поводьев. Особо норовистых лошадей вахмистр приберегал для своих любимчиков.

– Сегодня, сэр, у меня для вас прямо конфетка, – сообщал он шепотом, и все его честное лицо сияло доброжелательной улыбкой. – Игрива, как котенок! Посмотрите только – смеется!

Вы смотрели. Лошадь стояла, вытянув вперед шею и оскалив зубы. Вы искренне надеялись, что вахмистр не заметил, как вы спрятали в карман шпоры, пока он трепал лошадь по холке.

Раньше рядом с большинством сельских дорог шла ухоженная травяная полоса. Короткие путешествия приятнее всего было совершать верхом. А для того чтобы носиться галопом, существовали общинные луга. Там, где сейчас хантеркомбское поле для гольфа, отличная прямая трасса вела от вершины холма Наффилд-Хилл до Хит-Боттома. Нынче все пустоши захвачены любителями гольфа, а тропинки вдоль дорог заросли сорняками и колючим кустарником. Найдешь случайно на чердаке старое седло, опутанное паутиной, и замечтаешься по-стариковски о былых временах.

Река, должно быть, прародительница всяческого спорта. Еще в каменном веке темнокожие туземные детишки резвились на ее берегах, сталкивали друг друга в воду, плескались и вопили, учились нырять и плавать. Волосатые низколобые джентльмены времен палеолита приходили с копьями на рыбалку и спускали на воду лодки из древесной коры. Однажды стройный голубоглазый молодой троглодит впервые вызвал на состязание сверстников из дружественного племени. Я почти всю жизнь прожил поблизости от реки и обязан матушке-Темзе многими счастливыми днями. Мы с женой провели медовый месяц в лодке с навесом. Я хорошо знал реку с ее глубокими омутами и подводными течениями, с тихими заводями, сонными прибрежными городками и деревушками. Как приятна вечерняя усталость, когда в общем зале таверны зажигают лампу под низким потолком… В Хенли мы остановились на один день, посмотреть регату.

Регату в Хенли испортил король Эдуард VII. Его визиты превратили спортивное состязание в светское мероприятие и вызвали наплыв изысканного общества. А раньше это было веселое, бесхитростное событие, без лишнего шума. Приезжали люди в разнообразных лодках, по-настоящему интересующиеся гонками. Зрителей на берегу по пальцам можно было пересчитать: бывшие и нынешние участники команд, горожане, окрестные фермеры с семьями. Ряд украшенных цветами лодок тянулся от Филлис-Корта до острова. Мы все успевали перезнакомиться друг с другом. Мой племянник, Гарри Шорленд, однажды привел свою лодку из самого Стейнса короткими перегонами. Ласточки свили гнездо на крыше брезентового домика и проделали весь путь вместе с ним. Закончили строительство как раз вовремя, чтобы позволить себе выходной и полюбоваться финалом гонок.

Регата в Горинге проходила неизменно весело, когда организацией занимался Фрэнк

Бенсон, актер. Он жил в Горинге и увлекался всеми возможными видами спорта. Однажды он поддался безудержным амбициям и задумал устроить водное представление. Я не очень точно помню подробности, хотя и был при этом. Основная идея спектакля заключалась в том, что с островка посреди реки нужно было спасти стайку прекрасных дам – числом около полудюжины. При этом, как выражаются законники, срок выполнения играл существенную роль. Главная ошибка Бенсона, на мой взгляд (и не только мой), – что спасать барышень предполагалось на байдарках. Я бы скорее выбрал для такой задачи рыбацкую плоскодонку или старомодный ялик, какими пользовались когда-то на реке перевозчики. Они хоть и медленнее, зато сэкономили бы массу времени при посадке. Первая байдарка стрелой помчалась к острову. Барышня ждала на берегу, подобрав юбки (в те дни дамы носили пышные юбки). Нельзя было терять ни секунды. Муж – кажется, по сюжету он был мужем всех шести леди – уже приближался. Джентльмен, стоя одной ногой в лодке, а другой на острове, протянул руки, и барышня прыгнула к нему в объятия. Едва ли нужно уточнять, что оба плюхнулись в воду. К счастью, правая нога джентльмена все еще оставалась в байдарке. С поразительным присутствием духа он втащил барышню в лодку и, переступив через нее, погреб к противоположному берегу, где зрители встретили их восторженными криками. Вторую леди, видимо, напугало то, что случилось с первой. По общему мнению, сохрани она ясную голову, катастрофы можно было избежать; да и не самая худшая это судьба – окунуться в речку жарким июльским днем. Оставшиеся четыре дамы предпочли спасаться в судейском катере.

Крокет – раздражающая игра, но это настоящий подарок для инвалида. Я им увлекся, пока срасталась переломанная лодыжка. Чем больше стараешься, тем хуже играешь. Один мой знакомый не притрагивается к молотку весь год и на турнире графства каждый раз собирает половину призов. Дети – хорошие игроки, пока еще маленькие и не боятся трудностей. Судя по всему, в этой игре главное – не думать. Моя старшая дочь в двенадцать лет была настоящим демоном крокета. Она махала молотком во все стороны и пробивала все воротца подряд, а я смотрел и бесился. Помню, как-то я играл в паре с леди Бересфорд против лорда Чарлза и юной мисс Бересфорд. Девочка трижды крокетировала материнский шар к дальнему концу площадки, пока леди Бересфорд ее не одернула.

– Еще раз так сделаешь, деточка, и немедленно отправишься спать, – сказала она своей крошке.

Ту партию мы с леди Бересфорд выиграли.

Зангвилл очень увлекался крокетом, хотя у него не было задатков сильного игрока. Уэллс играл неплохо. Конечно, он постоянно стремился переделать правила и придумать собственную новую игру. Мне в конце концов пришлось забросить свою площадку. Она была разбита посреди выгона, где паслись молодые бычки местного фермера. Они не могли спокойно видеть сочную зеленую травку. Я огородил площадку колючей проволокой, но бычков это не смущало. Сговорившись, они вдруг все разом наклоняли головы и бросались в атаку. Не всегда им удавалось прорваться, но нас это неизменно отвлекало. Соловей садился на столбик изгороди и пел – часто даже во время игры. Соловьи любят выступать перед зрителями. Другой соловей свил гнездо у нас в саду, близ Марлоу. Соловьи, как и ласточки, каждый год возвращаются на насиженное место. Если подойти к калитке и посвистеть, он прилетал и, сидя на ветке боярышника, пел, пока вы готовы были его слушать.

Глава XI

Америка[36]

– Как вам нравится в Америке?

– О! – удивился я. – Мы уже там?

– Скоро будем, – ответил мой собеседник. – Как произносится ваше имя?

Я ответил. Он повторил погромче, чтобы коллеги тоже услышали. Коллег было человек шесть. Все они сделали пометки в блокнотах.

– Чем, на ваш взгляд, американский юмор отличается от английского?

Дул пронизывающий северный ветер, а я еще не завтракал. Я поднатужился изо всех сил.

– Юмор – это природное явление, он всегда произрастает на национальной почве. В Англии, если не забираться в глубь веков дальше Чосера…

Никто меня не слушал. Все деловито записывали. Я не мог понять, откуда они явились? Из моря, по всей видимости. Я прогуливался по палубе, высматривая Нью-Йорк на горизонте, и вдруг очутился посреди небольшой толпы. За всех говорил коренастый рыжий джентльмен с военной выправкой. Остальные представляли собой разношерстную компанию. Некоторые выглядели совсем мальчишками.

– Историю рассказать можете? – спросил он.

Я вытаращил глаза.

– Историю? Вы хотите, чтобы я вам рассказал какую-то историю?

– Ну да, – ответил он.

Что это значит? Они хотят, чтобы я вот так с ходу принялся рассказывать истории без четверти восемь утра? И какая история им нужна? Приключенческая, романтическая, просто любовный эпизод? Мне представилось, что я сижу среди группы внимательных слушателей – быть может, усадив младшего к себе на колени.

Он заметил мою растерянность и подсказал:

– Какое-нибудь происшествие за время плавания? Забавный случай?

Я испытал облегчение, какое чувствует приговоренный к казни, узнав о помиловании. В порыве благодарности я старался сочинить забавный случай, который мог бы со мной произойти. Будь у меня немного времени, может, это бы удалось, но они стояли вокруг, держа карандаши на изготовку, и пришлось ограничиться правдой. Единственное достойное упоминания происшествие – на третий день плавания мы встретили айсберг. Маленький совсем, бестолковый айсберг. Я его принял за обломок кораблекрушения, а другой пассажир, глядя в подзорную трубу, назвал его полярным медведем. Если бы не бармен, мы бы так и не узнали, что видели айсберг. Я разукрасил эту историю, как мог, расписал, как мы «уходили» от айсберга, и всячески расхвалил действия капитана. Мой рассказ появился в вечерних газетах под заголовком: «Ледяная королева показывает зубы».

С этого момента общение наладилось. Они поняли, что я по крайней мере стараюсь. Я рассказал, какое впечатление на меня произвели американки – точнее, наверняка произведут, когда мы с ними встретимся, – и ответил на вопросы о том, что я думаю о Христофоре Колумбе, американской драматургии, будущем Калифорнии, президенте Рузвельте и Элизабет Б. Паркер. Кто такая Элизабет Б. Паркер, не знаю и по сей день, но тут я, видимо, сам виноват.

---

[36] Автор побывал в Америке трижды, с промежутками в несколько лет. Первый раз – когда и он, и Америка были намного моложе, чем сейчас. В этой главе собраны вместе события и наблюдения, связанные со всеми тремя поездками. Естественно, в таком кратком пересказе невозможно точно указать время того или иного эпизода. Читатель заметит, что во многих случаях автор описывает Америку давно минувших дней. – *Примеч. издателя, 1926.*

Насколько я понял, она – одна из тогдашних кумиров Америки (они там часто меняются), поэтому сказал, что ради встречи с ней, среди прочего, и приехал в Соединенные Штаты. Это всем понравилось, и мы расстались друзьями.

Я не упрекаю американских журналистов. Невзгоды судьбы следует переносить стоически. В течение семи месяцев меня представляли в печати как лысого пожилого джентльмена с печальной улыбкой, моложавого спортсмена-англичанина с пышной шевелюрой, тощего постоянно курящего невротика и типичного Джона Буля. Некоторых репортеров раздражало мое оксфордское произношение, меж тем как другие называли меня кокни и упорно твердили, что я не выговариваю букву «h». Все с неприкрытым удивлением отмечали, что я говорю по-английски с английским акцентом. В Праге мне как-то встретился проходимец из Богемии, выдававший себя за гида, – сегодня его, вероятно, назвали бы гражданином Чехословакии. Английскому его обучал шотландец в Нью-Йорке. Я его не понимал, но уверен, американские репортеры приняли бы его за образец англичанина. Согласен, для человека, приехавшего отдыхать, американский репортер станет сущим наказанием. В своем служебном рвении он способен без лишних церемоний разбудить вас в два часа ночи, чтобы выяснить ваше мнение по поводу местной бейсбольной команды, а когда вы, проведя тридцать шесть часов в дороге, доберетесь до гостиницы, он будет поджидать вас в номере вместе с фотографом. С другой стороны, насколько я знаю, немногие ездят в Америку за отдыхом и здоровьем. В Питтсбурге у моей жены с утра разболелась голова, и она решила остаться на день-другой в гостинице. К вечеру ей стало чуть лучше, и она, несмотря на слабость, спустилась в холл. По полу бегали какие-то мелкие черненькие зверьки. Она подумала, что это котята, и хотела приласкать, но они к ней не шли. Жена насчитала десятка два; при слабом освещении трудно было рассмотреть как следует. Тут в холл выглянула горничная-ирландка. Жена заговорила о том, какие пугливые здесь котятки.

– А, это не котята, – ответила девушка. – Это крысы.

Горничная объяснила, что они лезут из кухни по вентиляционной трубе. На людей не кидаются, если их не дразнить.

В работе у девушки как раз случилось затишье, и она по просьбе моей жены пришла посидеть с шитьем. Горничная рассказала массу занятных историй о крысах, заметив между прочим, что они не так умны, как принято считать, – иначе не поселились бы в Питтсбурге.

– Вы же сами живете в Питтсбурге, – возразила жена. – Вчера говорили, что уже больше шести лет.

Девушка разъяснила загадку. Она надеялась еще за три года скопить достаточно, чтобы вернуться в Ирландию и там завести какое-никакое хозяйство. Она мечтала о разведении свиней на небольшой ферме, причем в этих мечтах фигурировал некто по имени Деннис. Оказывается, тысячи ирландских девушек приезжают в Америку с подобными планами. Не все добиваются успеха, и все же они не сдаются. Всякий «даго» мечтает вернуться в родную деревню и открыть лавку на привезенные из Америки доллары. И не только чужаки норовят потратить за границей деньги, вывезенные из Соединенных Штатов. Как я убедился в своих странствиях, лучшие города Европы населены стопроцентными американцами. Английские писатели – кто раньше, кто позже – приходят к мысли о том, что турне по Америке может дать неплохие деньги. Однако не будь американских репортеров, заранее готовящих публику к нашему приезду, мы бы возвращались с пустыми карманами. За все, заработанное в Америке, научи меня, Господи, искренне возблагодарить американских репортеров и отпусти им грехи их тяжкие.

Самое потрясающее в Америке – Нью-Йорк. Ниагарский водопад меня разочаровал. Его и найти-то нелегко. Кондуктор в трамвае обещал предупредить, на каком повороте нужно выйти,

но забыл, и мне пришлось вернуться пешком на три квартала. В конце концов я обнаружил искомое в саду при ресторане крупного отеля. Маршрут моего тура не позволил посетить Йеллоустонский национальный парк, зато я видел Сад богов в Колорадо. Он показался мне довольно запущенным. Скалистые горы эффектны, но человеческого тепла им не хватает. Прерии навевают уныние. Кажешься себе бесплотным духом, скитающимся в пространстве с не вполне определенной целью. С точки зрения европейца, главная беда Америки – ее слишком много. Как-то в Швейцарии я разговорился с человеком из Индианаполиса. Наш поезд шел в Гриндевальд. Глядя в окно, мой новый знакомый заметил:

– Если бы эту страну ровно раскатать, получилась бы довольно обширная местность.

Кажется, в Америке все посвящено одной цели: создать обширную местность. В Аризоне вам показывают миражи, а вы все равно видите только соль. Американские озера – это моря, окруженные железными дорогами. В Новом Орлеане сохранились еще старосветские уголки, но и те быстро исчезают. Если приедете в Новый Орлеан, первым делом вас повезут по кладбищам, что тянутся здесь на много миль. Поедете вы в шарабане, и джентльмен с рупором будет обращать ваше внимание на самые интересные могилы. Это называется «знакомство с Новым Орлеаном».

Калифорния очень красива (о «кино» постараемся не думать). Я был в Сан-Франциско за неделю до землетрясения. Мы с женой гостили у историка Хьюберта Хоува Банкрофта. Никогда не забуду, с какой добротой он и его очаровательная жена нас встретили. Он катал нас по окрестностям, с парой великолепных лошадей серой масти в упряжке. С кнутом обращался виртуозно. Однажды Банкрофт предложил прокатиться в город.

– А ваша хозяюшка пускай сегодня отдохнет, – сказал он.

Позже я понял почему, и был ему от души благодарен. Поездка оставила своеобразное впечатление. Во время войны, поблизости от Вердена, мне попадались похожие дороги. На каждом шагу мы проваливались в рытвины. Лошади выбивались из сил, вытаскивая нас. Я спросил, не последствия ли это землетрясения, но Банкрофт ответил – нет. Просто дороги много лет не ремонтировали. Мэр и крупные корпорации (в Америке их называют «загребущие») нашли деньгам другое применение.

Когда попадаешь во Флориду, кажется, что вернулся во времена, что были до потопа, – точнее, в третий день творения, когда Господь еще не отделил воду от земли и ползучие твари в растерянности не знали, сухопутные они или водоплавающие.

Виргиния отличается атмосферностью, и там говорят по-английски, а новые города в центральных штатах, с их картинными «Бродвеями», напоминают аттракционы в стиле Дикого Запада в Эрлс-Корте. Невольно ищешь глазами, где тут «американские горки». Новая Англия местами похожа на старую. Не помню, кто сказал, что хорошо бы вернуться и посмотреть на Америку, когда ее доделают. Быть может, через тысячу лет мы найдем здесь уютные коттеджи, утопающие в цветах, и почтенные усадьбы в окружении газонов и раскидистых деревьев. Во всяком случае, мы не увидим печных труб с вьющимся над ними синеватым дымком. Америка всегда будет обогреваться с помощью центрального отопления. Мне не хватало дымовых труб – они кажутся такими приветливыми. Больше в Америке сельской местности нет нигде. Есть курортные городки, есть города-сады и оздоровительные центры, а по окраинам больших городов тянутся длинные ряды жилищ, каждое на своем прямоугольничке земли. Те, что покрупнее, бывают с верандами, башенками и островерхими кровлями, а маленькие выкрашены в красную краску. Мне объяснили: Трест, дескать, производит только красную краску, так что у вас остается простой выбор – покрасить дом в красный цвет или не красить вовсе. Человека, желающего покрасить дом в любой другой цвет, кроме красного, называют радикалом.

В Америке не ходят пешком. Говорят, нынче у каждого пятого американца есть

собственный автомобиль, а остальные четыре втискиваются пассажирами. В мое время ездили трамваями. Мне очень хотелось пройтись пешком, а когда я спрашивал дорогу, получал указания в таком духе: идти прямо до Девятьсот девяносто девятой или еще какой-то подобной стрит, а там сесть на трамвай.

– Но я хочу пешком, – объяснял я.

– Так я же и говорю: пройдете пешком до конца квартала. Трамвайная остановка за углом.

– Да не хочу я на трамвае! – упорствовал я. – Мне бы узнать, как пройти пешком всю дорогу.

Тогда собеседник лез в карман, совал мне в руку двадцатипятицентовую монету и убегал на остановку своего трамвая.

Нью-Йорк ни на что не похож. Его не с чем сравнить. Нью-Йорк – квинтэссенция Америки. Беспощадный, кипучий, вульгарный, если угодно, – и все-таки великий. Природа немеет перед ним. Океан тихонько плещет рядом, растеряв весь свой апломб. В нью-йоркских ущельях деревья кажутся былинками на ветру. Облака цепляются за шпили высотных домов.

В этом городе звучит совершенно новая нота. За огромностью прячется небывалая и невероятно важная идея. Какое-то время вы ломаете голову и внезапно понимаете, в чем тут дело. Возьмите Лондон, Рим, Париж – в любом значительном городе Старого Света шпили собора, колокольни церквей, башни, купола, минареты, дворцы и театры возвышаются над рыночной площадью, над местом, где вершат свои дела торговцы и менялы. В Нью-Йорке торжествующий Бизнес возносится до небес, подавляя все вокруг. Куда ни кинешь взгляд, видны одни небоскребы. Искусство и религия тихо жмутся у подножия.

В некоем городе на Среднем Западе меня приютил в своем доме добрый человек. Был он богат и имел единственного ребенка – нежно любимую дочку Маргарет. У этой двенадцатилетней девочки был собственный счет в банке. Помню один разговор между ними. Мой знакомый только что пришел с работы. Дочь подала ему домашние туфли и забралась к отцу на колени.

– Я сегодня провернул удачное дельце, Мегги, – сказал он, погладив ее по голове. – Перевел пять тысяч долларов на твой счет. Как собираешься их инвестировать?

Девочка задумалась, хмуря брови и обнимая отца одной рукой за шею.

– Ну-у, – произнесла она наконец. – В газетах пишут, зимой в России будет голод. Если это правда, наверное, есть смысл вложить деньги в пшеницу?

Отец расцеловал ее.

– Умница! Утром подготовлю для тебя все бумаги.

Я трижды совершил турне по Америке. Предлагали и в четвертый раз, вскоре после войны. Литагент уверял, что трудностей с выпивкой не возникнет, но были и другие причины, и я уклонился. Первая поездка состоялась лет двадцать назад, а если она оказалась не такой уж выгодной, виноват в этом только я сам. Никогда в жизни я не чувствовал себя настолько одиноким и потерянным, как в те первые дни в Нью-Йорке. Все было так незнакомо, непривычно, все ужасно «иностранное». Я никогда раньше не покидал пределов Европы. Казалось, я в жизни не смогу приспособиться к американским обычаям. К тому же еще и трудности языка! В Веве, на озере Леман, сидит, скрестив ноги по-турецки – или раньше сидел, – щуплый улыбчивый итальянец, чистильщик ботинок, а позади него на стене плакат: «Говорю по-английски, понимаю по-американски». Я все время его вспоминал, блуждая по нью-йоркским улицам, и гадал, сколько времени ему понадобилось, чтобы научиться.

Через две недели такой жизни я отправил жене отчаянную телеграмму – как сейчас бы сказали, СОС. Моя отважная леди немедленно примчалась на помощь.

Как водится, именно она меня и подбила на дальнейшие авантюры. Майор Понд (вернее,

его добрейшая вдова) организовал для меня великолепное турне по всем штатам Америки с заездом в Канаду и Британскую Колумбию. В среднем выходило по пять выступлений в неделю продолжительностью час двадцать минут. Я показал жене список. Она промолчала, а сама у меня за спиной договорилась с литагентом. Они решили, что мне понадобится помощь, иначе поездка, того и гляди, закончится на кладбище, и подыскали некоего Чарлза Баттелла Лумиса. Я, кажется, в жизни не встречал настолько некрасивого человека – но только по внешности. В остальном он был прекрасен, и мне жаль, что приходится говорить о нем в прошедшем времени. Благодаря ему я узнал другую Америку – страну мечтателей, идеалистов, думающих людей. Он водил меня по их обшарпанным клубам, вместе с ними я обедал за пятьдесят центов в дешевых ресторанчиках, приезжал на выходные в их загородные хибарки – туда, где не ходят трамваи. Чарлз был замечательным актером, но у него не было денег на импресарио. Кое-где в журналах встречались его вещицы – забавно, мило, но не более того. И только когда он сам читал их вслух, стоя перед аудиторией, они превращались в шедевры американской юмористической литературы. Чарлз не жестикулировал, и лицо его, за исключением глаз, казалось деревянным; гений таился в его голосе. Его шепот доносился до задних рядов огромного зала. Пользоваться телефоном ему приходилось с осторожностью. Однажды при мне его рассердила девушка-телефонистка, и он, не сдержавшись, заорал в трубку: «Ничего подобного!» Ответа не последовало. Через некоторое время в дверь постучался коридорный и сказал, что если мы еще не закончили разговор, следует спуститься в вестибюль: телефон в номере внезапно вышел из строя.

Я завидовал Чарлзу. Путешествуя по Америке, учишься приспосабливаться к самым разным условиям. Сегодня вас приглашает богач, почитать рассказы для его гостей. Хозяин дома приветлив и любезен, и всячески старается, чтобы вы чувствовали себя своим. А назавтра у вас, оказывается, намечено выступление в концертном зале размером с храм царя Соломона, если считать, что мистер Уэллс правильно вычислил его размеры. Где-то на юге, забыл название города, был, если не ошибаюсь, Колизей. Что на юге – это точно. В воздухе постоянно носились частички хлопка, мы от них вмиг поседели. Даже Лумису там приходилось трудно. Первые десятка два рядов его, вероятно, слышали – по крайней мере они смеялись. А дальше в зале царило гробовое молчание. На следующее утро у нас в виде большой редкости выдалась пара свободных часов, и я, проходя мимо, заглянул посмотреть, как здесь все выглядит при дневном свете. Рабочие перетаскивали декорации на все случаи жизни: для митингов, театральных спектаклей, религиозных сборищ и кулачных боев. Однажды четвертого июля пошел дождь, и фейерверк с успехом провели в этом же зале. Я увидел у дверей невысокую худенькую женщину в черном – она так же, как и я, с любопытством осматривалась. Это была Сара Бернар. У нее на вечер было назначено выступление. Она уже заканчивала турне и всю ночь провела в пути. Меня она сразу узнала, хотя мы встречались всего один раз, на ужине в «Лицеуме», когда им руководил Ирвинг.

– Боже мой! – вскричала она, всплеснув руками. – Это же какая-то адская бездна! Как меня там услышат?

– Им не надо слышать, – объяснил я. – Им довольно увидеть. Странные люди американцы. Вчера они заплатили за то, чтобы посмотреть на меня. Наверняка ведь знали, что не услышат ни слова.

– Но они и не увидят, – возразила она. – То есть увидят обыкновенную старушонку. Я Сара Бернар, только когда я играю. Получится просто жульничество.

– Это уж, наверное, их дело? – предположил я.

Она выпрямилась и вдруг словно стала выше ростом.

– Нет, друг мой, это мое дело! Сара Бернар – великая актриса. А я ее преданная слуга. Я

не позволю выставлять ее на посмешище!

Она протянула мне руку.

– Пожалуйста, никому не говорите, что видели меня.

И, опустив на лицо вуаль, она исчезла.

Не знаю уж, как дело было, но когда мы уезжали, афиши у дверей концертного зала сообщали с извинениями, что из-за внезапной болезни госпожи Сары Бернар концерт отменяется.

Публика в Америке неизменно доброжелательна. Одна беда – они понимают шутку раньше, чем ты ее произнесешь, это очень сбивает с толку. Однажды я проснулся утром без голоса из-за сильной простуды. Не мог даже позвонить по телефону, поэтому отправил организатору телеграмму, объяснил ситуацию и попросил отменить сегодняшнее выступление. Через полчаса пришел ответ: «Сожалею что не сможете читать все равно приходите иначе все будут разочарованы хотим вас увидеть и поблагодарить за радость доставленную вашими книгами гонорар уже отправлен вашему агенту незачем между друзьями говорить о таких пустяках».

Вечер прошел прекрасно. Меня усадили посреди комнаты и всячески развлекали. Были музыка, песни, рассказы. Я шепотом сообщал свои ответы председателю, а он повторял всем. Получилось очень весело. В конце один из участников, врач по профессии, дал мне какую-то микстуру и велел принять перед сном. Жаль, я не спросил, что это за лекарство. К следующему утру простуду как рукой сняло.

В Солт-Лейк-Сити мы должны были приехать за час до выступления, но поезд опоздал на три часа. На платформе нас встречала целая делегация с горячим кофе и сандвичами. Нас усадили в такси и отвезли прямо к открытой сцене. Трехсоттысячная толпа терпеливо ждала в течение двух часов. Председатель во вступительном слове извинился перед нами за недочеты в работе железных дорог и выразил уверенность, что зрители с ним согласятся: поскольку мы наверняка устали, следует ограничиться получасовым выступлением, если только мы сами не найдем в себе силы читать дольше. Мы с Лумисом после этого так вдохновились, что отчитали полную программу. В результате выступление закончилось около полуночи, но никто из зрителей не ушел, и если им не понравилось – значит, они очень хорошие актеры.

Пока мы были в Солт-Лейк-Сити, меня приютил у себя в доме старейшина мормонов и представил своей жене. Заметив, что я еще чего-то жду, он обнял ее за талию и объяснил:

– Других у меня нет. Современная американская женщина убедила нас в том, что мужчине вполне достаточно одной жены.

Как мне объяснили, многоженство среди мормонов все еще существует, но встречается крайне редко; позднее его окончательно запретили.

Очень трудно понять, как на самом деле относятся к вам слушатели. Даже если им скучно, они наверняка притворятся из вежливости, что ваши рассказы понравились. Иногда лицемерие становится добродетелью. Но однажды я услышал похвалу себе, спрятавшись за газетой в вагоне для курящих.

– Был вчера на чтении? – спросил один пассажир другого.

– Да-а, – протянул негромкий голос. – Жена захотела пойти. Я-то сам никогда о нем не слышал.

– И как он вам?

– Да как сказать… – Последовала пауза; видимо, говоривший отрезал себе кусок жевательного табаку. – Для англичанина – неплохо.

Всего один раз, в городке Чаттануга, я вызвал враждебность аудитории, и то сам виноват – нарвался. За несколько дней до моего приезда линчевали двух негров по обычному

обвинению: будто бы они напали на белую женщину. Как чаще всего и бывает, впоследствии оказалось, что обвинение было сфабрикованным и не имело ничего общего с действительностью. Линчевание – ужас, который в южных штатах распространен повсеместно, никуда от него не скроешься. В конце своего выступления я попросил разрешения высказаться по вопросу, тревожащему мою совесть, и, не дожидаясь ответа, перешел прямо к делу. На родине я часто ввязывался в ожесточенные споры о политике, раздражая своих идейных противников, но здесь все было совсем иначе. Возможно, у меня разыгралось воображение, но я буквально видел злость публики, словно тускло-медного цвета тучу, клубящуюся над головами и растущую прямо на глазах. Я сел при мертвом молчании зала. Довольно долго длилась пауза, а потом зрители разом встали и направились к выходу. Когда я, в свою очередь, собрался уходить, ко мне подошли в фойе несколько человек и тихо поблагодарили, непрерывно оглядываясь через плечо. Моя жена была белей полотна – я ее не предупредил о своей выходке. Но ничего смертельного не случилось. Напрашивается мысль: если бы десятки тысяч порядочных американцев, собравшись с духом, высказались вслух против позорного явления, быть может, Америку удалось бы очистить от этой гнусности.

Американское гостеприимство вошло в поговорку. Если бы я не поленился обо всем договориться заранее, мог бы вообще ни разу не останавливаться в гостинице. Знай я заранее, как меня здесь будут встречать, непременно так бы и сделал. Отели в больших городах убранством и размерами напоминают дворцы. Будь кухня и обслуживание на той же высоте, лучшего и пожелать нельзя, но я с радостью обменял бы мраморную облицовку в ванной и серебряные туалетные принадлежности на бифштекс, который можно разрезать ножом. По статистике Иммиграционного бюро, каждый год в Америку приезжают более четырех тысяч профессиональных поваров. Куда они деваются, загадка. Не могут же они все становиться кинозвездами!

В крупных отелях преобладают европейские обычаи, а в маленьких городках гостиницы, как здесь принято говорить, «на американский манер». Через пару дней после приезда я отправился из Нью-Йорка в Олбани – там у меня было назначено выступление. Поезд уходил в восемь. Позавтракать я не успел и решил – пообедаю пораньше, а потом посижу тихонько, отдохну. Я оделся и спустился вниз. В обеденном зале было пусто. И звонка я не нашел. Тогда я отыскал джентльмена, что проводил меня в номер. Сейчас он сидел в кресле-качалке и читал газету.

– Прошу прощения, – сказал я. – Вы портье?

– Угу, – буркнул он, не отрываясь от чтения.

– Простите, что беспокою… мне нужен метрдотель.

– Зачем? Он что, ваш знакомый?

– Да нет, – ответил я. – Мне бы обед заказать.

Портье вернулся к газете.

– Обед не надо заказывать. Будет на столе в половине седьмого.

– А мне нужно сейчас!

Было чуть больше четырех.

Портье отложил газету и посмотрел на меня.

– Слушайте, вы откуда приехали?

– Из Нью-Йорка.

– Видать, и там недолго пробыли. Англичанин, небось?

Я сознался, что англичанин.

Портье встал и снисходительно потрепал меня по плечу.

– Вы бы лучше пошли город посмотрели. Интересный городок. Все равно до половины

седьмого делать нечего.

Я последовал его совету. Город оказался не таким уж интересным. Возможно, я просто был не в настроении. В шесть я вернулся в гостиницу и еще раз переоделся. Очень хотелось есть. Увидев «меню», я еще острее ощутил голод. Сам Лукулл на моем месте не сдержал бы радостной улыбки. На двух страницах мелким шрифтом были перечислены, кажется, все мыслимые деликатесы без различия времени года.

Я заказал для начала икру и суп с моллюсками. Насчет супа я немного сомневался, поскольку никогда такого не пробовал. Ну ничего, решил я, если суп окажется слишком густым, я съем всего чуть-чуть. Юный официант, видимо где-то потерявший пиджак, стоял возле столика и как будто чего-то ждал.

– Я потом подумаю, что еще взять, – сказал я. – Принесите пока это.

– Лучше думайте сейчас, – возразил он. – Нам тут долго рассусоливать некогда, не то что у вас в Старом Свете.

Я не хотел с ним ссориться и потому снова взялся за меню. Попросил принести после супа анчоусов – предупредил, чтобы с хрустящей корочкой. Ломтик поджаренной ветчины с трюфелями, горошек в масле, ягнячью отбивную с помидорами, спаржу и курицу (я упомянул, что предпочитаю крылышки). На десерт – карамельное мороженое, ассорти из фруктов и, конечно, кофе.

Было обидно, что не получится попробовать все, что есть в меню, но мне еще предстояло вечером выступать. Я и так опасался, что слишком увлекся.

– И все? – спросил беспиджачный джентльмен.

Я усмотрел в его вопросе сарказм и ответил сухо:

– Это мой заказ.

Он отсутствовал довольно долго, а когда появился вновь, поставил передо мной поднос наподобие тех, какие используют дворецкие, слегка подровнял его и ушел, оставив меня в одиночестве.

На подносе было все, что я заказал, начиная с икры и заканчивая кофе. Все продукты (кроме супа и кофе) помещались на крохотных беленьких блюдечках, словно из игрушечного сервиза. Суп был в миниатюрном белом горшочке с ручкой, тоже наводящем на мысль о принадлежностях кукольного домика. Пить его полагалось прямо из горшочка, емкостью примерно в одну столовую ложку. За супом последовали шесть анчоусов и одна креветка. Тринадцать горошин. Три побега спаржи. Пять виноградин и четыре ореха (разные). Два квадратных дюйма ветчины – правда, без трюфелей; то, что я принял за трюфель, оказалось дохлой мухой. В ягнячьей отбивной ничего, кроме косточки, я так и не обнаружил – похоже, ее вырезали из какого-то не того места. Помидор я уронил, пытаясь разрезать. Он укатился под стол, а я постеснялся за ним лезть. Курицу зажарили так основательно, что я, выбившись из сил, положил кусок обратно на тарелку. Мои старания не оставили на нем никаких следов. Я потом долго гадал, что с ним сталось.

Не знаю, почему я так раскис, – должно быть, потому что не завтракал. Будь я один, уронил бы голову на стол и расплакался, но рядом кормились еще три-четыре человека, и я взял себя в руки. Начал с кофе. Он еще хранил крохи тепла – жаль было бы, если б совсем остыл. Икру пробовать не хотелось; должно быть, из-за запаха. После кофе я приступил к полурастаявшему мороженому, украдкой поглядывая на других посетителей. Никто не возился с ножом, все бодро орудовали вилками, подцепляя еду то из одного, то из другого блюдечка. Чем-то они напоминали механических клюющих цыплят. Но такой способ казался самым простым, и я последовал их примеру.

К такой системе я так и не привык. Местные жители, если случалось заговорить на эту

тему, соглашались, что с точки зрения эстетики обед «на европейский манер», пожалуй, предпочтительнее; но тут же спешили объяснить, что американцы слишком заняты – нет у них времени на эти светские штучки-дрючки. Потом они усаживались в кресла-качалки в фойе гостиницы, раскуривали сигары и доставали жевательный табак. Я уходил по делам, а когда возвращался, часа через два-три, они так и сидели на месте, курили, жевали и плевались.

Америка может гордиться своими железными дорогами. Американский поезд с мощным локомотивом и длиннейшей вереницей стальных вагонов – потрясающее зрелище. Приятно оказаться в нем после неуютных гостиниц, где постояльца запугивает коридорный, третирует официант и помыкает им портье. Темнокожий носильщик на вокзале встречает вас улыбкой и не считает вежливость ниже своего достоинства. Только в вагоне-ресторане вы можете рассчитывать на приличный обед, а в спальном вагоне вас не разбудит среди ночи звонок телефона или неисправные батареи отопления. Долгие мили можно смотреть в окно, не натыкаясь взглядом на назойливую рекламу. Впрочем, при приближении к городам по сторонам путей начинают попадаться рекламные щиты. Великолепные пейзажи вокруг Сан-Франциско на двадцать миль изуродованы громадными раскрашенными досками, рекламирующими чьи-то магазины. В Англии тем же занимаются «Печеночные пилюли Картера», хоть и не с таким размахом. Я и сам их принимал, потом бросил. На одном публичном обеде мистер Картер (не в обиду ему будь сказано) произнес превосходную речь о том, как человек может наилучшим образом послужить Господу. Энтони Хоуп заметил, что для этого можно бы не засорять созданные Богом пейзажи рекламными щитами. В Нью-Йорке мне бросилось в глаза объявление в витрине магазина. Оно гласило: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». То была реклама пружинного матраса. Расписание на железных дорогах соблюдается не слишком пунктуально, если не считать самых крупных линий. Впрочем, тому есть извинение: расстояния огромные. Железные дороги еще строятся. Никто не рассчитывает на расписание, просто по городу передают из уст в уста, что поезд прибыл. Однажды, к моему огромному изумлению, поезд пришел вовремя. Я только что приехал по боковой ветке и раздумывал, чем бы занять свободное время до пересадки. Заметив проходившего мимо начальника станции, я спросил:

– Не знаете, когда придет одиннадцать тридцать три до Су-Фолс?

Была тридцать одна минута двенадцатого.

– Поторопитесь! – ответил начальник станции. – Вон он подходит.

Не успел он договорить, как подкатил поезд, медленно и плавно, и остановился с удовлетворенным вздохом.

Начальник станции, крупный добродушный человек, засмеялся, увидев мое лицо.

– Все нормально, – успокоил он меня. – Если честно, это вчерашний поезд.

Су-Фолс, кстати, – всеамериканский центр разводов (по крайней мере в то время так обстояло дело). Гостиницы были населены ослепительными дамами, дожидающимися своей очереди. Многих сопровождали «братья». Дамы держались очень жизнерадостно. За соседним с нами столиком сидели мать с двумя дочерьми, младшей – всего семнадцать. Мы разговорились. Мать уже разводилась раньше, а дочкам это предстояло впервые. Они рассчитывали к выходным покончить со всеми формальностями.

Во время моей первой поездки президентом был Рузвельт. Он любезно выразил желание повидаться со мной. По странному совпадению как раз в то утро президент получил письмо от сына, учившегося в школе, с упоминанием о моих книгах. С этим письмом в руке он меня и встретил. Нечто похожее произошло при моей первой встрече с Ллойд Джорджем. Накануне или за два дня до этого ему написал какой-то родственник и посоветовал прочесть мою последнюю книгу. Он успел дочитать до середины и ни о чем другом не мог говорить. В

Рузвельте было что-то очаровательно мальчишеское. Он умел нравиться людям, когда хотел. Моя жена до сих пор хранит перчатки, в которых пожимала ему руку. Они лежат у нее в шкатулке с украшениями, перевязанные ленточкой и с аккуратно надписанным ярлычком.

В памяти надолго остался Джоэль Чандлер Харрис («Дядюшка Римус»). Очень приятный джентльмен и истинный христианин, хоть и плюется. Мы провели с ним целый вечер в Атланте. Зашел Фрэнк Стентон, принес с собой сборник своих песен с посвящением мне. Джеймс Уитком Райли был гостеприимен и любезен, но вызвал у меня приступ зависти разговорами о миллионах, полученных за его книги.

В то время, когда я был в Америке, туда приехал Максим Горький с лекциями о России. Его сопровождала помощница, с которой они не были официально женаты. В Америке на такие вещи смотрят косо. Генрих VIII тоже был крайне строг в вопросах морали. На ленче в Чикаго моим соседом по столу оказался человек, опубликовавший тем самым утром возмущенную статью с требованием немедленно выдворить из страны Максима Горького и его «сожительницу». Нельзя терпеть в Америке подобную заразу, и так далее, и тому подобное. А еще несколькими днями раньше он представил меня и Лумиса своей любовнице, миловидной шведке с льняными волосами. Жена его пребывала за границей, поскольку воздух Чикаго оказался вреден для ее здоровья. Я знаю, что со столбом нет смысла спорить, – сам часто ссылался на эту мудрую поговорку. Но иногда складывается впечатление, что в Америке столбов больше, чем людей. По ходу турне мне приходилось много времени проводить в поездах и гостиницах, а любопытство заставляло как можно больше узнавать о своих случайных попутчиках. И я могу с уверенностью заявить, что в среднем американцы, учитывая классовые и индивидуальные различия, не хуже всех нас. Надеюсь, они мне позволят этим и ограничиться.

В последний раз я посетил Америку в начале войны. Американцы тогда считали, что им не стоит вмешиваться. У меня были знакомые в среде большого бизнеса, появились и новые. По их общему мнению, Америка лучше всего послужит человечеству, взяв на себя роль миротворца. В конце концов американцы – единственный народ, способный непредвзято и бесстрашно смотреть в будущее. Общественные симпатии были скорее на стороне немцев, и только в восточных штатах их слегка уравновешивала традиционная симпатия к Франции. Сочувствия к англичанам я не заметил вовсе, хотя мне было специально поручено его отыскать. Иногда я начинаю сомневаться, правда ли Англия с Америкой так любят друг друга, как утверждают наши политики и журналисты. У нас был очень интересный разговор с президентом Вудро Вильсоном – главным образом о литературе и драматургии. Однако под конец я все-таки добился от него нескольких слов о войне, и тогда президент оживился, отбросив личину школьного учителя.

– У нас в Америке проживают двадцать миллионов человек немецкого происхождения, – сказал он. – Почти столько же ирландцев. В одном штате Нью-Йорк итальянцев больше, чем в Риме. Скандинавов у нас больше, чем в Скандинавии. Чехи, румыны, поляки и голландцы живут бок о бок. Есть и евреи. Мы нашли способ уживаться вместе, не порываясь перерезать друг другу глотки. Надо и вам в Европе научиться этому. Придется нам вас научить.

Несомненно, тогда Вильсон планировал сохранить нейтралитет. К добру или к худу, он позже переменил намерения – вопрос спорный. Без вмешательства Америки война закончилась бы патовой ситуацией. Европа убедилась бы, что война – безнадежное занятие. «Мир без победы» – единственный по-настоящему прочный мир.

Для демократов Америка – великое разочарование. Я не говорю о материальном благополучии – начиная с какого-то момента оно порабощает. А духовное развитие в Америке, похоже, никому не нужно. Мистер Форд сказал, что каждый покупатель автомобиля «Форд»

может получить машину с доставкой на дом, причем ее покрасят в любой выбранный цвет при условии, что этот цвет – черный. В двух словах он выразил умонастроение современной Америки. Каждый американец волен делать, что ему вздумается, при условии, что двадцать четыре часа в сутки он будет делать в точности то же, что и все. Каждый волен высказывать свое мнение, если он кричит вместе с толпой. У него в отличие от мистера Пиквика нет даже выбора, с которой толпой кричать. В Америке только одна толпа. Каждый американец имеет право на самостоятельное мышление – пока он думает исключительно то, что ему укажут. А иначе пусть, подобно средневековым еретикам, держит дверь на запоре и следит, как бы собственный язык его не выдал. Ку-Клукс-Клан со своей передвижной камерой пыток – всего лишь зримое воплощение современного американского духа. Мысль в Америке подвергается стандартизации. Не приветствуется молодое вино – как бы не побились старые бутылки.

Прошу прощения у моих американских друзей – а их у меня много. Кто я такой, чтобы поучать весь американский народ? Я сам понимаю, насколько это нелепо и нахально. Быть может, меня оправдывает то, что я уже немолод. Скоро меня призовут к великому Судие и спросят ответа – что я сделал в своей жизни и, еще важнее, чего не сделал. Мысль, которую я сейчас выскажу, преследует меня неотступно. Я просто уже боюсь дольше хранить молчание. Много есть людей, облеченных властью, которые могли бы выразить ее лучше меня. Я не рад, что эта задача выпала мне на долю. Если кого-нибудь рассержу, прошу меня простить.

То, как в Америке обращаются с неграми, вопиет к небесам. Случалось, мои собеседники с шуточками и прибауточками рассказывали, как «поганых ниггеров» сжигали заживо на медленном огне, как те кричали, корчились и молили о пощаде, как закатывались их глаза, оставляя на виду одни белки. Сжигают даже мальчишек, а иногда и женщин. Руководят сожжением «видные граждане». Нарядные дамы приходят посмотреть, отцы сажают детей к себе на плечи, чтобы было лучше видно. А Закон в образе здоровенных полицейских стоит рядом и ухмыляется. Проповедники с амвона одобряют подобные вещи от имени Господа. Пресса Южных штатов шумно аплодирует. Вешать, стрелять без суда – и то было бы достаточно страшно. Но когда сжигают, поджаривают живых людей, привязав к железной кровати, рвут живую трепещущую плоть раскаленными щипцами – это какое-то мерзкое сладострастие жестокости. Доводы, которые обычно приводят в оправдание этой гнусности, оскорбляют человеческий разум. Они ничего не оправдывают, даже если бы соответствовали действительности, а в большинстве случаев и того нет. Это позорнее испанской инквизиции. По крайней мере аутодафе задумывалось не как развлечение для толпы. Пред лицом этого ужаса другие страдания негритянской расы в Америке могут показаться мелкими и незначительными, но подумайте: десятки тысяч образованных, культурных людей вынуждены нести на себе несмываемое пятно, превращающее их жизнь в непрерывную трагедию. Их сторонятся, презирают, у них прав меньше, чем у собаки. Они не смеют защитить от белого человека честь своих женщин. Я видел, как они дожидаются у билетной кассы, не смея даже подойти поближе, пока не обслужат всю очередь, состоящую из белых. Я знаю случай, когда женщину в родах заставили ехать в вагоне для скота. Любое издевательство со стороны белого остается безнаказанным. Американское правосудие не страдает дальтонизмом. Когда же злу положат предел?

Глава XII
Война

Одно из моих самых ранних воспоминаний: я сижу на блестящем лакированном стуле, с

которого очень трудно не соскользнуть, и слушаю, как папа, мама и какой-то большой улыбчивый дядя разговаривают о мире. Войны больше не будет. Так решили в городе под названием Париф. То есть большой дядя сказал «Париж», но мама потом объяснила, что это одно и то же. Насколько я понял, мама и папа встретились с джентльменом по имени Наполеон и обо всем договорились. Большой дядя сказал с улыбкой, что в настоящее время на это не слишком похоже, но папа только махнул рукой. Сразу ничего не делается. Мы, так сказать, подготовили почву.

– Молодежь, что придет после нас, доведет дело до конца, – сказала мама.

Помню, мне стало немножко грустно от мысли, что на мою долю войны не достанется, – я опоздал родиться. Мама в утешение завела речь о воинстве небесном и духовных битвах, в которых никогда не будет недостатка, но в глубине души мне казалось, что это неравноценная замена.

Спустя какое-то время Алабамская распря вновь накалила обстановку, и стало казаться, что шанс повоевать еще есть. Отец, в то время президент местного отделения Международного общества борьбы за мир, только головой качал по поводу смехотворных требований Америки. Английское миролюбие все же не безгранично!

Потом у нас и впрямь случилась в некотором роде война. Так себе, но что уж поделаешь, будем обходиться тем, что есть. Против какого-то негуса Феодора. Вроде черномазого. Из него получился отличный Гай Фокс. И еще, помнится, он творил какие-то зверства.

В тот период «главным врагом» была Франция. Мы, мальчишки, при виде всякого человека, хоть отдаленно смахивающего на иностранца, вопили: «Лягушатник!» Нашими любимыми сражениями были битвы при Креси и Пуатье. У дверей многих трактиров раскачивался, поскрипывая, «прусский король» в парике и треуголке.

В 1870 году, когда я еще учился в школе, Франция объявила войну Пруссии. Бедный наш учитель французского, нелегко ему пришлось. В Англии все, кроме нескольких сумасбродов, были на стороне Германии. Зато, когда все закончилось и проигравшая Франция уже не внушала страха, пробудился исконный английский инстинкт – сочувствовать побежденному. Не такая уж плохая черта, кстати.

Понадобился новый враг. На эту роль выбрали Россию.

Россия лелеет замыслы против Индии. Это она развязала афганскую войну[37]. Я в то время был актером. В пьесе под названием «Хиберский проход» я играл мула. Дело было еще до братьев Гриффит с их знаменитым ослом. Дай мне волю, животное наверняка получилось бы смешным, но режиссер заявил, что ему не нужно моей треклятой клоунады. Мул должен быть вполне реалистичным, любимцем полка. В конце спектакля я встал на задние ноги, размахивая британским флагом. Лорд Робертс погладил меня по голове, а публика от восторга чуть не разнесла театр.

С Русско-турецкой войной мне не повезло. Вначале еще была надежда, что мы в нее ввяжемся. Я чуть было не поступил на королевскую службу. Накануне я спал в ночлежке и с утра еще не завтракал. На Трафальгарской площади меня остановил уланский сержант – потрепал по плечу и ткнул кулаком в грудь.

– Ты наверняка не первый в роду солдат! – сказал он. – Тебе понравится.

Мундир был хорош – синий с серебром, и к нему высокие сапоги. В то время еще не

---

[37] Имеется в виду Вторая англо-афганская война (1878–1880). В 1878 г. Россия послала в Кабул дипломатическую миссию, и Великобритания потребовала, чтобы эмир Шир-Али-хан принял и английских дипломатов. Английских послов остановили у входа в Хиберский проход, что стало поводом к началу военных действий.

оценили, как практично одевать солдат в форму цвета болотной жижи.

– Мне нужно встретиться с одним человеком в «Бодеге», – ответил я. – Если он не придет, я сразу вернусь.

Человек пришел, вопреки моим чаяниям. Он взял меня с собой на заседание суда и пристроил за репортерский стол. Так вместо армии я поступил в журналисты.

В те времена мюзик-холл служил барометром общественного мнения. На спектакли приходили политики, и даже министры заглядывали на часок. Наш ведущий комик Макдермотт исполнил новую песенку: «Мы драки не хотим, но если надо – в бой». И дальше что-то о том, что мы русским не отдадим Кон-стан-ти-но-о-поль! С бесконечно протяжным «о». Песня произвела фурор. К концу недели ее пела половина Лондона. Именно из текста этой песни в английский язык вошло слово «*Jingo* »[38].

Митинги за мир в Гайд-парке разгоняли идейные противники. Наиболее везучие из ораторов отделывались купанием в Серпентайне. Сторонники мира всегда при нас. В промежутках между войнами их осыпают цветами, а в военное время отдают на растерзание толпе. Помню, мне встретился Чарлз Брэдло, весь в крови; за ним гналась орущая толпа. Он успел добежать до Оксфорд-стрит, и друзья увезли его в экипаже. Гладстону побили стекла в окнах.

В конце концов нам так и не удалось толком повоевать. Дизраэли объявил «почетный мир» и немедля дал сигнал опускать занавес. Мы от него ожидали большего.

Утешением явились неприятности в Египте. Лорд Чарлз Бересфорд стал народным героем. Его называли Чарли. В Африку отправили лейб-гвардейцев. Я помню, как они возвращались. Впервые Лондон увидел их без шлемов и нагрудников. Худые, усталые люди на отощавших лошадях. Толпа была разочарована, зато вечером наверстала свое.

Вслед за тем настало время бедного генерала Гордона и битвы при Маюбе. А ведь все могло быть совсем иначе! Некоторые возлагали вину на Гладстона и «нонконформистскую совесть». Другие считали, что Господь на нас гневается за то, что мы слишком много внимания уделяем футболу и крикету. Греция объявила войну Турции. Мои друзья-поэты отправились воевать за Грецию, долго искали греческую армию, а когда нашли, не смогли разглядеть и вернулись домой. Вновь началась массовая резня армян. Я в своем журнале «Сегодня» выразил удивление, что не нашлось крепкого молодого армянина, который попытался бы физически устранить «Абдула проклятого», как назвал его позднее Уильям Уотсон. Моя статья каким-то образом попала в руки султану и напугала старого упыря до полусмерти. Я и не рассчитывал на такое везение. О турецкой конституции говорили: «Деспотизм, умеряемый политическими убийствами». При старом режиме в Турции наемный убийца играл ту же роль, что у нас – лидер оппозиции. Все турецкие султаны жили в постоянном страхе перед ним. Меня вызвали в министерство иностранных дел для беседы.

– Известно ли вам, – спросил милый пожилой джентльмен, – что вас можно привлечь к ответственности?

– Привлекайте, – ответил я.

Происходящее возмущало не только меня, но и многих моих знакомых.

Старичок рассердился.

– Вам хорошо говорить! Журнал читают во всех уголках Европы. Им это вряд ли понравится.

---

38 Ура-патриот, шовинист, джингоист. Первоначально слово служило эвфемизмом имени божьего в восклицаниях, выражающих удивление и т.п.: By Jingo!

«Им», как я понял, сотрудникам турецкого посольства.

– Сожалею, – сказал я. – Ничем не могу вам помочь.

Он ознакомил меня с законом о неразглашении государственной тайны, и мы расстались. Больше меня по этому поводу никто не беспокоил.

Примерно в это же время Америка затеяла войну с Испанией. Мы и сами только что поцапались с Америкой из-за какого-то богом забытого места под названием Венесуэла, так что общественное мнение скорее склонялось в пользу Испании. Американские газеты пестрели красочными описаниями испанских зверств времен Филиппа II. Оказывается, у испанцев был когда-то обычай сжигать людей живьем на кострах. Можно ли позволить подобной нации и дальше владеть Кубой?

Фашодский кризис едва ли можно назвать неожиданностью. Франция уже какое-то время прилагала все усилия, чтобы вновь обрести статус «главного врага». По случаю дела Дрейфуса нам заблагорассудилось высказать ей все, что мы о ней думаем в целом. Она в ответ помянула кое о чем, что ей в нас не нравится. Пошли разговоры о союзе с Германией. Джозеф Чемберлен подал идею, а пресса в порыве внезапной любви к истории обнаружила у нас тевтонские корни. Также раскопали высказывание Нельсона в том духе, что каждый англичанин должен ненавидеть французов как самого сатану. Создали специальное общество для укрепления отношений между Англией и немецкоговорящими странами – кажется, оно называлось «Друзья Германии». Конан Дойл предлагал мне вступить. Пожилой майор в Каире после слишком плотного обеда разорвал на кусочки французский флаг и исполнил на обрывках танец собственного изобретения. Если не ошибаюсь, от него и пошел фокстрот. Какая-то из газет виконта Нортклиффа опубликовала фельетон о будущей войне: английские военные корабли разгромлены французскими субмаринами, и лишь подоспевший вовремя немецкий флот в последний миг спасает Англию.

Англо-бурская война вначале не пользовалась особой популярностью. Слишком уж очевидно, что все дело в золотых рудниках. И все же это была какая-никакая, а война, как выразился покойный лорд Холсбери. Джентльмен по фамилии Перкс ушел с поста президента Общества борьбы за мир, чтобы посвятить себя военной деятельности. Его примеру последовали и другие члены Общества. Буры творили зверства, но творили халтурно и довольно долгое время не производили должного впечатления.

Переломным моментом стало известие о телеграмме кайзера. Я тогда был в Германии. Общество было резко настроено против англичан. Однажды у нас были гости, в том числе голландские дамы (родственницы Девета, как выяснилось впоследствии). Посреди обеда наша немецкая горничная вдруг ворвалась в комнату, во все горло прокричала: «Hoch die Buren!»[39] – и залилась слезами. Позже девушка объяснила моей жене, что просто не могла поступить по-другому – ей Бог так велел. Я всегда замечал: если Бог начинает интересоваться международной политикой, дело кончается плохо.

Во Франции было не лучше. Даже хуже. В Париже англичан освистывали на улицах и выгоняли из кафе. Я спасался тем, что разговаривал с сильным американским акцентом, которому научился в поездке по Соединенным Штатам. Французская пресса всячески оскорбляла королеву Викторию. В «Дейли мейл» вышла передовая статья с заголовком «Ne touchez pas la Reine»[40], где намекалось, что если Франция не будет следить за манерами, мы ее

---

[39] Да здравствуют буры! (*нем.*)

[40] «Не трогайте королеву!» (*фр.*)

«вываляем в грязи», отнимем у нее колонии и отдадим Германии. Кайзер объяснил свою знаменитую телеграмму. Оказалось, он совсем не то хотел сказать. Я в клубе «Бродяги» высказал предположение, что буров тоже создал Господь Бог для каких-то своих неисповедимых целей, и на следующее утро все газеты дружно осудили меня за кощунство.

В то время по всей Европе много спорили о том, когда же начался двадцатый век. Ожидалось, что он будет для нас удачным. Франция решительно встала на путь исправления. С другой стороны, Германия занималась демпингом, причем не только в Англии, но и в других странах, где мы доселе привыкли сами заниматься демпингом без помех. В конце концов мы рассердились. Пошли разговоры о союзе с Францией – она-то никаким демпингом не занималась, товаров не было. Тему подхватили карикатуристы. Францию изображали в виде молодой и безусловно привлекательной дамы. Германию – в виде жирного старика с прыщами и стрижкой ежиком. Разве может такой джентльмен, как Джон Буль, сомневаться в своем выборе?

Россию, как выяснилось, тоже неверно поняли. Она совсем не такая плохая, как мы думали; во всяком случае, демпингом не занимается.

И тут Германия, явно из чистой вредности, принялась ускоренными темпами строить корабли.

Даже самые умеренные из нас соглашались, что Британия не должна терпеть соперников на море. Просочились сведения, что Германия строит четыре новых крейсера. Мы немедленно потребовали восемь и даже сочинили об этом песенку:

«Восемь, восемь! Мы требуем, не просим!»

Ее пели на всех дополнительных выборах. Разнообразные партии мира праздновали моральную победу.

Сэра Эдварда Грея обвиняли в том, что он «хитростью» вовлек нас в войну: набрав столько обязательств по отношению к Франции и России, мы просто не могли уклониться от нее без позора. Будь министром иностранных дел сам добрый самаритянин, войны все равно не избежать. Считается, что в войну нас втянула Германия, – тем, что пошла через Бельгию. Да если бы немцы пошли через мыс Доброй Надежды, результат был бы тот же. Всей Европой овладел стадный инстинкт, и Англия не стала исключением. В день, когда мы объявили войну Германии, я участвовал в теннисном турнире местного масштаба. Юноши и девы, седоусые ветераны, бледнолицые священники и очаровательные старые дамы – все как один радовались и ликовали. «Я так боялся, что Грей в последний момент пойдет на попятный». – «А я сомневался в Асквите. Не думал, что у старика духу хватит». – «Слава богу, хоть какое-то время не увидим надпись “Сделано в Германии”». В таком духе велись беседы за чаем.

Куда ни посмотри, везде одно и то же. Носильщики на вокзале, кебмены, рабочие, возвращающиеся после смены домой на велосипеде, фермеры, подкрепляющиеся хлебом и сыром на обочине дороги, – у всех были счастливые лица людей, которые внезапно получили радостное известие.

Несколько лет уже нарастало это подспудное: Германия – враг. Вначале мы грустили. Впервые в истории на роль врага назначили именно немцев. Но они сами виноваты! Не могли разве оставить нас в покое, не мешать торговле, не грозить нашему владычеству на море? Вполне симпатичные люди говорили: «Придется нам с ними схлестнуться. Надеюсь, я еще застану это время!» Или: «Надо поставить их на место. Потом зато лучше поладим». Все считали, что война разрядит атмосферу, а после нее все станет лучше и приятнее. Некая партия под предводительством лорда Робертса требовала всеобщей мобилизации; другая, под предводительством лорда Фишера, предлагала захватить и потопить немецкий флот. Одна за другой выходили книги и пьесы, посвященные немецкой угрозе. Киплинг открыто объявил

Германию первоочередным врагом.

В Германии, насколько я понял из рассказов немецких друзей, происходило примерно то же самое. Вдруг оказалось, что именно Англия то явно, то скрыто повсюду ставила препоны немецкой экспансии, отказывала Германии в месте под солнцем и загоняла ее в угол, лишая выхода к морю.

Пастбища потихоньку истощались, и стада забеспокоились.

В эпохи национальных потрясений единственное, что отдельный гражданин может сделать для истории, – правдиво рассказать о своих собственных личных ощущениях.

Я тоже обрадовался, узнав, что мы объявили войну Германии. Зверь во мне встрепенулся. Это будет величайшая война в мире! Я благодарил всех богов за то, что она пришлась на мое время. Я бы и сам записался добровольцем, если бы давно не вышел из призывного возраста. Говорю это с уверенностью, потому что позже, когда мой энтузиазм давно уже остыл, я и в самом деле попал на передовую, в довольно опасный район. Знакомые вокруг бросали работу, жертвовали карьерой, и мне стало стыдно сидеть в тылу, пописывая о них одобрительные статеечки по стольку-то за тысячу слов. Конечно, знай мы, что война продлится дольше нескольких месяцев, – тогда другое дело, но понимающие люди уверяли нас, что все закончится быстро. Мистер Уэллс, например, не допускал никаких сомнений. Это он назвал происходящее Священной войной. Я как раз недавно перечитывал его письма того времени. Некая мисс Купер Уиллис их переиздала – возможно, оказав тем самым мистеру Уэллсу плохую услугу. Я рад, что мои тогдашние статьи никто не вытащил на свет. От нас, литературных трудяг, требовали писать в газеты статьи о войне. Какую дикую чушь мы выдавали в те первые недели всеобщей истерии – должно быть, ангелы плакали, читая их, а чертенята покатывались со смеху. Чтобы хоть чуть-чуть оправдаться в собственных глазах, я вспоминаю, что все-таки осторожно высмеивал бредовый лозунг «Война, чтобы покончить с войной». Подобные разговоры я слышал еще в детстве, и полвека, что прошло с тех пор, были одним из самых кровавых периодов в истории. С войной покончит всеобщее торжество разума, но мы пока еще не сделали даже самых первых шагов в этом направлении.

Впрочем, я действительно ненавидел немецкий милитаризм. Я видел, как немецкие «официрен» шагают по улице по трое-четверо в ряд, сметая встречных с дороги без разбора пола и возраста. (Точно такую же картину я наблюдал в Петербурге, но Россия нас в то время не беспокоила.) Наглые, самодовольные вояки располагались по-хозяйски в кафе, театрах, железнодорожных вагонах, а штатские молча жались по углам, про себя мечтая надавать им по физиономии. Во Фрайбурге я видел измученные лица новобранцев после долгого марш-броска под палящим солнцем – из прохудившихся сапог виднелись стертые в кровь ноги. Сидя на залитой кровью скамье, я смотрел на студенческие дуэли – несомненно, способствующие подготовке младшего поколения к «величайшей из игр», как выразился Киплинг. Я ненавидел всю эту бессмысленную жестокость и был уверен, что мы освободим немцев от ими же созданной адской машины. А потом настанут мир и дружба.

К немецкому народу поначалу ненависти не было. Король Георг V подавал пример: ходил по госпиталям, пожимал руки раненым Гансам и Фрицам. Мы восхищались капитаном крейсера «Эмден» за доблестные действия против наших собственных кораблей. Китченер в своих донесениях признавал мужество противника. Солдаты в окопах обменивались шутками и любезностями с вражеской стороной. С нашими гражданскими лицами, застигнутыми войной в Германии, хорошо обращались. Все шло в русле взаимной доброжелательности.

Кто знает – если бы война закончилась к осени, как предсказывали кайзер и наш Боттомли, возможно, в самом деле осуществилась бы мечта о лучшем и более человечном мире. Но боги, как видно, с какими-то своими целями решили иначе. Потребовалось заставить

обычных людей и дальше воевать и трудиться, не щадя себя. Самое безотказное средство – ненависть.

Тогда пошли в ход рассказы о вражеских зверствах.

Некий член парламента предложил мне поехать в Америку, чтобы способствовать английской пропаганде. На корабле я свел знакомство с американской делегацией, возвращавшейся из Бельгии, куда их отправило правительство Соединенных Штатов с заданием выяснить, правдивы ли сообщения об ужасах, которые творят немцы. По мнению делегатов, если исключить обычные мерзости, свойственные всем войнам, девятнадцать из двадцати этих жутких историй не соответствуют истине.

Именно эти живописания немецких зверств, ежедневно поставляемые прессой, впервые заставили меня усомниться, в самом ли деле мы ведем «священную войну». Я старался по мере сил выступать против таких историй. Насколько хорошо я знал и ненавидел немецкую военную машину, настолько же я знал и никак не мог возненавидеть немецкий народ. Я много лет жил среди немцев – это добрые, приветливые люди. В Германии практически не встречается жестокость к животным. К женщинам и детям – еще реже. Статистика преступлений в Германии выгодно отличается от нашей. Попытки представить их как нацию каких-то демонов мне кажутся настолько же глупыми, насколько и бесчестными. Разумеется, пресса на меня ополчилась, а в частном порядке многие господа и дамы оказывали мне честь, присылая письма с угрозами.

Доклад той делегации опубликовали в Америке, но до Англии он так и не дошел.

В Америке, насколько я могу судить, преобладали скорее профранцузские и, соответственно, антианглийские настроения. Всех возмущала блокада Германии. Когда мне приходилось выступать перед публикой, только один тезис неизменно вызывал положительный отклик – о том, что вслед за войной наступит «справедливый и прочный» мир. Мне заранее посоветовали напирать на это. Популярная карикатура, выставленная на Бродвее, изображала европейские державы в виде вопящих чумазых мальчишек, затеявших бессмысленную потасовку, в то время как Америка, словно заботливая мать, готовит для них горячую ванну и пластыри. Ту же мысль высказывал во время нашей встречи президент Вильсон: Америка пока что держится в стороне, чтобы вмешаться в самом конце и выполнить роль миротворца. На одном публичном обеде я познакомился с группой крупных немецких дельцов и банкиров. По их словам, Германия уже сообразила, что откусила слишком большой кусок, и будет рада принять участие в мирных переговорах – например, в Вашингтоне. Вернувшись на родину, я сообщил об этом, но, кажется, само слово «переговоры» приводило британцев в ужас.

Осенью 1916 года я наконец, как говорят, «пробился на фронт». Я уже какое-то время прилагал к этому усилия. Конечно, мешал возраст – пятьдесят пять лет. Я мог бы вступить в отряд «ветеранов» и охранять Хрустальный дворец или патрулировать набережную Темзы, но мне хотелось побывать в местах настоящих военных действий. Я предложил Христианской ассоциации юношей свои услуги в области разговорного жанра. Я был неплохим рассказчиком и частью сочинил, частью присвоил несколько хороших историй. Мне позволили на пробу провести несколько выступлений в госпиталях и военных лагерях здесь, в Англии, результат был одобрен, однако Военное министерство не дало разрешения. Военный чин, с которым я встречался, был скуп на слова. По его сведениям, половина военнослужащих британской армии пишут заметки для будущих книг. Если я хочу приносить пользу, он охотно найдет мне работу на фабрике по пошиву военного обмундирования, близ Пимлико. Честное слово, я и не думал о книге. Я действительно считал, что смогу выполнять нужную работу, помогая солдатам ненадолго забыть о тяготах службы. Но признаюсь, любопытство тоже было в числе моих побудительных причин. Человеческая природа заставляет нас выскочить из кровати и гонит

среди ночи поглазеть на пожар. А тут – события, равных которым по масштабу не знала история, причем совсем рядом, буквально рукой подать. В Гринвиче, если ветер дул с континента, можно было услышать грохот орудий. Конечно, не обошлось и без чисто мужской тяги к приключениям. Мало ли, в какую передрягу попадешь; того и гляди, вернешься героем. И уж во всяком случае, приятно хоть ненадолго оказаться подальше от наших тыловых героев с их визгом и воплями. Солдаты, по крайней мере, настоящие джентльмены.

Я уже почти потерял надежду, как вдруг возле фотоателье на Бонд-стрит повстречал старого приятеля в мундире, как мне сперва показалось, генерал-майора.

Я глазам своим не поверил, точно зная, что ему никак не меньше пятидесяти. В прошлый раз мы виделись недели три назад, у него в адвокатской конторе. Я ходил к нему проконсультироваться по поводу чайных листьев, которые моя жена не выбрасывала, а сохраняла и боялась, как бы не попасть под закон о накоплении запасов.

Сейчас он с некоторой надменностью пожал мне руку.

– Извини, времени совсем нет. Вечером отплываем из Саутгемптона, а еще надо зайти во французское посольство.

– Постой минутку! – взмолился я. – Не возьмешь ли меня адъютантом? Я любую работу могу выполнять. Например, пуговицы чистить…

Он отмахнулся:

– Невозможно! Жоффр ни в коем случае…

И тут при виде моего расстроенного лица сердце сурового вояки растаяло, и он вновь обрел облик добродушного толстяка-поверенного. Вырвав из записной книжки страничку, он что-то написал и отдал мне.

– Скажешь, что я тебя прислал. Пока!

И нырнул в поджидавшее такси. Прохожие почтительно расступались, давая ему дорогу.

На листке оказался адрес, где-то в Найтсбридже. Меня принял весьма любезный господин по фамилии Иллинворт и все объяснил. Идея принадлежала француженке, графине де ла Панусс, жене военного атташе в Лондоне. Во французской армии не было таких строгих правил, как в нашей. Если здоровье позволяло, возраст не был помехой для того, чтобы водить автомобиль медицинской службы. Я сдал все необходимые экзамены на вождение и знание механики и стал французским солдатом. Жалованья мне полагалось два с половиной су в день, выплачивалось сразу за месяц – жена до сих пор хранит эти деньги. Во французском посольстве мне оформили паспорт, а британскому Военному министерству я мог показать нос, что и сделал, проходя мимо, в свой последний день в Лондоне, и меня строго отчитал дежурный констебль.

Нашу форму, если я правильно помню, придумала сама графиня де ла Панусс: мундир цвета хаки с темно-синим кантом, портупеей и декоративными пуговицами. Получилось очень красиво, хотя и недешево. Разумеется, форму шили за наш счет, но я уверен – никто не пожалел о потраченных деньгах. Во французской армии никто не мог определить наш чин и род войск. Новобранцы в сумерках принимали нас за фельдмаршалов. Однажды у ворот цитадели в Вердене часовые почтительно отсалютовали нам с бедным Хатчинсоном – драматургом, он вернулся в Англию и умер через несколько месяцев.

Я отплыл из Саутгемптона вместе со Спринг-Райсом, братом нашего посла по особым поручениям в Вашингтоне, и нашим командиром Д.Л. Оливером – он приезжал в Англию в отпуск. Мы везли три новых автомобиля – подарок Ассоциации британских фермеров. Корабль был полон солдат. Едва мы поднялись на палубу, нам выдали спасательные воротники с инструкцией немедленно их надуть и повязать на шею. Это придавало нам вид елизаветинских джентльменов. Одного офицера инженерных войск с остроконечной бородкой мы прозвали

Шекспиром. Лежать в таком воротнике было невозможно. Под покровом тьмы мы их снимали, в нарушение всех правил, и прятали за пазуху. В Ла-Манше все сверкало огнями, как на Риджент-стрит вечером большого праздника. Наш транспорт сопровождали два эсминца, резвясь по обе стороны корабля, точно пара дельфинов, и то и дело зарываясь носом в волны. Около полуночи поднялась тревога: немецкая подлодка прорвалась. Мы полным ходом вернулись в Саутгемптон и оставались там еще сутки. На следующую ночь мы вновь получили приказ выдвигаться и к утру достигли Гавра.

Французские дороги в сельской местности строят по принципу лабиринта в Хэмптон-Корте. Путешествуя по ним, то и дело возвращаешься к одной и той же деревушке. Лучше всего просто молиться, не обращая внимания на указатели. Оливер бывал здесь прежде, и то мы раз десять сбились с дороги. В первый вечер мы добрались до Кодебека. В этом очаровательном средневековом городке едва ли хоть один камень сдвинулся с места со времен Жанны д’Арк, когда граф Уорик захватил его для англичан. Если бы не война, я бы непременно там задержался на день-другой. А сейчас мы со Спринг-Райсом рвались на передовую. Оливер, воевавший уже год, не так торопился. В Витри, милях в ста по ту сторону Парижа, мы вступили в «зону великих армий». Начали попадаться первые признаки войны. Мы проезжали деревни, от которых осталась всего лишь груда развалин. Там уже работали квакеры. Если бы не они, сомневаюсь, что христианство пережило бы эту войну. Все прочие конфессии отступились без борьбы. Вместо разрушенных церквей «Друзья» находили более или менее сохранившийся амбар, клали кровлю, притаскивали несколько скамеек, устраивали алтарь (чаще всего – просто пара досок, положенных на козлы), с белой скатертью и букетиками цветов. На обломках домов возводили импровизированные жилища, заново сложив очаг. Старики и старухи, греясь на солнышке, улыбались проезжим. Дети бежали за нами с приветственными воплями. Лаяли собаки. Под вечер я заблудился. Моя машина шла последней из трех. На извилистых проселочных дорогах легко было потерять из виду предыдущее авто. Я помнил пункт назначения – Бар-ле-Дюк. Уже в сумерках я добрался до городка под названием Ревиньи и решил там заночевать. Полгорода лежало в руинах. Всюду толпились солдаты, а поезда постоянно подвозили еще. «Волосатики»[41] спали прямо на улицах, завернувшись в одеяла и подложив под голову рюкзак вместо подушки. В единственной убогой гостинице обслуживали только офицеров. Меня пустили благодаря мундиру. Общий зал был набит до отказа, и хозяйка поставила для меня стул на кухне. Тараканам приходилось плохо. Они падали в суп и в рагу, и никто не спешил их спасать. Я раздобыл ветчины и бутылку вина, а спал у себя в машине на носилках. На рассвете отправился дальше, и на окраине Бар-ле-Дюка встретил Оливера – он обзванивал все населенные пункты, расспрашивая, не видел ли кто потерявшегося англичанина. Добрая душа, он ограничился устным выговором, а мог бы отдать меня под трибунал. Позже я научился постоянно держать в поле зрения идущий впереди автомобиль; это не так просто, как может показаться. В Бар-ле-Дюке мы узнали конечную цель нашего путешествия. Наше подразделение, Конвой-10, перевели в Рарекур – деревню близ Клермон-ан-Аргона, в двадцати милях от Вердена. К вечеру мы были на месте.

Наш отряд насчитывал десятка два британских подданных – в том числе из колоний. Были у нас юнцы, не прошедшие медкомиссию, один-два офицера, демобилизованные по ранению, однако большинство составляли такие, как я, кого не взяли в армию по возрасту. Отряды, подобные нашему, были разбросаны по всей линии фронта. У американцев была собственная медицинская транспортная служба; некоторые работали у немцев. Официально нами

---

[41] Poilu – прозвище французских солдат в Первую мировую войну (*фр.*).

командовал французский офицер, но во главе каждого отряда стоял англичанин, выбранный за знание французского языка. Должность у него была нелегкая. Он отвечал за выполнение приказов и в то же время старался по мере сил облегчить службу пожилым джентльменам, непривычным к дисциплине и зачастую плохо представляющим себе разницу между современной войной и клубом на Пиккадилли. Оливер являл чудеса терпения и такта. Что касается еды, мы получали обычный армейский рацион. Много мяса и овощей, притом хорошего качества. Вдобавок у нас в столовой был общий фонд, и мы добывали, что могли, по окрестностям. Это было очень весело – можно было съездить в Сент-Менеу или в Бар-ле-Дюк, там принять нормальную ванну и пообедать за столом с чистой скатертью. Столовая наша располагалась в длинной палатке посреди поля. В хорошую погоду там было свежо и прохладно, зато в ненастье палатку насквозь продувало ветром и заливало дождем, так что пол превращался в хлюпающую грязь. Мы садились за *la soupe* – так здесь называли обед – в шинелях, подняв воротники. Ночевали в деревне, кого куда разместили. Я с тремя товарищами спал в амбаре. Мы расстелили спальные мешки на носилках, поставленных на козлы, и соорудили столики для бритья и туалетных принадлежностей, купив у хозяйки местной бакалейной лавки упаковочные ящики по франку за штуку. Позже я нашел себе более роскошное жилье в доме старого крестьянина и его жены. Они никогда не раздевались. Старик, сбросив башмаки, вешал куртку на гвоздик и с кряхтеньем заползал в какую-то дыру в стене. Жена его распутывала невидимые завязки, расстегивала пуговицы, встряхивалась, оставляла туфли у печки и, задув лампу, исчезала в такой же дыре напротив. Около церкви был домик с плющом и скамейкой – по вечерам я любил там посидеть с трубочкой, любуясь чудесным видом. Общительная старушка-хозяйка похвасталась как-то, что на этой самой скамейке в прошлом году сиживали трое офицеров – полковник и два майора, приветливые такие. В то время деревню оккупировали немцы. Как я понял, местные жители неплохо на них наживались.

– У них было много денег, – пояснила мадам.

Большие трудности были с топливом. Плох тот ветер, который никому не приносит добра, – новость о разбомбленной деревне, покинутой своими обитателями, разносилась как лесной пожар. Кто успеет первым, тот и уволочет из развалин бревна и доски. Сырое дерево плохо горит, а в землянках другого и не видали. Говорят, нет дыма без огня. Неправда! Иной раз в землянке набиралось столько дыма, что приходилось зажигать спичку, чтобы найти очаг. А если спички французские, уходит весь коробок. Нас только примусы и спасали. Мы жгли их день и ночь, как весталки свой священный огонь. На них мы готовили, сушили одежду и отогревали замерзшие ноги перед сном. Грязь была нашим проклятием. Дожди не прекращались, и мы жили по уши в грязи. Наш отряд работал в Аргонском лесу. Дежурили мы в point de secours[42], в какой-нибудь сотне ярдов от передовой. Раненых, наскоро перевязав, приносили к нам из полевого лазарета на носилках, или они приходили сами, морщась от боли. Нам разрешалось бродить где вздумается, лишь бы в пределах слышимости. Можно подойти туда, где кончается колючая проволока, и посмотреть на залитые грязью просторы вокруг. Черная, неподвижная грязь, словно застывшая река; кое-где из нее торчат белые кости, человеческая нога (подошвой вверх), безглазая голова лошади. На той стороне виднелись среди деревьев каменные блиндажи и немецкие часовые.

Во время своего второго ночного дежурства я услышал над головой странный свист. Решив, что это какая-нибудь ночная птица, я стал смотреть вверх. Свист повторился. Я сделал несколько шагов, стараясь рассмотреть получше, и тут сильный удар в живот сбил меня с ног. В

---

[42] Пункт медицинской помощи (*фр.*).

следующий миг раздался грохот. Привязанную в нескольких шагах от меня лошадку подбросило в воздух, и она упала замертво. Оказалось, наш врач, аптекарь из Перонны, толкнул меня на землю и потащил по ступенькам вниз, в свою землянку. В другой раз, услышав свист среди ветвей, я старался не мешкать.

Можно подумать, солдаты по ту и другую линию фронта каким-то образом общались между собой: те два часа в день, когда по узкоколейке подвозили провизию, французские и английские батареи молчали. Как только последний бочонок муки и последний мешок картошки благополучно скатятся по ступенькам в полевую кухню, артобстрел начинается вновь. Взрывается немецкий фугас – а француз, которому взрывом должно бы снести голову, неизменно в сторонке пилит дрова. Видно, крестьянину интуиция подсказывает, когда для здоровья полезно немного прогуляться.

Жаль, не доверили простым солдатам договариваться о мире. Пожалуй, тогда и Лига Наций не понадобилась бы. Как-то я увидел двух солдат, сидевших рядышком на бревне – француза-*poilu* и пленного немца. Француз поделился с ним завтраком. На земле между ними лежала винтовка победителя.

Больше всего мы страшились ночных вызовов. Едешь по лесу с выключенными фарами, то в горку, то вниз с кручи, по узким петляющим дорогам, ориентируясь по памяти, а в низинах попадаешь в туман, где приходится так напрягать зрение, что глаза чуть не вываливаются из орбит. Мы выжимали всю возможную скорость – ведь от этого зависела жизнь людей, которых мы везли. К тому же нас могли еще отправить в новый рейс. Часто так и случалось. Если верить календарю, в иные ночи должна бы светить луна, но в те края бесконечных дождей она заглядывала редко. При такой работе нервы натянуты до предела. Выход один: до последней минуты думать о чем-нибудь другом. Говорят, такой совет дают приговоренным к повешению. Снимаешь сапоги и гимнастерку, задуваешь свечу, ложишься… Откуда-то сверху на стол шлепается крыса и замирает. Мы переглядываемся при свете тлеющих в печке поленьев – все ли съестное убрали в жестяные коробки? Хотя эти хитрые твари наловчились и крышки открывать. Ну что ж, откроет так откроет. Возможно, она удовлетворится свечным огарком. Водитель номер девять отворачивается к стене… и вдруг опять вскакивает. На деревянной лесенке слышны шаги. Шаги приближаются. Девятый номер задерживает дыхание. Слава всем богам, прошли мимо. Со вздохом облегчения он укладывается снова.

Кажется, не успел закрыть глаза, а уже в лицо бьет яркий свет. Кто-то бородатый в голубом мундире и синей железной каске стоит рядом с кроватью. «Ambulance faut partir»[43]. Бородач, прежде чем уйти, милосердно зажигает свечу (крыса, как видно, нашла себе что-то повкуснее). Водитель номер девять в полубессознательном состоянии одевается и выходит наружу. Помощник Пьер уже крутит ручку мотора и почти выбился из сил. Девятый отпихивает его в сторону, берется за рукоятку, и примерно с двадцатого оборота мотор заводится, взревев, словно внезапно разбуженный огромный зверь. Пьер, только что осыпавший машину всеми известными в Гаскони проклятиями, гладит ее по капоту почти влюбленно. Словно из-под земли возникают неясные в темноте силуэты. Двое раненых на носилках, трое сидячих. Носилки поднимают и быстро задвигают в машину. Трое сидячих медленно и с трудом занимают свои места, рядом сваливают в кучу их рюкзаки и винтовки и захлопывают дверцы. По дороге нужно заехать в лагерь Камбон, взять еще людей. Как проедете развалины фермы де Форе, свернете налево, сразу за переездом и будет лагерь, не ошибетесь. И Девятый садится за руль.

---

[43] Машине «скорой помощи» надо ехать (*фр.*).

По дороге через лес он не отрывает глаз от узкой полоски неба над головой. Нужно все время держаться точно в центре этой полоски. А машина то и дело виляет из стороны в сторону. Пьер, сидя на подножке, приклеился взглядом к дороге. Вдруг он кричит:

– Gauche, gauche![44]

Девятый номер резко выворачивает влево.

– À droite![45] – вопит Пьер.

Он что, сам не знает, чего хочет? И куда, черт возьми, девалось небо? Угадывающаяся по сторонам дороги глубокая канава манит, словно грязевая Лорелея. И вдруг небо вновь выскакивает откуда-то сзади. Девятый переводит дух.

– Arretez![46] – кричит Пьер чуть погодя.

Он разглядел во тьме бесформенную массу – возможно, остатки разрушенной фермы. Он выходит, хлюпает по грязи и с торжеством возвращается. Действительно, это ферма. Значит, мы на верном пути. Остается не пропустить поворот налево. Они находят поворот – по крайней мере надеются, что нашли. Спуск довольно крутой. Из машины доносятся жалобные крики:

– Doucement, camarade… doucement![47]

Пьер, открыв окошко в перегородке, объясняет, что ничего поделать нельзя: дорога плохая. Жалобы прекращаются.

Дорога все хуже и хуже. Дорога ли это вообще, или они заблудились? Кажется, машина в любую минуту готова перевернуться вверх тормашками. Девятый номер вспоминает жуткие истории, слышанные в столовой: о том, как водителям приходилось целую ночь провести возле застрявшей в грязи машины, слушая доносящиеся изнутри стоны и молитвы; как машины опрокидывались, вывалив умирающих людей прямо в слякоть, кучей перепутавшихся рук, ног и размотавшихся бинтов. Его прошибает пот, хотя ночь сырая и промозглая. Не обращая внимания на протесты Пьера, Девятый включает фонарик и светит вперед и вниз. Все-таки это дорога, хотя изрытая воронками от снарядов. Машину подбрасывает на каждой. Если оси выдержат, может, получится спуститься. Оси каким-то чудом выдерживают. Машина выезжает на ровный участок, Пьер издает радостный вопль, и тут же впереди возникает переезд и раздается долгожданный голос часового.

Выносят раненого. Он уже два часа без сознания. Пусть Девятый прибавит скорость. Наполняющий долину туман все гуще и белее – словно голову обмотали мокрой простыней. Тени выплывают навстречу и тут же растворяются. Что это – люди, дома, деревья? Невозможно сказать. Вдруг Девятый бьет по тормозам, останавливая машину. На этот раз видно отчетливо: огромный фургон, лошади-тяжеловозы встают на дыбы и роют землю копытами.

И ни звука! Пьер спрыгнул с подножки и что-то кричит. Где же возница?

Все исчезло. Тишина. Пьер снова залезает в машину, и оба начинают хохотать во все горло.

Но почему Пьер тоже это увидел?!

Машина ползет на первой передаче. Раздается глухой треск. От фонарика никакого толка, на ярд вперед ничего не видно. Ощупью выясняют, что машина уперлась в дверь. К счастью,

---

44 Налево (*фр.*).

45 Направо (*фр.*).

46 Стойте! (*фр.*)

47 Полегче, товарищ… полегче! (*фр.*)

задние колеса все еще на дороге, можно выправиться. Но дальше ехать бессмысленно. Вдруг Пьер ныряет под машину и появляется вновь, попыхивая сигаретой. В восторге от собственной изобретательности, он идет, пританцовывая, держа зажженную сигарету за спиной и нащупывая дорогу собственными ногами. Девятый номер медленно едет вслед за крохотной искоркой. Время от времени невидимый Пьер делает затяжку, прикрывая сигарету рукой, и огонек разгорается ярче. Спустя какое-то время туман рассеивается. Пьер, громко распевая, вновь забирается на подножку. Еще через милю они пересекают условную границу, за которой разрешено включать фары, но на всякий случай решают не включать. Глаза только-только приспособились к темноте; а после яркого света трудно будет снова привыкать на обратной дороге. Подъезжая к тыловому госпиталю в двадцати километрах от линии фронта, оба поют во весь голос, каждый на свой мотив.

– Как доехали? – спрашивает коллега-водитель из другого отряда.

Он только что выгрузил раненых и натягивает шоферские перчатки.

– Туман мешал немного, – отвечает Девятый. – Пришлось завернуть в лагерь Камбон.

– А, там спуск пакостный, – кивает коллега. – Ну, пока!

Из Рарекура нас перевели в Верден. Город был почти полностью разрушен. В некоторых домах рухнула передняя стена, оставив комнаты нетронутыми, точно в кукольном домике: два кресла у камина, распятие на стене, детская игрушка на полу. В одной лавке мы увидели двух канареек в клетке, погибших от голода. Кучка перьев рассыпалась в пыль, когда я до нее дотронулся. В ресторане суп еще стоял на столе, в бокалах оставалось недопитое вино. В Цитадели до сих пор жили люди: целый подземный город галерей и туннелей, улицы из спален, столовые, концертный зал, госпитали и кухни. Кое-где можно было увидеть группы пленных немцев – они расчищали завалы и вообще занимались уборкой. Видно, в Германии в то время была острая нехватка шерсти; несмотря на морозы, из белья у военнопленных были только тонкие хлопчатобумажные рубашки. Сквозь дыры просвечивало голое тело. В соборе расквартировали взвод французских саперов. Алтарь служил им кухонным столом. Город казался удивительно мирным, хотя вокруг продолжались бои. Наш Десятый отряд стоял здесь прошлой зимой, им тогда пришлось туго. Во время сражений о Гаагских и Женевских конвенциях как-то подзабыли. К орудиям не успевали подвозить снаряды, и машины медицинской службы не всегда шли обратно порожняком. Наверняка водители немецкого Красного Креста тоже закрывали глаза на нарушения. Солдат не станет поднимать шум по такому поводу. Я был на борту «Лузитании» в ее предпоследний рейс из Нью-Йорка в Ливерпуль, перед тем как ее торпедировали. Мы были по самую ватерлинию нагружены боеприпасами. Немцев обвиняли в том, что они сбросили бомбы на госпиталь. Ну да, а что им было делать? Госпиталь находился по одну сторону дороги, склад боеприпасов – по другую. Самое удобное расположение. Те, кто называет войну игрой, пусть сами отправятся на фронт и поиграют. Они быстро убедятся, что в этой игре не придают большого значения правилам. Однажды нам приказали везти штабных офицеров в инспекционную поездку. Это было уже несколько чересчур. Спринг-Райс отказался наотрез, но не все наши были такими же смелыми.

Проливные дожди сменились морозами. Часто термометр показывал сорок градусов ниже нуля[48]. Французы говорили: «Pas chaud»[49]. Они всегда такие воспитанные… Нельзя ведь прямо сказать, что холодина лютая, вдруг госпожа Погода обидится. Француз только намекнет:

---

48 По Фаренгейту или по Цельсию, в данном случае значение одинаковое.

49 Не жарко (*фр.*).

не жарко, мол, – а остальное уж на ее совести. Завести машину в таких условиях – адский труд. На ночь мы обматывали моторы одеялами, а под капотом оставляли зажженный фонарь. Один завел привычку прогревать цилиндры паяльной лампой; мы старались обходить его как можно дальше. Птицы не могли летать и сидели, нахохлившись, в защищенных от ветра уголках. Кое-кто из солдат их подкармливал объедками, а другие, наоборот, ловили и жарили. Там и жарить-то было нечего, одни косточки.

Как-то раз в лесу я наткнулся на ветеринарную лечебницу. Странное было зрелище. Выздоравливающие звери лежали на солнышке, многие еще в бинтах. На шее у совсем маленького ослика красовался военный крест. Возницу убили, а ослик со сломанной ногой сам пошел дальше и доставил в окопы груз писем и посылок. Возницы военных фургонов обычно бывали добры к своим животным, да и многие солдаты брали с собой на фронт домашних собачек и делились с ними провизией. Но крыс, если удастся поймать, обливали бензином и поджигали.

– Она съела мою колбасу, – объяснил мне ясноглазый молоденький «волосатик».

Он считал, что всего лишь совершил акт справедливого возмездия.

Некоторые офицеры разбивали садики перед землянками, а маленькие кладбища, попадавшиеся в лесах, пестрели цветами. Один майор обставил свою землянку подлинной мебелью в стиле Людовика XIV: она просто валялась в поле. Когда я был у него в гостях, мы пили чай из чашечек тончайшего фарфора. Чуть дальше от линии фронта жизнь в деревнях шла обычным порядком: если не было бомбежки, крестьяне работали в полях, женщины судачили, а дети играли возле родника. Независимо от бомбежек ежедневно в церкви – или на ее развалинах – служили мессу. Паству составляли солдаты, иногда можно было увидеть женщину в черном. А по воскресеньям приходили фермеры с женами и дочерьми в нарядной одежде, и солдаты, по будням не всегда особо заботившиеся о своей внешности, чистили щеткой мундиры и до блеска надраивали пуговицы.

В пределах десятикилометровой прифронтовой полосы нельзя было встретить ни женщины, ни ребенка. Женщины-сиделки служили только в тыловых госпиталях. Жизнь была скучная. Первый азарт быстро прошел. Мы разговаривали в основном о еде. Главное событие недели – посылка из дома. Часто она приходила уже открытой. Оставалось поблагодарить Господа за то, что уцелело. Из каждых трех коробок сигарет, которые мне присылала жена, я получал хорошо если одну. Французские сигареты, продававшиеся в столовой, состояли на десять процентов из отравы, а на девяносто – из грязи. Измученное лицо раненого озарялось радостью, если покажешь ему английскую сигарету. Из алкогольных напитков нам разрешали только ром, и тот можно было купить в строго ограниченном количестве. Он веселил душу и согревал замерзшие ноги. Парижские газеты доставляли вечером – если доставляли вообще. В газетах рассказывалось, как мы бодры и веселы. Мы предпочитали узнавать новости из ежедневного бюллетеня, который вывешивали с утра возле штаба. Там рассказывалась правда, будь она приятной или нет. К грохоту орудий привыкаешь. На расстоянии нескольких миль он звучит даже мелодично. Землянки размещались неподалеку от наших батарей, очень хитро спрятанных. Помню, однажды присел я на бревно почитать. Место было живописное, возле крутого откоса, который хорошо защищал от ветра. И вдруг… Я сперва решил, что мне оторвало голову. Лежа на земле, я постепенно разглядел два глаза, уставившиеся на меня из норы, вырытой в откосе. Оказалось, я устроился рядом с батареей семидесятипятимиллиметровых пушек. Молодой офицер, почти мальчишка, пригласил меня зайти – решил, что внутри мне будет удобнее. В окрестностях Вердена орудия рявкали постоянно и сильно действовали на нервы. Иногда с обеих сторон отдавали приказ «выложиться на полную»: эффект получался по-настоящему устрашающий. Но если

отважишься выглянуть из укрытия, зрелище того стоило: весь горизонт пылал прожекторами и сигнальными ракетами. К рассвету грохот затихал и можно было ложиться спать. Читать ничего не хотелось, кроме самой легкой развлекательной литературы. Особенной популярностью пользовались дешевые книжки, напечатанные на рыхлой бумаге, – из них легко было вырывать странички. Мы играли в карточную игру вроде бриджа и считали дни до увольнительной. По общему мнению французов, Англия начала войну, чтобы перебить немецкую торговлю, а потом втянула и Францию. Переубедить их не было никакой возможности.

Зима выдалась тяжелая, да и возраст сказывался. К весне я уже был не в состоянии продолжать работу и совершенно исцелился от последних остатков преклонения перед войной. Газетные иллюстрации, изображающие восторги окопной жизни, потеряли для меня всякий интерес. По сравнению с современной войной профессия мусорщика покажется прекрасным занятием, а работа крысолова куда более приличествует истинному джентльмену. Я присоединился к небольшой группе людей, призывающей к разумному миру, вопреки общему настроению прессы и толпы. Мы произносили речи в Эссекс-Холле и в провинциях. В числе прочих единомышленников я вспоминаю лорда Пармура, Бакмастера, графа Бошана, Джеймса Рамсея Макдональда, декана Инга, Зангвилла, Сноуденов, Дринкуотера и Эдмунда Дина Морела, человека с великим сердцем. Нас поддерживало всего одно периодическое издание – «Здравый смысл» под редакцией Франсиса Ригли Херста, – он с самого начала войны не сдавал своих позиций, сохраняя при этом такт и чувство юмора. Позже нам на помощь пришел лорд Лансдаун. Лорд Нортклифф, вскоре скончавшийся от продолжительной болезни мозга, предположил, что поддержать нас его заставил старческий маразм. Не знаю, принесли ли мы какую-нибудь пользу, помимо успокоения собственной совести.

Война закончилась в 1918 году. Между 1919 и 1924 годами все шло к тому, чтобы Франция вновь заняла место Главного врага. Ничего другого она и не желала, если судить по французским газетам. В настоящее время ширится движение за то, чтобы назначить на эту роль Россию. Быть может, у богов другие планы. В стаде есть и пестрые овцы, не только белые. Ясно одно: человечество, как встарь, отличается дурными наклонностями и не блещет разумом.

Глава XIII
Что там, впереди?

Родители мои были строгих взглядов. Мама родом из семьи валлийских нонконформистов, а отец до сорока пяти лет проповедовал с собственной кафедры как независимый священник – сейчас их зовут конгрегационалистами. Помню, как обсуждали написанные им брошюры. Одна представляла собой ответ некоему Томасу Пейну, писателю – по словам моей двоюродной бабушки, он, хоть и знал наизусть Евангелие, на самом деле был антихристом, чье пришествие предсказывали пророки. В детстве меня приучали верить в персонифицированного Бога. Если ты ведешь себя хорошо, Бог тебя любит, а если плохо – после смерти Он отправит тебя в ужасное место под названием «ад», и ты будешь вечно гореть в огне. Мама считала, что все-таки не совсем вечно, ведь Бог такой добрый, Он не захочет никого слишком сильно мучить. После того как понесешь наказание и раскаешься, тебя простят. Но это были всего лишь мамины фантазии – возможно, греховные. Мой младший брат умер в младенчестве. Мама не уставала рассказывать о нем – какой он был хороший, разумный, какие удивительные вещи говорил, а в конце всегда объясняла, что он сейчас на небесах у Иисуса и гораздо счастливее, чем был бы на земле. Потом, вытирая слезы, добавляла, что очень

нехорошо и эгоистично плакать о нем, но она никак не может удержаться. Помню ее счастливые глаза много лет спустя, незадолго до смерти. Она лежала очень тихо, глядя в никуда, и вдруг сложила вместе ладони.

– Скоро я увижу его! – сказала она. – Он теперь такой красивый…

Странное место – рай, каким его представляли в моей семье. Я его побаивался. Очень уж много там золота. Все носят золотые короны, играют на золотых арфах, а посередине – я представлял себе пустую бесконечную равнину – сидит Бог на золотом троне, и все его хвалят; никаких других занятий. Мама объясняла, что это все символы, означающие, что мы навсегда будем с Господом и не будем больше страдать. Меня пугала эта вечность – до того, что я не мог спать по ночам. Все старался сосчитать: тысяча лет, десять тысяч, миллион… и конца им нет. А Бог все время сидит и смотрит на тебя. Невозможно побыть одному и подумать.

До четырнадцати лет я молился каждый вечер и каждое утро. Мне говорили: все, о чем помолишься как следует, исполнится. А если не исполнится – значит, у меня недостаточно веры. Странная мешанина, мои детские молитвы. Если их все же услышали на небесах, должно быть, очень потешались. Я молился, чтобы Господь помог мне проснуться рано утром, чтобы простил меня за то, что я пожелал смерти мальчишке торговца углем – он гонялся за мной и пинал меня; чтобы Господь надоумил кого-нибудь подарить мне белого кролика; чтобы Он научил меня любить жирную еду, потому что она полезная. Были и другие просьбы, иногда вполне осмысленные. Однажды я молился о том, чтобы найти потерянные полсоверена. Отец дал мне монету и велел забрать заказ с почты. Монету я положил в карман брюк – перед выходом из дома и я, и мама проверили, она была там. А когда я пришел на почту и собрался оплатить заказ, монета исчезла. Я несколько часов бегал по улицам, хоть и знал, что это безнадежно. Отец ничего не сказал, а мама вся побелела. Я плакал, пока не уснул. С утра первым делом побежал на почту, дождался открытия. Монета лежала в пыли под прилавком, точно там, где я накануне стоял. А ведь я не верил, когда молился, – слишком невозможным это казалось. Зато в других случаях, когда я искренне верил, Господь не откликался.

Мама считала, что Господь дает нам только то, что для нас благо, и ему видней.

– Мы с папой так часто молимся о том, чтобы у папы дела пошли лучше, – тогда нам жилось бы полегче. Но лучше не становится.

Господь испытывает нас в печи огненной, но мы должны верить в Него неизменно. «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться»[50].

Но зачем тогда разглагольствовать о вере, если от нее ничего не зависит? И почему Бог считает для нас не благом то, что благо для других людей? Лишь через много лет, прочтя мамин старый дневник, я узнал, какую тяжелую борьбу за существование вел отец в последние годы своей жизни. И все же я понимал, что мы бедны. Мама никогда не ездила в омнибусе, хотя страшно уставала от долгой ходьбы. Она обещала, что не будет жалеть денег на омнибус, когда придет наш корабль. Я иногда невольно сердился на Бога за то, что он осыпает других дарами, а с нами жадничает. Иногда нас приглашал к чаю некий мистер Вуд, старик с седыми бакенбардами, жирными пальцами и тяжелой золотой цепочкой, – его, должно быть, Бог особенно любил. Мистер Вуд ездил в карете парой и у него было много слуг. Как-то он мне сказал, что все это дал ему Господь. Недавно он построил Господу часовню и с тех пор еще больше разбогател. Мой отец в молодости тоже построил часовню, почти целиком на свои деньги. Видимо, Бог о ней забыл, потому что она была совсем маленькая, – не то что кирпичная громадина мистера Вуда на Боу-роуд.

---

50 Иов, 13:15.

В те дни благочестивые люди нисколько не сомневались, что все хорошее в буквальном смысле дается нам Господом, – и на этом свете, и на том. Помню, в воскресной школе мы учили гимн:

«Везде, куда ни посмотри, так много бедняков. Как Бога мне благодарить за щедрость всех даров?»

Мне предписывалось благодарить Бога за то, что я сыт и тепло одет, меж тем как другие ходят в лохмотьях и просят милостыню. Видимо, Бога устраивает такой порядок вещей.

Как-то, возвращаясь домой пасмурным зябким вечером, я облился холодным потом, услышав свой голос, будто со стороны:

– Несправедливо это! Он неправильно делает!

После маминой смерти я молился редко. Так потерпевший кораблекрушение, затерянный во мраке среди волн, лишь изредка зовет на помощь, уже не надеясь, что его услышат. Я не просил продлить ей жизнь. Сколько я молился о здоровье отца – ночи напролет простаивал на коленях. Что толку? Если бы это зависело от детских молитв, ни у кого не умирали бы любимые отцы и матери. Нелепость какая-то. Чем больше я об этом думал, тем сильнее меня одолевали сомнения.

Меня, как и нынешних детей, учили примерно так: всемогущий, всеведущий Бог, создатель всего сущего, создал и человека по Своему образу и подобию и поместил его в сад, где росло древо познания добра и зла. Человеку разрешено было есть любые фрукты, кроме плодов этого древа. Даже ребенком я никак не мог понять, к чему там было это дерево? Бог сам устроил свой сад, предназначив его для жизни человека. Выходит, древо росло там с единственной целью: служить вечным искушением для Адама, не говоря уже о Еве? Мало того, еще и змей – которого тоже создал и поместил в сад Господь – без помех приходил к Еве и уговаривал попробовать плодов. Наверняка Господь знал о змее. Это очень тонкий момент. Мне казалось, что Господь мог по крайней мере предупредить Адама с Евой. Адам, простая доверчивая душа, наслушался хитрых речей змея и отведал запретный плод. Как-то мне не верилось в изумление Господа, когда этот проступок раскрылся.

За одно-единственное нарушение Господь обрек Адама – и не только Адама, но и всех его потомков, включая меня, – на вечную погибель. Когда я вырос, епископ Батлер и другие достойные авторы старались мне разъяснить всю мудрость и справедливость, проявленные Господом в этом вопросе, но так меня и не убедили. На мой взгляд, с Адамом и со всем родом человеческим обошлись излишне сурово – и это еще очень мягко сказано. Должно быть, и сам Бог почувствовал, что был слишком строг, и чтобы поправить дело, послал в мир Своего единородного Сына, умереть за наши грехи. При этом первородный грех с Адама и Евы был снят. Человечество получило еще один шанс на спасение. Никто мне так и не объяснил, почему Бог, который всемогущ и может сделать все, что захочет, не выбрал какой-нибудь более простой и гуманный способ. Вслух я этого вопроса никогда не задавал, чувствуя, что он слишком ужасен. И даже при всем том, спасется не все человечество, а только те, кто «верит». Не веришь – значит, проклят.

В детстве я ужасно мучился, потому что никак не мог определить, верю я или нет. Само собой, я старался верить – старался изо всех сил, зная, что мое неверие разобьет маме сердце. К тому же за это меня отправят в ад. Не раз во время проповеди я слышал пламенные и подробные описания адских мук. Ужас перед ними не покидал меня ни на минуту. Уткнувшись лицом в подушку, я снова и снова повторял: «Я верю!» – и под конец просто кричал в голос, на случай, если Господь не расслышал мой невнятный шепот. Временами на меня находила уверенность, что я победил, что я действительно верю. А потом вновь возвращался страх: вдруг я только притворяюсь, а на самом деле не верю, и Бог видит меня насквозь. Я не решался даже

заикнуться об этом: спрашивать означало признаться в неверии. Старался не думать, но мысли являлись сами собой. Это дьявол меня искушает, говорил я себе, но не мог его прогнать ни постами, ни молитвой. С годами его голос стал еще настойчивее.

Я не мог понять, почему Господь прячется от людей? Ведь все люди – Его дети, отчего же Он явил Себя только евреям, мелкому племени пастухов-кочевников, почему именно им предоставил распространять слово Его – или не распространять, как заблагорассудится? Они, кстати, и не распространяли. Приложили все старания, чтобы оставить Его себе как некую собственность. Даже среди первых христиан шли ожесточенные споры – следует ли поделиться Христом с другими народами? Значительная часть человечества до сих пор не знает Евангелия, а ведь от него зависит их спасение. Почему Бог окружил себя такой таинственностью? Почему не произнес заветы Свои трубным гласом?

Почему Он не говорит со мной? Если сомнения в самом деле нашептывает дьявол, почему Бог не скажет хоть слово, чтобы их рассеять? Зачем дан мне разум, если от меня требуется всего лишь слепая вера, подобная животному инстинкту? Почему Бог не хочет говорить? Или не может?

Да есть ли Бог? И кто он, этот Бог Авраама, Исаака и Иакова, на каждом шагу совершающий ошибки и потом сокрушающийся о них? Способный уничтожить то, что сам же создал? Бог карающий и проклинающий, «ревнивый» Бог, требующий беспрестанной хвалы и преклонения, жертвенной крови агнцев и козлищ. Бог, уделяющий много внимания отделке интерьера, – занавесям и подсвечникам, утвари из золота и дерева ситтим. Бог битвы. Бог мести и смертоубийства. Бог, который создал ад для детей своих. Бог крови и жестокости! Это не Бог. Это существо человек сотворил по образу и подобию своему.

Во времена моей молодости приличным людям не полагалось затрагивать в разговоре три темы: политику, секс и религию. Я помню, как старались внушить мне эту мысль мои первые редакторы. Наверняка многие рядом со мной мучились теми же сомнениями. Мы могли бы помочь друг другу, но религия была запретной темой даже в богемных кругах. Для молодого человека интересоваться религией означало клеймо не только ханжи, но и не-англичанина. Я знал, что есть книги, в которых вопросы религии рассматриваются с точки зрения свободного мыслителя, но они меня не интересовали. Книги, поддерживающие общепринятую точку зрения, я читал, и, думаю, не моя вина, если они вместо того, чтобы прояснить, окончательно меня запутали.

Я пережил мучительный период душевного разлада. Трудно и больно расставаться с детской верой, вырывать ее из себя. Постепенно я достиг, по выражению Карлейля, «точки безразличия»[51]. Что мы, в сущности, знаем? Что мы можем знать? Что такое всевозможные конфессии, как не своеобразный юридический жаргон Высшего суда? За полтора шиллинга можно заверить свои показания у ближайшего крючкотвора: «Я ознакомлен с материалами дела, и я верую».

Да и какая, в конце концов, разница? Вера не может изменить факты. Бог есть, это ясно. Если есть часы, то есть и часовщик, который их создал. Звездное небо над головой – вот самое верное доказательство. Где-нибудь, когда-нибудь нам откроется истина. А до тех пор что человеку нужно, кроме нравственного закона внутри нас? Это единственная надежная религия. Голос самого Бога обращается к нам напрямую, без посредников. Ему я могу поверить.

Помню наш разговор с Зангвиллом. Мы сидели в лесу на упавшем стволе. С нами был мой

---

[51] Английский философ Томас Карлейль (1795–1881) в своем философском романе-памфлете «Sartor Resartus, Жизнь и замечания профессора фон Тейфельсдека из Вейснихтво» (1831) называл «точкой безразличия» переломный момент на пути от «нескончаемого нет» к «нескончаемому да».

песик – забавный малыш. Сидя между нами, он внимательно смотрел по очереди на того, кто говорил. Зангвилл считал, что человек способен охватить сознанием лишь малую часть Бога, так же как собака воспринимает какую-то часть человека. Мой пес умеет по глазам угадывать мои желания, понимает мои приказы – в остальном же я для него загадка. Он не сводит с меня серьезного, вдумчивого взгляда, стараясь понять, – пока за кустом не мелькнет кролик. Тогда он отвлекается и мчится в погоню.

Отчасти божественная природа заложена в человеке. В силу этого он может частично постичь Бога, быть ему другом, помощником. Однако всего Бога человеческий разум вместить не в состоянии. Можно только терпеливо ждать, пока нам откроется полное знание, а тем временем постоянно искать Его, иначе совсем потеряем. Конфессии преходящи, но вечен алтарь Господа Неисповедимого.

Потому что душа человеческая всегда будет стремиться к Богу. Мы не можем иначе. Та частичка Господа, что есть внутри нас, рвется к своему источнику. Если есть в жизни какой-то смысл, отличный от простого животного существования, – он состоит в том, чтобы приготовиться к встрече с Богом.

То, что мы бессмертны, для меня очевидно. Даже капустный лист не пропадает бесследно. Он разлагается на составные части и в них продолжается и приносит пользу. Нет никакой возможности душе покинуть нашу вселенную. Единственный вопрос: вольется ли вновь душа в общий источник жизни или сохранит индивидуальность? Если первое, то зачем бы нам дана отдельная, индивидуальная жизнь только на этой земле, где мы пребываем так недолго и возможности для развития так ограничены? Главный довод против бессмертия – близкое родство человека с низшими животными. Но ведь и они разумны. Грань между инстинктом и разумом не очерчена четко. Инстинкт сыграл важнейшую роль в развитии человеческого мозга. Можно доказать, что многие животные проявляют способности к мышлению. Разум сделал человека царем творения, но это ничего не говорит о будущей жизни за пределами этого мира.

И в нравственном отношении мы не так уж далеко ушли от животных. Мириады ползучих тварей трудятся и жертвуют собой ради своего потомства, ради блага своего сообщества. Закон племени, закон нации – всего лишь закон стаи, только усиленный и более масштабный. У человека те же добродетели, что и у обитателей джунглей: мужество, преданность, верность до смерти. Бог говорит и с ними. Их тоже ведет сквозь тьму нравственный закон.

Будь человеку дано бессмертие за разум или за нравственные качества, то же самое заслуживали бы и животные. Не зря Юдхиштхира взмолился к Брахме, чтобы его собаке позволено было войти в рай вместе с ним. Быть может, все живое стремится вверх, только разными путями. Быть может, царь Юдхиштхира и его пес еще встретятся и вспомнят друг друга.

Но человек на своем пути уже совершил огромный прыжок от слепого существования к самосознанию. Еще дрожащий, изумленный, стоит он на краю безмерной пропасти, что отделяет его от прочих живых существ.

Когда произошло новое рождение, через которое человек обрел сродство с Господом? В какой переломный момент пришла к нему мысль: «Кто я? Откуда я? Куда я иду?» Долго ли человек бродил по земле, прежде чем открыл незримую страну и дорожным знаком поставил могилу?

Должны быть основания для интуитивной веры в будущую жизнь, иначе она не укоренилась бы в нас так прочно. Если душе, как и телу, суждено распасться на части, откуда бы взяться этому инстинкту? Он не нужен, он бесполезен. Стоики были готовы принять такую возможность, но лишь для того, чтобы стать свободными от всякого страха. Они признавали, что Бог движет ими. Их идеал близок к буддистскому – вновь слиться с божественным началом,

с нирваной. Быть может, и так. Вечность – долгий путь. Возможно, он ведет к покою.

Но прежде надо потрудиться. Кант представлял звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас как части единого целого. Душа дана человеку, чтобы он мог стать помощником Бога в трудах его. Мироздание еще не построено до конца. Творение продолжается.

Человек должен так прожить жизнь, чтобы, покидая этот мир, быть более пригодным к служению Господу. Несомненно, в этом смысл рождения нашего и смерти.

Главная битва жизни – с собой, а не за себя. Даже и не принимая буквально Книгу Бытия, человек способен усвоить понятие первородного греха. Как грех пришел в наш мир, мы узнаем, когда изведаем все тайны вечности. А пока наша задача – бороться с грехом. В этой борьбе мы укрепим душу. Среди всех, кто помогал человеку, придавая ему силы для борьбы за духовное существование, первым мы должны поставить Иисуса Христа. В детстве меня учили, что Христос и есть Бог. Тайну Троицы я толком не понимал – ее никто до конца не понимает, и ранняя Церковь мудро поступила, запретив своим приверженцам и пытаться постичь сию загадку. Христа я мог полюбить. По-моему, ни один человек не может узнать его историю и не полюбить его – по крайней мере ни один ребенок. Отпугнула меня необходимость смотреть на него как на Бога. Если он с самого начала был Богом, значит, все притворство, и чем мне может помочь его пример?

Но Христос-человек, такой же, как я, – хоть и бесконечно выше меня, – все-таки мой брат, ведающий те же узы и то же бремя. В его страданиях я могу почерпнуть мужество. Его победа дает мне надежду. То, чего он требует от меня, я в силах выполнить. Куда он ведет, я могу последовать.

Дух Христа живет в каждом из нас. Это и есть та часть человека, что роднит его с Богом. Прислушиваясь к ней, мы и сами становимся подобием Божьим, достойным стать Его товарищами в труде. Если же мы ею пренебрегаем, позволяем задавить ее злу, которое тоже всегда есть внутри нас, – мы ее уничтожаем. Возмездие за грех – смерть[52], и это не метафора. Грех изгоняет стремление к Богу. Если мы не будем искать Бога, то и не найдем его. Христос – великий пример для нас. Своим учением, своей жизнью и смертью он показал, как человек может стать истинным Сыном Божьим. Все прочее только сбивает с толку. Идея, что Христос был послан в мир, чтобы стать козлом отпущения для наших грехов, неконструктивна. Она может служить утешением, если у Бога нет для нас больше никакого дела и впереди лишь вечность бесконечной праздности, – не важно, в блаженстве или в мучениях. Но если Господь готовит нас к будущему труду, такая идея может стать камнем преткновения.

Не грехи тянут нас вниз, а наше нежелание с ними бороться. Силы дает борьба, а не победа. «Не кто я есть, а кем стремился быть». Душа дана нам не для того, чтобы избежать наказания и завоевать счастье. Какой в том смысл? Работа – единственный смысл существования. Счастье не может служить целью ни в нашем, ни в загробном мире. Радость труда, радость жизни – вот истинно божественная награда. Рай, где, согласно общепринятой теологии, мы будем вечно блаженствовать, ничего не делая, – это миф. Надеюсь, он развеется с развитием человечества. Полный покой, полное довольство могут быть достигнуты лишь в конце времен, когда все уже свершено и даже мысль угасла. А пока еще не настали те отдаленные сумерки творения, будем верить, что среди своих многих владений Господь найдет нам работу по силам.

Вот зачем мы пришли в этот мир: чтобы приготовиться к служению Богу. Удалось ли это

---

[52] Рим. 6:23.

нам? Кто из нас посмеет предстать перед Создателем с высоко поднятой головой и сказать: «Господи, я сделал все, что мог»?

Но если мы и в самом деле искали Его, не будем отчаиваться. Возможно, мы сами не заметили, как выдержали некие неведомые испытания. Забытые нами успехи Он вспомнит, а неудачи наши, будем верить, поймет и простит.